


2

# Ольга
# ФОРШ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

# Ольга
# ФОРШ

## СОЧИНЕНИЯ
### В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

*Государственное издательство*
*Художественной литературы*
МОСКВА
1956

Ольга Форш

# СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

II

## ТРИЛОГИЯ

*Государственное издательство*
*Художественной литературы*
МОСКВА
1956

# РАДИЩЕВ

...Человек без всякой власти, без всякой опоры дерзает вооружиться против самодержавия, против Екатерины!

*А. Пушкин.*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
# *Якобинский заквас*

## *Глава первая*

Афишки приклеены были к высоким заборам, к дубовым столбам масляных фонарей, освещавших город. Афишки подносились почтенным бюргерам. Бюргеры важно шествовали под руку с супругами в Петерстор, на открытую сегодня Michaelsmesse — сиречь ярмарку Михайлова дня.

На афишке изображен был в стиле барокко, входящем в моду, весь в завитушках, полновесный, чепраковый носорог. Печатный текст под рисунком гласил:

...По заключению людей, в этом деле осведомленных, данный Риноцерос есть не кто иной, как именно Бегемот, поминаемый в книге Иова — стих 10, глава 40.

Данный вундертир[1] доставлен к нам из Азии, из владений великого Могола. Он обладает темнокоричневой окраской и не имеет вовсе на теле волос. Но это обстоятельство не препятствует ему, однако, иметь волосы на самом конце своего хвоста, притом наподобие большой кисти.

Этот первый в наших местах Риноцерос кроток, как ягненок. Будучи изловлен арканом в возрасте одного месяца, он полюбил людей. Матушка зверя была убита стрелой одного черного индуса. Для увеселения дам и кавалеров вундертир может расхаживать в их среде, не нанося им никакого ущерба.

Самое главное сообщение, прочтя которое иной холостой бюргер со смешком подтолкнул другого, заключалось в том, что

вышеприведенный вундертир обладает магическим свойством исцелять все тяжкие и самые секретные болезни.

---

[1] Диковинный зверь (*нем.*).

В заключительных двух строках была хвала богу, создавшему столь чудесного зверя:

So wunderbar ist Gott in seinen Kreaturen:
Man findet überall der Allmacht weise Spuren.[1]

Афишка с носорогом пробралась в общежитие русских студентов. Этих студентов объединяли в университете с поляками, и значились они под одной общей буквой «Р» — Poloni.

Императрица Екатерина, тщеславясь иметь русских ученых юристов, не уступающих европейским, собственноручно обвела карандашом вокруг фамилий пажей, которых надлежало отправить в Лейпциг. «Отличные в науках пажи должны были еще более в них преуспеть в славном лейпцигском университете, дабы употребить их было возможно с наибольшим профитом на пользу отечества».

Русские распределялись в общежитии попарно в комнате. Для услуг состоял при каждом вывезенный из вотчины крепостной человек. Общий надзор за всеми положен был гофмейстеру Бокуму, пропитание колонии передано в руки жене его — скаредной Бокумше.

Власий, крепостной человек пожилых лет, дядька братьев Ушаковых, принял афишку с носорогом от зверинецкого служки, постучавшего в дверь. Заинтересовавшись невиданным зверем, Власий сел в коридоре на подоконник большого окна. Он так засмотрелся, что не приметил, как веселый парикмахер Морис, который шел брить барчуков и накручивать им букли, вдруг потайным образом присел сбоку и взял в рот брызгалку с пузырьком.

Морис изо всей силы раздул щеки и обрызгал дождем лавандовой воды склоненный кок Власия.

Француз первый захохотал на весь коридор:

— Это карашо, Базиль, — parfum!..[2]

Власий нашел запах ахтительным и не рассердился. Он обтерся чистой белой рубашкой, которую понес было своему Мишеньке. Французу, с которым дружил и у него же учился французским тонким фасонам, Власий протянул листок с носорогом и не без яду сказал:

---

[1] Как поразителен господь в своих созданиях:
Во всем видны мудрые следы его всесилья (*нем.*).

[2] Аромат (*франц.*).

— Вот бы тебя впору на такого черта верхом!

Морис живо пробежал объявление. Власий видел, как лицо его, быстрое и мигучее — сказать, обезьянка, — застыло вдруг гневом. Француз вытащил записной карнетик и мелко списал в него что-то. Отдал афишку без шуток и в приметной остуде прошел в комнату Радищева.

Радищев с полуночи дежурил у больного Федора Ушакова и еще не вернулся к себе. Сожитель и друг его Алексей Кутузов встал нынче весьма рано и давно был одет. Он взял с полки тетрадку, мелко исписанную, и стал просматривать собственный перевод с немецкого.

...Орден свободных каменщиков есть некое древнее, всемирное тайное братство. Оное братство тщится быть водителем человечества в достижении земного Эдема, златого века любви и истины — сиречь царства Астреи.

Ежели все люди будут просвещены и совершенны, то самосильно отпадут уродства земной юдоли и существенные несправедливости состояний. Ибо масонско-каменщицкая работа изъясняет свою цель как...

Кутузов помнил, что на этом «как» перевод его оборвался, дальше шла одна чистая бумага. Теперь же и дальше было мелко исписано. Пригнувшись, он внимательно глянул близорукими, светлой бирюзы, глазами и узнал сразу почерк Радищева. Он залился краской до корней густых русых волос, кои природно курчавились.

Обида взяла за неизменное свое рассеяние, что заветную тетрадь опять не запер в ящик, а оставил валяться, как неважное, на столе. Рассердился и на нескромность друга. Однако полюбопытствовал и прочел:

История с самых древних времен нам свидетельствует, что никакое превосходство отличий персональных не послужило препоной кому-либо к стяжанию богатств и, главное, к употреблению своих ближних в рабство. Чего же должно ожидать и впредь при воздействии токмо словесных упражнений в добродетели, от негодяев и себялюбцев, коих есть превеликое среди людей большинство. Нет, друг мой, Эдема земного вам ждать не дождаться, доколе не будет поставлен человек, уже самими условиями общественными, в совершенную невозможность творить насилие над себе подобными. Но сему научают меня Руссо, Дидро и Рейналь, а никак не сумнительные и «тайные» какомаги. Попомни, друг, в недавнее время пытка в Саксонии кем отменена? Не усилиями свободно-каменщицкими, а токмо благодаря пламенной любви к вольности нашего славного профессора и ученого Гоммеля.

Впрочем, разность суждений гнездится лишь в наших головах, сердце же мое, в чаянии Астреина века, бьется с твоим согласно, и ты есть, как и был, мой ближний друг. Делаю тебе пропозицию на длинную беседу в нашем лесочке...

Кутузов, прочтя приписку, взволновался и стал еще краснее, так что светлые глаза его обозначились просто белесыми. Высокий и тонкий и, несмотря на молодость лет, уже сутулый, ходил он долго, поколе не успокоился. Внезапно стал как вкопанный и зачастил особые, «апрантифские» вздохи и выдохи, шепча что-то полными яркими губами на теперь побледневшем лице. Окончательно остудился, умылся холодной водой и, уже спокойный, запер тетрадочку в ящик на ключ. Засим, взяв линеечку с треугольником, он стал вычерчивать некие звезды и фигуры.

Как человек, заучивающий внове нечто затрудняющее память, он то откидывался назад и что-то шептал, то, устремляясь немигающими глазами в потолок, тер себе лоб, радостно улыбался и опять вычерчивал.

Кутузов вздрогнул и быстро спрятал под книгу свою работу, едва куафер Морис легко и неслышно подошел к нему.

— Bon! Вы пойманы, любезный Алексис, не отрицайте, вы штудировали известные листки с пантаклями, которые Шрёпфер вам выдал. Вы таились от мосье Радиш... — Морис никогда не доканчивал эту трудную для выговора фамилию. — Но поверьте, Алексис, ваш Шрёпфер посвящения несправедливого, знания его беспорядочны. Им не заслужены персонально, а украдены. Он...

— Да, мне известно, — прервал Кутузов, — что в Лейпциге Шрёпфера почитают шарлатаном, но спрашивается — какие к тому основания?

Голос Кутузова был переходный и сейчас от волнения еще больше давал «петуха».

— И почему должно мне верить вам? Ваши-то где сертификаты? — выкрикнул было он, но тут же угас и сказал с печалью: — Первее всего соблазнил меня почтеннейший Гердер, писатель. В журнале «Адрастея», — известно мне, сколь увлекательно он изъяснил, — масонство есть око и сердце человечества. И только к оному масонству, объединяющему все человечество, устремил свои помышления и я...

— Почтеннейший Гердер — член справедливой ложи «Zum Schwerte»,[1] а вы, как голубь в грязную лужу, попали к мастеру самозванному, в ложу так называемую «биллиардную». Известно, что сборища Шрёпфера протекают в биллиардной комнате собственной его кофейни без всяких полномочий и гарантий.

— Но ведь я еще не попал к Шрёпферу, — задумчиво сказал Кутузов, — и, быть может, я вообще ни к кому не попаду, а изучать буду теорию на свой страх. Насколько она меня привлекает, настолько отшибает сумнительная практика. Но во всяком случае на первое-то свидание, назначенное мне, я пойду, и посему не токмо прошу — я требую, Морис, чтобы вы удовольствовали меня, доказав, какие же у вас пропозиции и чем оные подтверждаются, дабы почитать вам столь решительно Шрёпфера негодяем.

Морис тонко улыбался, грея одни щипцы, а другими прикручивая под общий модный ранжир природную капризную кудрявость русых волос Кутузова. Сзади, для модного «кошелька», Морис отделил широкую прядь, передохнул и не спеша вынул из кармана карнетик.

— А хоть бы вот это, — указал он на последнюю строчку, списанную им с носороговой афиши.

— Плутовское сие объявление о целительном хвосте носорога происходит при участии Шрёпфера. Ложа «Минерва» знает доподлинно, что всем пациентам вундертира будут подсунуты еще и дополнительные листки подобного зазывающего содержания...

Морис подал вчетверо сложенную бумажку, где крупным почерком над пламенеющей пентаграммой стояло указание дня и часа в биллиардной комнате кофейни Шрёпфера, где каждому, с полным сохранением тайны, будет самим «великим мастером» предложено закрепительное против болезни лечение.

— Еще известно, — продолжал Морис, — что Шрёпфер задолжал аптекарю фосфор, необходимый ему для вызывания духов. Известно и то, что дух, который по глупости на прошлом сеансе обронил с себя плащ, оказался обутым в модные башмаки с парижскими пряжками. Пряжка эта как вещественное доказательство фигури-

---

[1] «К мечу» *(нем.)*.

ровала на одном заседании, где обсуждалось, что именно предпринять с Шрёпфером, ежели он не прекратит своих фокусов... Поймите и то, Алексис, — он берет себе в ученики только тех, которые легко подчиняются. Одуренные пуншем со специями, ученики по капризу этого какомага повергаются в самый ад и теряют от ужаса перед ним свою последнюю волю. Неужели подобной зависимости можете искать вы, уважаемый Алексис, жаждущий одной истины?

Морис отступил в волнении и, увлеченный собственной речью, так долго крутил за ножку щипцы, что они совершенно остыли, в то время как другие перекалены оказались свыше меры.

— Sapristi! [1] — воскликнул он и принялся восстанавливать в своем деле порядок.

— Боже мой, — сказал Кутузов, — кто рассеет мрак не постигаемого мною! Гипохондрия не пустая терзает мое сердце, нечто существенное бродит в моем мозгу. Я знаю, что в Лейпциге есть шотландская ложа, считающая себя справедливой. Но кто же после проделок изверга Джонсона поверит шотландскому масонству!

— Дорогой друг, — сказал лукаво Морис, — верьте только собственным глазам и разуму, ничем не затемненному. Ну разве я, например, звал вас куда-нибудь? Разве соблазнял заманчивыми обещаниями? А Шрёпфер? Не он ли, чтобы доказать свою таинственность, приглашает вас на вызов тени бюргермейстера Романуса? Кстати, когда назначен этот вызов?

— В ночь присяги этому курфюрсту... — И, внезапно испугавшись того, что сказал лишнее, Кутузов вскочил и, бурно зашагав, бросил вспыльчиво: — Больше о сем предмете я, сударь, говорить не желаю!

Морис убирал свои куаферские принадлежности, опустив деловито глаза. Он как бы вовсе не заметил волнения Кутузова и проронил добродушно:

— В случае, если вы будете ровно в полдень на ярмарке у клетки вундертира, обещаю вам легонький divertissement, [2] одновременно он же будет первым предупре-

---

[1] Проклятие! *(франц.)*.
[2] Развлечение *(франц.)*.

ждением защищаемому вами Шрёпферу. А сейчас — au revoir, у меня сотня дел.

Кутузов, взглянув на солнце, прикинул, что до полудня времени много, и, сунув упражнительный листочек в карман, спустился украдкой с лестницы, всего менее желая, чтобы его сейчас остановил своими расспросами Радищев.

Между тем Власий, приведя перед зеркалом в порядок свою расстроенную Морисом прическу, будучи щеголем, перекрутил сам косицу наново, как учила его некая фрейлейн Минна, услуживающая у Бокума. Косицу он щедро усыпал барчуковой пудрой. Покрутился перед зеркалом, понравился сам себе и сказал стишок, с превеликим трудом заученный им со слов Минны:

Катринхен, мейн либхен, вас костет пар шу?
Ейн талер цвей грошен унд кюссе дацу. [1]

Послав в зеркало поцелуй, предназначавшийся мысленно Минне, Власий пошел будить, наконец, своего Мишеньку.

Спросонья, испугавшись, что будит его сам рассвирепевший Бокум, — столь усердно потряс его Власий за плечи, — Миша Ушаков вскочил мигом и сел на кровати, протирая еще по детской замашке кулаками глаза. Вчера как раз он праздновал свое восемнадцатилетие. Праздновали густо. Из Голиса наволокли ящики пьяного мерзебургского пива, от него и посейчас в голове трезвон, а язык во рту ровно дохлая рыбина.

— Михаил Василич, глянь-кось, что за чудо рогатое немцы на ярмарку вывезли.

Миша взял из рук дядьки афишку и стал с трудом разбирать готические завитушки.

В то время как старший брат его Федор вместе с Радищевым были любимыми учениками Геллерта и бойко писали немецкие сочинения, Миша и другие кой-кто вразумительно читать не умели. Мише больше нравилось шалопайничать и бегать в погребок к Элизхен.

---

[1] Катринхен, моя милая, что стоит пара башмаков? Один талер, два гроша и поцелуй впридачу *(нем.)*.

— В недобрый час на наши бутылочки да Бокуму наскочить — вляпаться, Мишенька, нам в новую беду... — И дядька стал для порядка далеко под кровать загонять пустые бутылки.

— Кому ж это было их убирать, когда ты сам пьянее всех нас валялся? Хорош вчера был, старичок, нечего сказать!

— И никакой, Мишенька, я не старик, — обиделся Власий, ужимая губы. — Не старичок я, а еще вполне середович. И кой-когда, значит, сбалмышем быть мне еще по годам не зазорно...

— Середович! — захохотал Миша. — Ну, выдумал. Вот и ходи у нас отныне в своем этом втором крещении — Середович. Поразмысли, однако, откуда на ярманку талеров раздобыть? Получки больше не будет, скоро домой ехать. Хоть продать чего из домашней русской одёжи? Не везти же обратно.

— Расторгуешься тут нашей одёжой, — очень она им к рылу! Тут, Мишенька, хоть Неметчина, а все норовят на легкий французский манер... на фу-фу. А у нас одни подошвы — пуды. Вот разве экономишку разрядить, — копить больше некуда. Дома, слава богу, не Бокумшин габерсуп.

— Мне Элизхен богемские бусы на ярманке заказала, — сказал Миша. — Бес их знает, в какой будут цене.

Власий на цыпочках подошел к Мише и, пригнувшись к уху, сказал доверительно:

— Слышь, Михаил Василич, давно тебе говорю, — истреби к этой Лизе амурность. Девке давно за двадцать, а хитра, каждый год себе двенадцать месяцев убавляет. Лукава та Лиза, насурмлена выше меры. Вскружена твоя головушка, сказать правду, зря. Главное дело — не с тобой одним Лиза гуляет...

— Наобум брешешь! — крикнул Миша. — Что ты про мои с Лизхен дела ведать можешь?

— А коли брешу наобум, Михаил Василич, все одно бери себе на ум.

— Экой Телемахов ментор сыскался! Вот оженю тебя самого для потехи на вдове твоей, на Минне, — обработает тебя! Она, говорят, первого мужа совком била. Ты уж ей, Середович, заранее и эпитафию приготовь, благо

тут в «Трутне» готовая есть. Да где, бишь, листы «Трутня»? Мне их Радищеву занести сказано...

Дядька подал несколько листков и, любопытствуя, спросил:

— А какая такая капитафия, Мишенька?

— А такая, брат, капитафия, что для жены сварливой лучше и не надо. — И Миша прочел:

Здесь спит моя жена,
Вовек пусть спит она —
К покою своему
И моему.

Миша хохотал, натягивая чулки и башмаки с пряжками. Каблуки были стоптаны. Камзол и кафтан — куцые, не по росту, дрянно пошитые из линялого камлота. Гофмейстер Бокум, заботясь о переводе в собственный карман казенных сумм, нищенски обряжал свою колонию. Хотя на каждого питомца определена была по тому времени немалая сумма — тысяча рублей в год, кормил Бокум прескверно. Многочисленные жалобы досаждали царице. Между тем от ожидания, что его вот-вот могут «счесть и отозвать», Бокум напоследок все увеличивал свой грабеж.

Но Миша Ушаков такой был свежий, такой красивый, так безудержно хохотал, что и в плохом костюме нравился не одной Элизхен. В том саду с погребком, где он был усерднейшим посетителем, известен он был под сладким наименованием: «Zuckerprüppchen». [1]

Миша Ушаков, одевшись, схватился опять за афишку. Он, наконец, расшифровал полностью смысл особо нарядных, в честь ярмарки, готических букв. Безусое лицо его вспыхнуло, и, как у детей перед плачем, дрогнули губы.

— Власий, — притихнув, позвал он, — понимаешь ли, что тут за посулы? От зверя от этого совсем будто особливые идут исцеления.

У Миши, по юности и по склонности нрава, все чувства хоть и были отходчивы, но потрясающи и внезапны. Он ощутил пронзительное раскаяние, что вчера, упившись тяжелого пива, совсем было позабыл не отпускающую беду: любимый брат его, всеми почитаемый как настав-

---

[1] Сахарная куколка *(нем.)*.

ник, душа русской колонии, Федор Ушаков в нижнем этаже этого же дома помирал в тяжелых муках.

Власий понял чувства любимого Мишеньки и постарался своим перепойным басом изъясниться с возможной деликатностью:

— Предпочтительно, Михал Василич, сей невиданный зверь нимало не вылечить, а обратно — вконец испортить способен. Приглядись-ко, ведь он, ферфлухтер, рогат, как бес. А вот посулила мне фрейлин Минна от тутошнего одного колдуна травки декохтовой, противу всех болестей вызволяет. Ну, эта уж точно...

Но Миша не слушал. Он уже распахнул мелкостекольное оконце и высунулся как можно далее, спустив низко голову и задрав ноги вверх.

Окно было высоко над садом. Далеко окрест круглилась пространная равнина некогда славянского сельца с бургом Липцы, ныне именитого города Лейпцига. Город с башнями без числа, с флюгерами, мостами и крепостью Плейсенбург. Равнину омывали три чистые реки, окаймленные садами и веселыми деревеньками. Красивей всего была старинная, ближняя часть, с древнейшим университетом, замысловатой ратушей и несметным количеством нарядного разноплеменного люда, распестрившего площадь перед Петерстором.

— Эй, Миша! — позвал снизу голос. — Иди сюда!..

— Ich komm! [1] — заорал Миша и, сгребая с ладони Власия талеры, другой рукой шарил шляпу. Власий рванулся ему вслед на винтовую лестницу:

— «Капитафию» позабыл!

На лету схватил Миша журнал и застучал по ступенькам. Внизу его ждал человек среднего роста, немногим постарше его.

— Ну, как нонче братец? Поспал ли хоть малость?

— Ничуть мы не спали, — ответил Радищев.

Он был бледен. Большие, карие, очень выразительные глаза от темных кругов, которыми обвела их уже не первая бессонная ночь, были просто огромны и как бы ужаснувшиеся того, чего насмотрелись они в комнате больного, за этим окном, сейчас плотно прикрытым глухими ставнями.

---

[1] Я иду! (*нем.*).

Хотя не было еще жарко, Радищев снял шляпу и обмахивался ею. Он обнажил высокий лоб, круто убегающий назад, под копну темных волос.

— Нонешний день для занятий, конечно, пропал, — сказал он, — ибо в первый день ярмарки коллегии все закрыты. Пойдем, выпьем чего...

— Все наши с раннего утра на Михаельсмессе... — И Миша, вспомнив про талеры, переложил их в надежное место. В кармане набрел на афишку с носорогом, протянул ее Радищеву. — Вот, сулят, видишь ли, продижьёзные[1] исцеления.

Радищев на ходу пробежал быстро листок, — он бегло владел немецким, — и брезгливо поморщился.

— Ерундистика. А вот мне сказывали, у тебя имеется последний выпуск листов «Трутня». Прихватил?

Миша порылся и подал смятый журнал, где на титульном листе изображен был сатир, копытом лягающий осла.

— Очень смехотворный тут один есть стишок, я Власию его прочитал. Вот старый-то селадон! «Я, говорит, не старик, я — середович».

Миша опять повеселел и показал Радищеву стишок — «капитафию».

— Ну, братец, и это ерундистика, а вот где тут обретается некий Правдулюбов?

Радищев знал уже от проезжающих, что под этим именованием скрывается тот именно человек, коего превыше всех прочих мечтал он на родине скорей увидеть.

— А, вот и он... Ну, теперь, Мишенька, ты послушай да на ус намотай, — сказал, прояснившись, Радищев. — Станем малость тут, у фонаря. Можешь ли, Мишенька, ты понять, сколь великой важности сие место? Какова его вольность? Сколь неприкосновенна сатирическая мысль? И подумать только, кому аттестован подобный ответ, — самой императрице!

И Радищев с улыбкой прочел выдержку из восьмого листа «Трутня», которую уже успел мигом пробежать про себя, одними глазами:

...Ежели я написал, что больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным потакает, то не знаю, как таким

[1] Чудесные — prodigieux *(франц.)*.

изъяснением я мог тронуть милосердие. Видно, что г-жа Всякая всячина так похвалами избалована, что теперь и то почитает за преступление, есть ли кто ее не похвалит. Не знаю, почему она мое письмо называет ругательством. В моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой даме, нет ни кнутов, ни виселиц, ни прочих слуху противных речей, которые в издании ее находятся...

Радищев подчеркнул голосом и еще однажды повторил: — ...которые в издании ее находятся... Но дальше, Мишенька:

...вся ее желчь в оном письме сделалась видна. Когда ж она забывается и так мокротлива, что часто не туда плюет, куда надлежит, то кажется для очищения ее мыслей и внутренности не бесполезно ей и полечиться...

— И самое существенное, слушай, Мишенька:

Я тем весьма доволен, что Всякая всячина отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас прав.

— Вот он — новый-то век Астреи! Но ужели при содействии самого трона?! — воскликнул было Радищев, но тут же одернул сам себя: — подождем ликовать преждевременно. Ведь сие лишь справедливые предерзости Правдулюбова. Каков-то будет на них ответ от самой «пожилой дамы», им уязвляемой?.. Прибавим, Мишенька, ходу...

Радищев с Мишенькой направились через Зальцгесхен к золоченому фонтану ярмарки. Узкий переулок был уже полон студентами, — им пришлось умерить шаги.

Среди толпы выделялись два человека: один был совсем юный, красавец столь правильной, почти античной красоты, что русские между собой прозывали его «статуй Антиной». Он изучал те же юридические науки, что и они, но с курсом старших.

Речи спутника вызывали в Антиное явное волнение. Несмотря на правильность черт, в обычном представлении согласованную с неподвижностью мрамора, лицо его легко вспыхивало от особой живости мыслей и чувств. Взор черных глаз был стремителен и полон такого огня, что глаза казались дерзкими и как бы нарушающими весь античный канон красоты. Увидав однажды подобное лицо, невозможно было его не запомнить. И Радищев его, конечно, отметил давно. Кроме того, он знал, что с Антиноем у него связано какое-то мимолетное, но очень

неприятное воспоминание. Содержание его он странно забыл, и сейчас, от крайней утомленности всех своих чувств, напрягать память не только не мог, но и не хотел.

Спутником молодого был известный всему городу так называемый «Серый дьявол».

Очень высокий человек лет тридцати, ходивший исключительно в сером платье тончайших оттенков, при шпаге и с треуголкой подмышкой. Сегодня, для разнообразия, в руках его была парижская трость с набалдашником из слоновой кости. На голове был длинный, в крутых локонах, парик, обрамлявший, как туча, его прекрасный матовый лоб. Далеко выдающийся горбатый большой нос и театральная осанка делали его похожим на какого-то сказочного рыцаря, возвестителя мрачных утрат. Он ежедневно, в один и тот же час, катался на паре белых коней в фаэтоне рядом с питомцем своим, молодым графом Линденау, которому принадлежал прекраснейший в городе уголок — Ауербахстор. Фамилия этого странного человека была Бериш.

Студентов он восхищал своим щегольством, эрудицией, тонким вкусом в делах искусства, французским модным уменьем танцевать и слагать bouts rimés. [1] Сверх того, он прививал провинциалам вкус к ядовитой насмешке Вольтера.

Бериш, сделав ловкий пируэт, уперся своей тростью в театральное объявление. Молодые люди, его окружавшие, остановились. Вслед за ними — невольно и Миша с Радищевым.

Директор Кох открывал свой театр необходимым извещением, что «mit gnädigster Erlaubniss» [2] представлена будет придворными комедиантами в первый раз пьеса Иоганна Шлегеля «Hermann».

Бериш читал вслух и ухваткой очень похоже передразнивал коротенького суматошного бюргермейстера города. Хохот студентов перешел в восторженный рев, когда Бериш высокими нотами классического пафоса, в котором нельзя было не признать надоевшего своей ходульностью профессора Клодиуса, прочел некоторое прибавление «властей»:

---

[1] Буриме — стихотворная игра *(франц.)*.
[2] С всемилостивейшего разрешения *(нем.)*.

«Строго воспрещается в антрактах бросаться на сцену с целью целования рук примадоннам придворной труппы».

— В Париже запрет подобных обезьяньих проявлений уже в силе с сорок восьмого года, — сказал студент теологии, — а к нам докатился он только сегодня...

— Подобные запрещения — прежде всего подрыв театральной кассе, — иронически прервал Бериш. — Многих людей со вкусом только и тешил в нашем театре что этот, по настоянию квиетистов и прочих ханжей сейчас запрещаемый, бенефис обезьян.

— Но почему же вы считаете, что сама пьеса не заслуживает внимания? — спросил робко один из свиты.

— Потому, что у немцев не имеется вообще литературы, заслуживающей внимания.

Бериш сделал новый необычайный вольт своей тростью, а местные щеголи так и впились в него глазами, чтобы запомнить движение.

— Однакоже настоящее содержание в немецкой литературе вот-вот должно появиться. И знаете ли благодаря чему?

Бериш надменно сощурился, как близорукий, потерявший лорнет:

— Исключительно благодаря презрению короля к национальному творчеству и предпочтению ему литературы французской. Да, да, авторы будут биться из сил, и если им все-таки не повезет с упрямым Фридрихом, нечто лучшее им удастся наверное. Недаром старуха змея говорит своим змеенышам: «Стоит, детки, лишь хорошенько натужиться, чтобы вылезти из кожи вон...»

— Ваши рассуждения, Бериш, слегка запоздали, — горячо произнес Антиной, — у нас есть уже Лессинг. А подобные ему не способны оглядываться ни на каких королей...

Компания свернула за угол и потонула в ярмарочной толпе.

Перед Петерстором, в лавчонках, будках, на площадях и подмостках, подвизался сегодня кочевой сброд, рассеянный круглый год по всей Германии. К Михайлову дню бродячие актеры в таратайках, фургонах, верхом и, наконец, пешком, как железные опилки, тянулись к большому магниту — Лейпцигу. Здесь были кукольные театры, китайские тени, фехтовальщики, акробаты, силачи

и силачихи, глотатели шпаг и огня, обжоры, великаны и карлики, верблюды, медведи, говорящие попугаи.

Фокусники зазывали наперерыв в черные кабинеты ужасов, какомаги возвещали поименно услужающих им чертей, восковые фигуры «как живые» таили за своими занавесками секретный отдел. Зубодеры, они же окулисты и дробители мочевых камней, с инструментами в руках восхваляли собственное искусство.

Бюргеры переходили от рядов к лавкам, от шарлатанов к почтенным книготорговцам, которые съезжались в Лейпциге аккуратно три раза в год на ярмарки: новогоднюю, пасхальную и Михайлову, чтобы обмениваться друг с другом новыми книгами своих изделий.

Все тут восхищало людей, утомившихся однообразием своего города: длинные одеяния восточных народов, островерхие шапки персов, меховые толстые шубы русских. Вовсю шла здесь торговля мехами, шерстью и щетиной, кожей и товарами колониальными.

Особенной живописностью поражали глаз художника люди, не имевшие определенного места для своей торговли. Они по необходимости являлись олицетворением гордого изречения философа: omnia mea mecum porto. [1]

Инвалид Семилетней войны насадил на себя единственный собственный стул, избрав ему точкой опоры свой затылок. В руках он держал предназначенную для сбыта утварь: два подсвечника, чайник и вожжи. Инвалид, угревшись под необычайной амуницией, благодушно дремал, лишь по временам вскидываясь, чтобы выкрикнуть свои вещи, как военную команду.

Салатница, в круглой шляпе, похожей на опрокинутое решето, дискантовой дробью выбивала:

— Radieschen! Salat! Salat! Salat! [2]

Кривоногий карлик потрясал стеклянной банкой с жирными пиявками и вызванивал тоненько и раздельно:

— Köfen se Sägespiene! [3]

Пропойца в треуголке и в грязных лосинах застыл, как статуя, под фонарем. Он, далеко отставив палку с веревкой, воткнул ее в землю. Другой конец веревки при-

---

[1] Все мое ношу с собою (*лат.*).

[2] Редиска! Салат! Салат! Салат! (*нем.*)

[3] Купите пиявок (*нем.*).

крепил к пуговице своего камзола. На веревку понавешал картин собственной кисти. Пропойца, подобно инвалиду, то клевал носом, то, протрезвившись на миг, говорил с надменностью первоклассного живописца о своем мастерстве.

Словом, у каждого была здесь своя, хитро надуманная сноровка. Философ бы не ошибся, сказав, что эта ярмарка Михайлова дня разоблачала в миниатюре всю скрытую махинацию жизни.

Сновали, как деловитые мыши, торговки специальной ярмарочной снедью. Эти по предварительному соглашению выкликали поочередно на разные голоса, от тоненького писка до медвежьего рева, которого иной полнокровный бюргер уже выдержать не мог и, хлопнув какую-нибудь Kräuterfrau [1] по широкой спине, восхищенно орал: «Ну и лошадь!».

Однако всех этих Kräuter-Brezelfrauen, как клекот аиста — воробьиный писк, перекрывала единственная в своем роде, гигантских размеров Äppelsfrau... [2] Она долбила без интервала и передышки на одной только ноте: «Äppel! Äppel! Borster Äppel!» [3]

Торговки, как залившиеся песнею соловьи, зачарованные, не видали перед собой ничего, так что их приходилось то и дело состегивать с дороги кнутом здоровенному «буттерманну». На высоких кобылках ехали эти буттерманны с бочками масла перед седлом и с корзинами живых гусей на спинах. Гуси, взволнованные многолюдством, далеко высунув сквозь прутья корзин свои длинные шеи, шипели, как змеи. Им первокурсники, «фуксы», дурачась, кричали: га-га!..

Кипела, расторговывалась освященная древним обычаем знаменитая ярмарка Михайлова дня.

Перед зверинцем, занявшим место в самом центре площади, торг яствами был особенно оживлен. Жареных любимых жаворонков и шпеккухены поглощали граждане сами, а саксонские крупные вишни в сахаре бросали обезьянам.

Перед зверинцем из всей густой толпы выделялись мальчишки. Они, вспрыгнув друг другу на плечи, строи-

---

[1] Торговку капустой *(нем.)*.
[2] Торговка яблоками *(нем.)*.
[3] Яблоки! Яблоки! Наливные яблоки! *(нем.)*.

лись в несколько этажей пирамидой. Внизу для широкого основания раскорячивали ноги самые здоровые — крутоплечие, как бычки. Кончалось все здание легким одиночкой, с руками, растопыренными наподобие крыл.

Эта живая пирамида, ловко эквилибрируя, но все же угрожая ежеминутным свержением, особенно пугала матерей с малолетками.

Пирамида перемещалась с места на место, то рассыпаясь, то вновь возникая, при малейшей попытке носорога выбраться из копны сена, в которую он спрятался с головой.

Служки зверинца, с заячьими хвостами позади красных курток, увертывались очень ловко от десятков рук, желавших поймать «зайца за хвост».

Служки выкрикивали:

— Риноцероса, который есть не кто иной, как Бегемот из книги Иова, можно смотреть ежедневно. Особы высокого ранга за посмотрение платят потом, по желанию, все же прочие — плату вперед!

Тут же, поблизости носорога, находилась площадка с уродами и площадка с калеками-инвалидами Семилетней войны. Обнажая обрубки своих ног и рук, инвалиды прирабатывали себе на табачок.

Здесь, глубоко задумавшись, стоял Радищев, потерявший в ярмарочной толкотне своего спутника Мишу Ушакова.

На площадке уродов всех больше зарабатывал один безносый. Он за грош вставлял себе в дырку носа свистульку и высвистывал превесело:

Ach, mein lieber Augustin, Augustin...[1]

Прочие уроды безносому завидовали.

Радищева тронул за руку немолодой уже человек в коротком фартуке, какой носили ремесленные подмастерья, и сказал:

— Герр Александр, что же вы к нам так давно не заходите?

— Близкий друг мой умирает, и свободное время я при нем. — Радищев крепко пожал протянутую руку и, указывая на площадку с инвалидами, промолвил: — Вот

[1] Ах, мой милый Августин, Августин... (*нем.*).

смотрю и прикидываю невольно в уме — сколько судьбе нужно было им подобных, не считая оставленных на полях боя, чтобы вашему Фридриху выкроить титул «Великого»?

Соответственно Радищеву оказались настроенными и прочие подмастерья, которые сейчас же прихлынули всем цехом к площадке с инвалидами. Разглядывая увечных воинов, даже те, что сейчас только гоготали над свистулькой безносого, мрачно притихли.

Злой голос из гущи сказал:

— Что ж, камераден, побеждать, выходит, нехитрое дело, если не бояться из человека сделать обрубок...

— Да впридачу казны и страны не жалеть!

Недавно заключенный мир еще не успел ослабить ненависть Саксонии к Пруссии. Бремя войны тяжко пало на Лейпциг, и Фридрих симпатии здесь не вызывал.

Подмастерья были выразителями скрытого общественного мнения. Вообще они были тут самый свободомыслящий народ. Благодаря кочевому образу своих занятий они побывали во Франции и впитали в себя энциклопедистов отважнее, нежели студенты, обезвреженные бюргерством, скованные традициями своих коллегий.

Знакомый Радищева сказал ему:

— Приходите же скорее: один из наших только что вернулся из Петербурга, — он расскажет вам новости. Главное, он расскажет правдивые новости, не те, которые вы можете услышать от ваших проезжих вельмож. Кстати, герр Александр, я забегал сейчас к вам и занес в вашу комнату один последний русский журнал...

— Вот это удружил, дорогой Шихте! На днях буду у вас... Обязательно...

— Эй, Шихте, не отставай от цеха! — И двое подмастерьев ухватили знакомца Радищева под руки. — По уговору всем цехом сейчас прямо в Голис...

Только подмастерья ушли, как привалили к площадке инвалидов студенты с Беришем во главе. Студенты воздали щедрую лепту безносому свистуну и уже поспели рядом в будочке перехватить. Бериш, окинув ястребиным глазом инвалидов и калек, превратил неожиданно всех жертв Семилетней войны в подсобный назидательный материал:

— Друзья мои!.. Я не могу пропустить столь наглядный пример для торжества теории Лессинга «о границах прекрасного». Иллюстрация — перед вами.

Бериш кивнул в сторону калек. В своих праздничных костюмах они еще страшнее были под ярким солнцем. Ярче обнаруживались все разновидности обнаженных ими культей, багровых рубцов, гноящихся, незаживающих ран, ударами сабель изувеченных лиц.

— Живопись и поэзия находятся в неодинаковых условиях при изображении безобразного, — цитировал Лессинга Бериш. — В живописи отвратительное даже при художественном изображении не может перейти в прекрасное. Между тем в поэзии безобразие форм почти теряет свое неприятное действие, потому что части его передаются не в совокупности, а в преемственности времени. Иной отвратительный пример может даже усилить смех. Ну разве не великолепен Аристофан: между тем как Сократ, рот разиня, наблюдал луну, ящерица с кровли напакостила ему прямо в глотку...

Студенты хохотали, к полному недоумению инвалидов и калек. Радищев, стоявший сзади Бериша, не вытерпел и с гневом сказал:

— Стыдитесь! Только что подмастерья, менее образованные, чем вы, себя вели здесь гораздо достойнее. Они громили виновников подобных увечий...

Бериш иронически прищурился и, даже не ища глазами того, кто ему бросил упрек, ответил:

— Угадываю энтузиаста и поклонника ансиклопедистов! И, конечно, вы правы: ваши подмастерья негодовали именно потому, что они мало образованы и не знают, что уничтожение всех видов насилия еще вовсе не значит уничтожение самого насилия. Его причина — бессмертна, ибо соотношение сил...

Ярмарочная толпа с такой жадностью и столь внезапно кинулась к самому помосту носорога, что сбила студентов с ног. Произошла свалка. Бериш крикнул: «Sauve qui peut!» [1] — и, держа за руку своего античного спутника и размахивая тростью, бросился вон из толпы.

---

[1] Спасайся, кто может! *(франц.)*.

Неожиданный напор произошел по той причине, что служка с хвостом на красной куртке, появившись на эстраде, возгласил:

— Предлагается всем, кто ищет себе необыкновенное исцеление от вундертира, вносить в кружку по гульдену!

Служка над головой ярмарочного люда поднял кружку-копилку и пригласил входить поочередно по лесенке вверх, на эстраду. Под свист и проклятия не попавших, взошедшие счастливцы бросали в кружку свои гульдены и становились вокруг клетищи носорога наподобие почетной стражи.

Возвещенный трубой, вышел торжественно сам хозяин зверя. Он был в мантии алхимика, в островерхой шапке, украшенной знаками зодиака, весь расшитый золотом. В темной по смыслу речи он расхвастался, что знает язык птичий и звериный и все целительные свойства трав и камней.

— По мановению моего магического кадуцея, — он поднял над головой жезл, — этот Риноцерос, который есть Бегемот книги Иова, соберет на кончик своего хвоста великую целебную силу всего животного царства. Прикосновение к этой силе способно восстановить самые истощенные организмы. Да будет вам известно, — кричал маг, — что ногти и волосы содержат в себе особый жизненный флюид. Это и есть причина, почему именно ногти и волосы употребляются колдунами в целях приворота или порчи человека. Итак, я начинаю.

Алхимик хлопнул в ладоши. Тотчас служки, став по обе стороны зверя, защелкали бичами. Из кучи сена неохотно выбрался разоспавшийся носорог.

Пошатываясь на коротких ногах, облаченных в твердые панцырные штаны, он прошелся по клетке.

Носорог остановился, поглядел на публику маленькими красными глазками и зевнул изо всех сил, обнаруживая громадную пасть, бело-розовую и нежную, как пасхальный окорок.

Восторгам толпы не было предела. Алхимик, с огромными ножницами в руках, подошел к самому краю эстрады. Служки поставили рядом с ним столик. На столике лежала стопочка каких-то бумаг. В руках у служек было длинное полотенце и чаша с водой.

Алхимик, сверкнув ножницами на солнце, погрузил их в чашу, вытер полотенцем и стал чертить, обращаясь на все четыре стороны света, кабалистические воздушные знаки.

— Сейчас вы услышите заклятие «четырех стихий» — воздуха, земли, огня и воды. После заклятий к вашим способностям может приложиться зоркость орла, бессмертие саламандры, величие льва...

— Вы забыли про глупость осла! — крикнул голос из толпы.

С эстрады понеслась ругань, и даже алхимик на миг утратил свою важность, снизойдя до перебранки:

— Пусть глупость осла останется при вас.

— Получайте обратно, — полетело, как мяч.

— Прошу внимания!.. Я одних духов заклинать буду по-латыни, других духов — по-ассиро-вавилонски. После заклятия я остригу намагниченный кончик хвоста вундертира вот этими ножницами. Необходимо соблюдать строгий черед. Волоски будут розданы всем, давшим свой талер. Впридачу безвозмездно дана будет инструкция дальнейшего курса лечения.

Алхимик поднял стопу бумажек, положил их обратно и, щелкая ножницами, натряс на них магию. Потом он высоко воздел руки и, кланяясь на все стороны, завопил:

Fluat udor...

Maneat terra...

Fiat firmamentum...

Fiat Judicium per ignem in virtute Michaeli. [1]

Однако хозяину носорога перейти на ассиро-вавилонский язык не пришлось. Внезапно на эстраде откуда-то вырос скромный пожилой человек в темном костюме аптекаря или врача. Он не спеша подошел к алхимику и что-то тихо сказал ему. Говоря, он невысоко поднял правую руку с большим темным кольцом. Потом, к изумлению раскрывших рот служек, он легким движением взял намагниченные магом бумажки и скрылся в толпе.

Алхимик необыкновенно смутился. Он даже снял островерхий колпак с зодиаком и чуточку постоял совер-

---

[1] Да течет вода...
Да пребудет земля...
Да пребудет небосвод...
Да свершится правосудие огнем во славу Михаила (*лат.*).

шенно лысым дураком. Однако все-таки спохватился, насадил обратно колпак, воздел обе руки, возопил:

— Созвездия неблагоприятны! Сегодня в толпе были люди с нечистыми эманациями. Благодаря им духи воздуха способны навеять дыхание чумы от погибшего в песках каравана. Исцелений на сегодняшний день не последует.

— А наши денежки, выходит, плакали?!

— Давай гульдены!

— Друзья мои, — крикнул алхимик, — ваши деньги здесь будут в полной сохранности, покуда созвездие Рака...

— Не надо нам рака... подавай назад одни гульдены!

Алхимик передал служкам обратно копилку и поспешно исчез под крики, улюлюканье, хохот и свист.

Радищев успел с изумлением заметить у самого помоста своего друга Кутузова, бледного от волнения. Он хотел было к нему ринуться и пробовал окликать, но тщетно. Кутузов ничего не слыхал. Вдруг он кинулся, разбрасывая людей, вслед аптекарю в черном кафтане.

Радищев наконец тихо выбрался из толпы и вздохнул свободно, когда попал в чудесную липовую аллею, обегавшую вокруг всего города.

Навстречу ему попадались запоздалые пожилые горожане, старомодные и надутые бюргерши. Они, из опасения уронить себя преждевременным поклоном кому-либо низшему по рангу, держали головы кверху на деревянных, негнувшихся шеях.

Студенты увивались вокруг жеманниц в белых платьях, вынутых из сундуков после прошлогодней конфирмации. Щеголи модно вздыхали, неся букеты вслед модницам в зеленых шляпках, с глубокими вырезами шелковых платьев.

На ярмарку проехал на своем всем известном гнедом мерине, подарке самого курфюрста, знаменитый профессор и баснописец Геллерт. Студенты, модницы и жеманницы ему кланялись прелюбезно и делали книксены. Геллерт, доехав до ярмарки, спешился, дал слуге держать мерина под уздцы, а сам пошел к носорогу.

Было время его обеда, и вундертир жадно чавкал из огромнейшей миски сырой картофель и свеклу. Вундертир коротким хвостом с пресловутой кисточкой-талисма-

ном на конце простодушно работал, как маятником, выражая свое удовольствие, и порою похрюкивал.

Геллерт с возвышенной улыбкой на тонком, полном высоких моральных достоинств лице обошел клетищу зверя. Первая строфа его знаменитого стихотворения, написанного именно по случаю этого первого привезенного в Лейпциг носорога, возникла в трудолюбивой его голове. Стихотворение о том, как он «вышел из дома и встретил зверя», суждено было долгие годы заучивать школьникам решительно всех стран мира:

Um das Rhiroceros zu sehen
Ging ich vom Haus...[1]

## *Глава вторая*

Радищев шел по липовой аллее, глубоко погруженный в себя. Его не на шутку беспокоил избегавший серьезного разговора Кутузов, заботил шалопай Миша, у которого, слышно, какие-то пошли амуры с гулящей Лизхен. И раздражал этот серый дьявол, спутник Антиноя.

Прямо-таки непереносен был Бериш. Своими замашками, высокомерием он вызывал в памяти неприятные годы, когда в качестве пажа приходилось дежурить во дворце.

Бывало, стояли как статуи за спиной важных придворных гостей. Офранцуженные кавалеры, сверкая бриллиантами, кружили головки фрейлинам модными комплиментами. Через плечи, как лакеям, делали пажам знак менять тарелки, цедить в бокалы венгерское. Сияла победной синевой глаз царица, обнадеживая робких ласкательной речью. Впрочем, в постановление церемониймейстера, по которому неловких пажей секли, царица не вмешивалась и порки виновному никогда не отменяла

Беда — заглядеться на красавицу, заслушаться хитроумных речей дипломата либо по ребячеству зазеваться на невиданные фленские устерсы[2] и залить соусом фрейлинский шлейф. Беда — звякнуть золотой тарелкой о другую над ухом вельможи в многоярусном парике.

---

[1] Чтобы увидеть носорога, я вышел из дому... *(нем.)*.
[2] Фландрские устрицы.

Немедленно церемониймейстер с большим горбатым носом, вот совсем как у Бериша, — то-то он неприятен, — подмигивал кому следует о замене ротозея исправнейшим. Насчет же ротозея отдавалось некое особое распоряжение. По тому особому — порка.

Радищев зашел в безлюдную часть города. Окна домов были закрыты ставнями, как во время эпидемии, высокие ворота заборов, обегавших каждое владение и превращавших его в маленький средневековый бург, были задвинуты окованными в железо бревнами. Даже собаки не лаяли. Все живое схлынуло на Марктплац — покупать, продавать, торговаться и просто глазеть. Тень старых деревьев так была здесь густа, что солнце, пробиваясь сквозь переплетенные в беседку ветви, лишь редкими яркими зайчиками дрожало на покрытой тенью дороге. В отрадную прохладу на придорожный камень присел Радищев и тут только почувствовал, как он сильно устал. Но спать не хотелось.

Вызвав из складов своей памяти дворцового церемониймейстера, схожего с Беришем, он больше не мог остановить эту память и, как бывает в утомлении, уже без всяких усилий собственной воли ей подчинился. Он стал пересматривать свое недавнее прошлое, приведшее его сюда стипендиатом императрицы.

Конечно, к общежитию Пажеского корпуса привыкнуть было невесело. Старшие куражились, «цукàли» младших, — так испокон было заведено, — посвящали малышей зазорно, с особо злой понукой, в еще не нужные им «утехи любви»...

Тем более было трудно, что перед этим в Москве шла совсем иная, непохожая жизнь у дядюшки Аргамакова, куратора университета, который озаботился, чтобы племяннику преподавали лучшие профессора. Здесь же, в Москве, первые речи о вольности услыхал от собственного гувернера-француза, бывшего советника руанского парламента. И хотя всего, что говорил учитель, ум двенадцатилетнего усвоить полностью не возмог, но сверкание очей, но пламенный жест внедрились в сознание навсегда. Жест сопровождался мыслью Руссо и Дидро.

И вот подобное блестящее развитие чувств естественных было прервано «монаршей милостью», котора́я гласила, что «сын подполковника Радищева пожалован

в пажи». Вместе с двором, гостившим в Москве после коронации, пришлось переехать в Петербург и начать совсем новую жизнь.

Самое замечательное в этой жизни была она — матушка царица. Случалось не раз стоять при карете, передавать ее приказы лакеям, дабы по придворному этикету не приключилось непосредственного касания смердов двору. В сих обстоятельствах был не однажды поражен чарующей простотой матушки, нарушавшей стеснительный устав своей умной шуткой, своей доступностью. Еще более восхищали речи ее за столом — речи, полные духа вольности, напоминавшие содержанием все то, что говорено было французом-гувернером в Москве. Выходило: матушка царица единых мыслей с ансиклопедистами.

И какие вселяла надежды!

Казалось, стоит довести лишь до сведения ее о попранных правах и утеснениях — и справедливость восторжествует. «Императрица — мудрее и вольнолюбивее всего сиятельного своего двора, и столь великие дела возможно свершить для блага родины и вольности, апеллируя к ней одной через все головы!»

Так мечталось отроку, еще не знающему своих сил и даров, полному брожения мыслей и благородства чувств.

И с преданностью чертил он для будущей союзницы в своих великих прожектах виньетки для Эрмитажного театра, любимого ею, или излагал вкратце и необременительно для понимания зрителя содержание дававшихся при дворе пети-пьес или нах-комедий.

Между тем дни обычные в корпусе текли тяжело и душно, без всякого внутреннего руководительства, и все еще неизвестно было, куда и на какую цель направить свою волю. Ничто не препятствовало в будущем скрутиться в разврат и бражничество. Таков был удел очень многих. Сколь ни силен умом близкий сердцу Федор Васильевич, ведь и он не устоял. И сейчас эта гибель жестокая в цвете лет...

Между тем встреча и дружба именно с ним были тем внутренним руководительством, которое дало желанный компас для направления воли и всей жизни к единой цели.

Федор Ушаков, брат Миши, был старше всех вошедших в студенческую колонию Лейпцига. В то время как

те были еще детьми, он занимал уже видное положение в свете. Царедворец Теплов (шептались — цареубийца... не Орлов-де, а он прикончил в Ропше императора) взял его к себе в секретари. Хотя и Ломоносов не одобрил сего вельможу, припечатав ему кличку «развратный и отъявленный подьячий», но к Ушакову он был благосклонен и карьеру ему сделать хотел.

За помощь в труде над рижским торговым уставом Ушаков получил чин асессора. В нем заискивали, он мог как секретарь, входящий с докладами, оказать немалую протекцию. Один из многих случаев снискания этой протекции рассказан был Федором совсем недавно, в одну из счастливых минут облегчения от страданий, и притом в весьма фривольном духе.

Радищев, невольно улыбаясь, вспомнил рассказ о том, как некая разведенная жена, подкупив слуг молодого секретаря, явилась к нему на рассвете прямехонько в спальню, когда он еще спал. У сей разводки была пресковарная мысль уловления «простейшим и натуральнейшим способом».

Федор Васильевич, отпущенный на короткий срок болезнью, с молодым лукавым блеском несоразмерных на исхудалом лице огромных серых глаз уморительно рассказал о своем пробуждении, о смятении чувств при виде неизвестной, как с неба спустившейся на его одр сирены с улыбками нежных страстей. Она отгоняла крылатых насекомых с лица его и «распростертым опахалом умеряла зной солнца», уже проникнувшего лучом своим в его спальню. Словом, в намерении своем обольстить сия сирена успела.

Но тут же, едва вызвал в воображении лицо друга с его редкой улыбкой, как непрошенно встало оно, уже искривленное судорогой нечеловеческих мук. Эти муки тщетно пытался Радищев прошедшей ночью вместе с врачами хоть немного утишить...

Сейчас от пронзительного воспоминания вскочил он и стремительно вновь зашагал по бесконечной аллее. Так на ходу стало легче.

«Почто в нужный час на пути достойнейшего нет остерегающей от соблазна руки? Почему столь поздно предложена другу возможность познания? Ему, который одной лишь мудрости наук отдал бы с радостью свои силы!

И вот он сейчас умирает только оттого, что силы эти расточены, и расточены безрассудно. Днем непомерное служебное прилежание, ночью — пирушки, похождения с сиренами, карточная игра...»

Жертва окружавшего его хода всеобщей жизни, Федор Васильевич Ушаков невольно подсек свой неокрепший организм, и страшная секретная болезнь сводит его в могилу — когда профессора им гордятся, когда он горит одной жаждой познания и кто знает, что бы мог совершить?

Вчера еще слабым голосом, сопровождаемым ему свойственной умной насмешкой одних глаз, он прошептал: «Хоть поздно, а учусь, братец... учусь мыслить по Гельвецию!»

Федор Ушаков был истинным воспитателем, образователем ума и воли всех способных его понимать студентов, свыше вверенных бесчестному руководительству глупого и низкого Бокума. Студенты добровольно передоверили сами себя — достойнейшему.

Не менее странен, хотя лишенный зловредства первого, был и второй наставник юношей — отец Павел. Этот являлся блюстителем нравственности, дабы сохранить и в земле еретической во всей чистоте древлее православие воспитанников. Но питомцы наперерыв высмеивали познания отца Павла по части метафоры и антитезиса и кроили штуки, от коих бедняга попадал впросак. Как наилучшую опору доброй нравственности, отец Павел учредил всеобщее утреннее и вечернее пение молитв. Вследствие отсутствия у большинства слуха получался неописуемый козлиный хор. Один басил, другой пищал, третий вполне недостойно кудрявил звуки, четвертый ржал жеребцом. И все согласно на высоких нотах строили рожи.

Отец Павел, на беду свою, болезненно был смешлив и, памятуя свою слабость, зажмуривал очи, дабы не прыскать ему от смеха. Миша Ушаков, первый шалостник, подметив слабость чернеца, стал ее нарочито подвергать испытаниям. Расплющит отец Павел веки, а Мишка, скорчив свинский пятачок, как хрюкнет ему прямо в бороду и сникнет в поклон. А в Риге и не такое вытворил.

Пришлось отцу Павлу служить в горенке перед иконой, возглавляющей стол, накрытый белой скатертью.

Памятуя свою несчастную смешливость и штукарство питомцев, он заблаговременно, дабы вовсе их не видать, преплотно защурил веки. Уже никакой шкоды не опасаясь, разомкнул очи лишь в поясном, глубоком поклоне над самой иконой. Ан ему тут как тут, прямо в нос, непристойность — белый замшевый кукиш! Это Мишка Ушаков, преловко соорудив из пустой перчатки, надутой собственным духом, подкинул оный кукиш под самый нос. Отец Павел так и скис. Однако преодолелся и налетел на студентов в нешуточном гневе, выражаясь неграмматически.

Тут скорый на запальчивость Мишенька кинулся к стене, сорвал шашку, прицепил к бедру и, будучи в гневе особливо заиклив, стал наступать на чернеца, захлебываясь: «Ты заб...б...был, что я кир...р...расирский офиц...ер?!»

Под общий хохот отец Павел укрылся в своей комнате и даже Бокуму не пожаловался.

Но окончательный конфуз, погубительный для значимости духовника, учинен был в присутствии петербургского курьера, некоего Гуляева. Отец Павел, от истовости уж не зная, что и придумать, завел было моду толковать питомцам после обеденки, как некоим болванам, своими словами уже прочитанное евангелие еще раз. Подобной процедурой он затягивал и без того утомительное стояние на ногах.

Царицын курьер, как нарочно, подоспел в праздник благовещения, когда отцу Павлу надлежало своими словами пояснить, что означает наименование — «ангел».

— Сей есть слуга господень, которого он на небесах употребляет для нужных к случаю посылок. Сие подобно тому, как ныне угодно было нашей государыне употребить здесь присутствующего господина Гуляева курьером.

Тут уже все, купно с новопожалованным курьером-ангелом, покатились, увлекая в смех и отца Павла. Впрочем, он немедленно вслед за оплошностью прослезился и, махнув погребально рукой на карьеру свою и фортуну, изрек заключительно: «Аминь!»

Но если русские студенты на чужбине одним легким смехом обезвредили своего соглядатая духовного и ли-

шили его всякого авторитета, с главным начальником, зловреднейшим Бокумом, дело обернулось гораздо труднее, и здесь одна только твердость мыслей и вольность их выражения — основные качества Федора Ушакова — положили закладной камень чувству достоинства студентов и умению их постоять за свое право.

Первая стычка с Бокумом произошла немедленно, едва перемахнули заставу. Русские юноши, привыкшие к еде обильной, были досадно поражены, когда после прощальных великолепных обедов в Петербурге скаредная Бокумша, ужимая губы, крутя маленькой плоской головкой наподобие ящерицы, стала распределять им на ужин по куску хлеба с вареным мясом. Миша Ушаков тут же правильно опознал, что сей первый ужин есть корень грядущей вражды и что желудки студентов, растревоженные без насыщения, кончат тем, что поглотят Бокума самого.

В Лейпциге Бокум завел каторжную, фрунтовую дисциплину, мешавшую учению, на которое кинулись с жадностью. Кроме того, он продолжал, подзадориваемый своей ящеровидной Бокумшей, всех держать впроголодь. Все письма домой перехватывались и истреблялись. Бокум боялся жалоб, торопясь нажиться за счет студентов. От напряженности слежки у него развилась подозрительность. За пустяк он студента сажал под замок с приставленным к дверям часовым в полном вооружении.

Дров Бокум не покупал вовсе, а зима в Лейпциге, как нарочно, стояла суровая, и русские мерзли больше, чем дома при морозах сильнейших, но при жарко натопленных печах. За выражаемое неудовольствие по поводу голода и холода Бокум кричал, грозился наказывать фухтелями, сиречь ударами тесака по обнаженной спине.

Особенно туго пришлось студентам, не получавшим из дому денег...

Радищев шел все дальше по великолепной аллее. Она без перерывов обегала вокруг всего города. В центре аллея казалась узкой и тесной оттого, что кишмя кишела бюргерами, выводившими на променаду супруг, от обилия нянек, возивших в колясках ребят, от петиметров, волочившихся за модницами, признававшими только места

многолюдные для выставки своих парижских омбрелек[1] и аграфов.[2]

Здесь, на окраине, текла рядом с аллеей и тихонько журчала одна только синяя речка, да между частых стволов сверкали шпицы крепостных башен и красные черепицы крыш. Здесь можно было собрать свои мысли и, опросив прошлое, понять, в чем же был его смысл?

А смысл был, и не малый.

Преотменной политической школой оказалась эта зависимость молодых студентов от гнусных и глупых наставников, потому что, как говорил Ушаков, ничто так не связует людей, как вместе переживаемая, одинаково испытуемая несправедливость.

— А ежели притеснение переходит все пределы, — доканчивал его мысль Радищев, — то рождается возмущение, выходящее из границ. И вот гляди: уже зреет восстание рабов и диктует новому Спартаку, куда и на что их вести...

О том, сколь логично в развитии общественных сил все следует своей чередой, было видно уже на таком мелком примере, как событие, окрещенное в Петербурге, по донесению Бокума, — «студенческая история».

Одна мысль, что революция, как отражение солнца даже в малейшей капельке, подчиняется непреложному закону, утешала Радищева, наполняла его радостью и живыми надеждами. Уже с удовольствием стал он припоминать все перипетии этой истории — первого боевого крещения, где студенты оказались победителями.

Дело произошло в ту самую холодную лейпцигскую зиму. Студент Ваня Носакин, слабого здоровья, не имея возможности купить за свой счет дров, выведенный из терпения корыстолюбием Бокума, отправился к нему за объяснением. Бокум играл с каким-то своим приятелем на биллиарде и, по чванливой спеси низкого душой человека, на представление Носакина о невозможности ему работать в промерзлой комнате хватил его по щеке. Носакин, не ожидая такого поступка, растерялся и, не ответив никак Бокуму, кинулся к товарищам. Студенты под влиянием рассмотревшего дело Федора Ушакова немед-

---

[1] Зонтиков.

[2] Брошей.

ленно постановили, что Бокуму необходимо, наконец, дать крутую острастку, а себя поставить как полноправных граждан.

— Посему, — сказал Федор Васильевич, — хоть обида не велика, коли тебя лягнет осел, но требовать от осла извинения, коль скоро он владеет членораздельной речью, есть необходимость.

В противном случае — как установлено общим мнением — полагается сделать вызов и драться на дуэли.

Носакин только что пришел из гостей, когда ему объявили постановление совета студентов. Он на него охотно согласился. В пылу, как был, во всем параде и при шпаге, вместе с товарищами, «всем скопом», — так жаловался потом Бокум, — вошел к нему в комнату. Миша Ушаков стремился было первый «цукнуть» Бокума, но предпочтение оказано было Носакину, как обиженному.

Увидя студентов, непрошенным скопом вошедших, Бокум, — при всем хвастовстве будучи трусоват, — испугался. Высокий, рыхлый от пива, он стоял, багровея от злости и покачиваясь на столпообразных ногах. Ему сразу вообразилось, что студенты пришли его убивать, особливо потому, что у шедшего перед всеми Носакина болталась при бедре шпага. Пугливо озираясь на единственного свидетеля — своего писаря, Бокум пролепетал, как школьник, в ответ на заявление Носакина:

— Вы давеча дали пощечину... требую удовлетворения!

— Никакой пощечины я не давал-с.

Тогда Носакин, размахнувшись, хватил Бокума запросто по щеке — раз и два.

Миша Ушаков не пропустил случая захлебнуться, выкрикнув: «Воз...врат с л...лихвой!»

Бокум позорно ретировался к себе и тотчас заперся. Телохранитель-писарь оказался на высоте своего звания. Введенный в заблуждение трусостью начальника, он тоже решил, что тут имеет место посягательство, и выхватил шашку из ножен Носакина. Но студенты с громовым хохотом шашку водворили обратно, а с писаря сняли парик.

Бокум же оказался окончательным негодяем и трусом. Он немедля состряпал экстренную бумагу, что на жизнь его студентами произведено было вооруженное нападе-

ние, но он их разогнал голыми руками, как ребят. Про пощечины Бокум умалчивал.

Предвидя именно эту подлую клевету, студенты собрались было бежать, кто в Америку, кто в Ост-Индию, но Бокум действовал молниеносно. Он истребовал от военного начальника «по случаю бунта русских студентов» вооруженную охрану. Каждый заключен был в своей комнате, к дверям приставлен вооруженный солдат. Вот тут-то старший Ушаков, чье значение росло так же быстро, как падал престиж начальников, избран был «атаманом». Это он писал письмо русскому послу с правдивым изложением всего дела. Как цепную собаку, спустил оное письмо в нижний этаж и, по всем камерам заключенных хитро собрав подписи, нашел случай переправить письмо князю Белозерскому.

Умный князь эту студенческую историю притушил и якобы помирил студентов с Бокумом. Но, как у отца Павла по его линии, провал Бокума был уже без восстановления. Сколь он ни хитрил, послание о его художествах было отправлено в Петербург, и справедливая оценка ему готовилась. Сейчас Бокум доживал последние дни. Он пустился красть со своей ящеровидной Бокумшей вовсю, но зато питомцам предоставлена была свобода полнейшая и безнадзорная.

Однако перед самой сдачей позиций Бокум, не зная о том, что жалобе студентов дан дальнейший ход, успел выкинуть самую гнусную из своих воспитательных манипуляций.

Провинившихся студентов он затеял сажать в преогромную клетку, которую и заказал университетскому столяру, — такого размера, как в зверинце делают медведям. Он уже купил для запора невиданной величины висячий замок и похвалялся им перед питомцами. Таким образом мог быть осуществлен самый строгий арест без возможности убежать и без малейшей затраты на стражу.

Проведав сии Бокумовы художества, студенты отрядили Радищева к столяру с конфиденциальной инструкцией.

Едва Радищев собрался изложить вежливому герру Шнейдеру, — старшему столяру, очень хвалимому его приятелем подмастерьем Шихте, — в чем состоит его кон-

фиденциальное поручение, как вошел в мастерскую не кто иной, как всегдашний спутник Бериша — Антиной.

Ну, конечно, как мог он запамятовать, что это и была та особенная, неприятная встреча, почему смутное неудовольствие ощущалось им теперь всякий раз, когда он встречал правильное красивое лицо Антиноя.

Хотя Радищев пришел раньше, он нарочно уступил свой черед красавцу, не желая его делать свидетелем своего, оскорбительного для национального чувства, дела. Но юноша огромную медвежью клетку в углу заметить поспел и, заинтересованный, спросил Шнейдера, для каких она зверей.

— Это еще не определено, для каких, — уклончиво ответил столяр и немедленно перешел к обсуждению заказа, с которым пришел Антиной.

Когда он скрылся, Радищев предложил от имени товарищей почтенному Шнейдеру взять у Бокума, любителя затягивать платежи, следуемую за клетку сумму. «Потому что, едва клетка появится в нашем общежитии, — сказал он, — мы разнесем ее в щепы, и Бокум не даст вам за нее ни гроша». Столяр поблагодарил и, смеясь, сказал, что, принимая в этом деле сторону студентов, соорудит все на живую нитку, дабы ломать было сподручнее.

Рихтерскафе — великолепное барокко в четыре этажа на углу улицы Брюля и Катериненштрассе — было некогда обиталищем пышного бюргермейстера Романуса. Сейчас оно превратилось в Assemblée Publique,[1] место встречи многочисленных в дни ярмарки иностранцев и студентов из Галле, Иены и Виттенберга.

Бериш с группой своих обожателей, ходивших за ним следом, как «галанты» за жеманницей, после шатанья на ярмарке добрался тоже до Рихтерскафе.

Все были отменно веселы.

— Если мнение справедливо, — сказал Бериш, — что архитектура — сильнейший центр влияния на творческие силы людей, то уж одной этой великолепной постройки достаточно если не для оправдания, то для объяснения неслыханной плодовитости убогой музы Готшеда.

---

[1] Общественное собрание *(франц.)*.

Остается пожалеть, что его водянистой богине не был положен столь ранний предел, как художнику и строителю этого дома. Из вас, вероятно, мало кто знает, что дом Романуса — памятник тройной кровавой драмы?

— Мы сейчас про этот дом знаем только одно: лучшего пива и биллиарда в целом Лейпциге нам не сыскать, — смеялись студенты.

— Однако, пока мы не углубились в кружки с прославленным этим пивом, расскажите нам, Бериш, про тройную драму.

— Великолепный Романус замечателен уже тем, что он спародировал бога-отца, приказав темному грязному Лейпцигу: да будет в тебе свет! — продекламировал Бериш. — Он заставил скупых наших бюргеров раскошелиться на целых семьсот фонарей. Это благодаря ему наши пьяницы перестали разбивать в кровь носы, а модницы попадать туфлями в лужи. Однако — увы! — когда однажды в сочельник благодаря Романусу впервые вспыхнули на дубовых столбах масляные лампочки, сам он за подложные счета городу сидел уже в крепком месте. Здесь, в Лейпциге, веселья и шуток не любят: Романуса впустили за железную дверь тридцатилетним красавцем, прожигателем жизни, а выпустили дряхлым безумцем.

Поднимаясь по лестнице, Бериш, по взятой им моде, высокомерно сощурясь, придерживая шляпу, поигрывая тростью, рассказывал о прочих жертвах тройной драмы.

— Художник Давид Гейер, которого Романус пригласил расписывать этот дом, так щедро был им вознагражден за работу, что родная сестра, ему позавидовав, его отравила. Поспешив с похоронами, она возбудила подозрение. Гейера откопали — сестру казнили. Итак, три казни за красоту этого дома, в котором мы сейчас будем пить...

— Однако мы не по заслугам попадаем вместо кофейни прямехонько в рай, — здесь ничего, кроме облаков! — возгласил Бериш, вступая в зал.

В комнате действительно было так сильно накурено, что даже сосед только сквозь сизый туман различать мог соседа. У всех изо рта до полу, как змея в каталепсии, свисали длинные чубуки с табаком. Пыхтели взапуски. Между затяжками тянули черное пиво. Огни многочис-

ленных канделябров и стенных бра окружены были, как месяц в морозную ночь, радужным сиянием. Побеждая сизую мглу, поблескивали то здесь, то там пряжки туфель, шпоры военных, стальные аграфы, бриллианты перстней.

Одни сидящие за карточными столами не курили из чубуков. Они настороженно, как кошка за мышью, следили за рукой банкомета и за кучей горящего золота, переходящей то и дело к очередному счастливцу. Почти все были в длинных кафтанах, расстегнутых спереди, с двойным рядом пуговиц на парчевом камзоле или на жилете. При каждом движении тончайшего кружева белые жабо трепетали, как крылья громадных бабочек.

Едва завсегдатаи Рихтерскафе рассмотрели вошедших, как со всех сторон послышались восклицания:

— Серый дьявол с питомником!

— Ваше великолепие, гофмейстер Бериш...

И взапуски приглашали вошедших к своим столам.

Здесь были студенты четырех университетов; каждый отличен был от других особой славой, в чем удостоверяла большая гравюра, висевшая на стене. На гравюре во весь рост стояли четверо собирательных представителей своих университетов с отличающими их атрибутами.

Лейпцигский студент, вывернув ноги, как танцмейстер, закрутив локоны, изогнувшись в поклоне, держа шляпу подмышкой, истекал галантностью.

Студент из Галле, где победили сейчас ханжи пиэтисты, скроив постную рожу, отворачивался от женщин, книг и бутылок, между тем как виттенбержец, хмельной молодец, облизывался на полный бокал. Студент из Иены, кичившейся фехтовальщиками, делал шикарный «выпад». Под гравюрой кто-то громко читал стихотворное пояснение текста, из которого слушатель узнавал, что в Лейпциге бурш не дурак приударить за девочкой, между тем как в Галле царит вечная постная мода на «ахи» и «охи»... В городе Иене пальму первенства получал всегда фехтовальщик, а в Виттенберге — пьяница-весельчак:

In Leipzig sucht der Bursch die Mädchen zu betrügen,
In Halle muckert er und seufzet ach und weh!
In Jena will er stets vor blanken Klinge liegen,
Der Wittenberger kriegt ein «à bonne amitié!»

Все различия, данные гравюрой, действительно существовали, но уже вырождались. Хотя в Иене и Галле еще попадался нечесаный «Raufbold», [1] как говорили, жеманясь, бюргерши, «ohne Politesse und Conduite», [2] но его уже вытеснял петиметр, безбородый, завитой и напудренный. На нем прекрасно сидели черные короткие панталоны, богато вышитый кафтан надет был на камзол с золотыми пуговицами. Петиметры стремились вести под руку бюргерских модниц с глубоким вырезом шелковых платьев. На зеленых шляпах и на груди им полагалось иметь поднесенные вздыхающим юношей розы. Случалось порой, что иные упорные студенты из Галле пытались воскрешать старые нравы и развертывали кулачный бой на Марктплаце. Однако, приобретая синяки, они теряли своих дам, для которых «галантность Лейпцига», этого маленького Парижа, была непреложным законом. Галантность являлась главным условием, открывавшим молодому человеку гостиные надутых спесью бюргеров, на «галанта» сыпались предложения посещать семейно-танцевальные вечера, этот благопристойнейший смотр невест. Они же были участниками пикников в знаменитую «Kalte Madame» [3] — павильон, торговавший мороженым в Розентале. И студенты Лейпцига, почитая себя украшением века, задавали всем тон, не подозревая, что в конце концов они сами лишь подчиняются вкусам бюргеров, после разорения войной стремящихся к благолепию.

По причине указанной моды и тщеславного именования города «Kleine Paris» [4] гофмейстер Бериш мог процветать именно здесь. Возможно, что в Иене и Галле он просто был бы высмеян со своими причудами. Но кружку завсегдатаев Рихтерскафе он решительно импонировал театральной аффектацией. Студенты подражали его медлительно-высокомерной речи и упражнялись в его искусстве — из ничего создавать сверкающую остроумием беседу. Пытались, подобно ему, одеваться во все серое, тратили массу времени, чтобы изобрести новый пустяковый оттенок. Огорчались, когда он уничтожал все их провин-

---

[1] Буян *(нем.)*.

[2] Без вежливости и манер *(франц.)*.

[3] «Ледяная мадам» *(нем.)*.

[4] Маленький Париж *(нем.)*.

циальное остроумие очередной парижской шуткой и держал в Рихтерскафе ядовитую речь о бездарности их воображения.

Однако большинство молодых среди увлечений модным шиком, сомнительного вкуса любовными забавами и пирушками прежде всего жаждало все-таки знаний. И здесь блестящий скептик Бериш сверкал оригинальностью мыслей и новизной, он шутя разбивал и высмеивал все ходульные авторитеты. С такой же легкостью, как знаменитое свое манипулирование со шпагой, которую он умел закрутить так, что она, исчезнув из поля зрения, оказывалась в совсем неожиданном месте, — он жонглировал мыслями энциклопедистов и их противников, зачастую смеясь над обоими.

Когда Радищев вошел в Рихтерскафе, речь Бериша уже потеряла обычную аффектированность, попав на любимую литературную тему. Радищев, кое с кем поздоровавшись, тихонько сел за отдельный столик спиной к шумной компании. Поискал глазами Кутузова и Мишу Ушакова, но их не было, и спросил себе пива.

— Первым шагом выхода из этой водянистой болтливой эпохи должны быть точность языка и краткость мыслей. Немецкой литературе надлежит, в первую голову, приобрести все, чем гордится французская. Вместо дрянной дребедени олимпийских богов, вкус к которым привила нам все та же неумная муза Готшеда...

Почтенный бюргер, медлительно встав, подошел к столу молодых и сказал:

— Однако во время Семилетней войны, под гром пушек, прусский король улучил время, чтобы пробеседовать целых три часа не с кем иным, как с этим почтеннейшим герром Готшедом. Что, он глупее студентов, прусский король?!

Бериш иронически поклонился придворным поклоном, округло взмахнув шляпой по адресу бюргера:

— Прошу прощенья, но это и были три часа исторической скуки. Мне доподлинно известно, что умный король в кругу близких сказал: «Решительно ничего, кроме грамматики, наш бедный язык не создаст!» За слова короля пусть отвечает тот, кто дал ему соответствующий для подобного заключения материал. Наконец, вы опоздали с вашим заступничеством: новый столп вашего

бюргерства, почтеннейший Геллерт, давно свалил авторитет Готшеда. Мы только его добиваем.

— И в свою очередь мы подроемся и под Геллерта, — выкрикнул кто-то из толпы, дразня бюргера.

Бериш тотчас подхватил:

— Если хорошенько порыться, благочестие Геллерта, — его манера, расслабляющая нервы, его погребальный тон и его знаменитая проникновенность речей — если не вполне, то отчасти — просто дряблая перистальтика! Обобщение я сделал на днях, когда он сам мне признался, что должен ездить на своем мерине ежедневно ради хорошего пищеварения. Сказал без улыбки, без ловкой вольтерьянской шутки, подходящей к случаю, а как преважное государственное дело.

Студент-теолог, смутясь, возразил:

— Однако курс Геллерта все еще собирает полную аудиторию.

— Хвост носорога, которого мы только что лицезрели на ярмарке, собрал еще большую, — отхватил мигом Бериш.

— Ну, Бериш, это вы чересчур, — поморщился Антиной.

Бериш круто к нему обернулся.

— Не ожидал... Вам, значит, все еще хочется обожать, а не рассуждать? Но, чтобы поднять немецкую литературу на высоту, даже лирический поэт сейчас обязан быть умен. Кроме того, ваш Геллерт, поверьте, недурной практик, и на своем белом мерине он уедет далеко.

— Студенты особо благородного происхождения берут у него частные уроки, — упорствовал бюргер, — значит, наша знать ему доверяет...

Другой бюргер сказал:

— Брат Геллерта держит столовую; он сам — фехтовальный мастер, но кормит отменно. Я у него обедал и выразил свою благодарность...

— Вообще просим студентов почтеннейшего герра Геллерта не трогать, — сказали оба бюргера.

— Еще бы! Уж если сам курфюрст подарил ему мерина...

— А город Лейпциг готов подарить любого из своих старых ослов...

— Благо их немало пасется на Езельвизе, — подхватил целый хор.

«Eselwiese»[1] называлась сатирическая часть «Leipziger Woche»,[2] где нередко продергивали даже почтеннейших горожан.

Бюргеры оторвались от кружек с пивом и, держа в руках, как оружие, длинные трубки, чередуясь, завопили:

— Геллерта читают все немцы — от короля до последнего дровосека...

— Читали бы и вы басни Геллерта — были б умней!

Бериш, как дирижер, взмахнул тросточкой и скомандовал:

— На-чи-нать!

И тотчас понеслись в уши бюргеров громовым хором пропетые первые строчки всем прискучивших басен маститого герра профессора...

Бюргеры плюнули, заплатили за пиво и, чтобы не ввязаться в историю со студентами, направились к дверям. Перед выходом они не утерпели и дружно бросили:

— Молодые ослы!

— Слышим от своих дядюшек! — догнал их веселый ответ.

Смех студентов покрыт был грохотом падающих стульев и буйным весельем, с каким ворвалась в Рихтерскафе новая ватага. Эти уже на другой манер, — из кругов, где умеренно интересовались искусствами и наукой, где сказывалось влияние Виттенберга.

Шумной гурьбой они только что бродили по ярмарке, вступали в единоборство с силачами, дразнили медведя, щипали цыганок. Войдя уже подвыпившими, они выхватывали один у другого большой лист с гравюрой, пахнувший еще свежей типографской краской, и кричали:

— Для любителей! Для холостяков! Новинки сегодняшней ярмарки! Подробный план Лейпцига!

План в минуту прибили к стене и запели хором ему посвященный стишок так забористо, что даже игроки, зажав веером карты, вылезли из-за зеленых столов посмотреть, как веселятся студенты. На особом плане разными

---

[1] «Ослиный луг» *(нем.)*.

[2] Газета «Лейпцигская неделя» *(нем.)*.

красками, с нецензурными соответствующими пояснениями, отпечатаны были все места тайных развлечений.

Об окрестных трактирах, об особых беседках и прочих излюбленных и днем вполне «семейных» местах, посещаемых «с женой и дочерью», ночные подробности ходили уже в рукописном листке по рукам. Очевидно, столько местного «перца» с понятными всем намеками и вскрытием интимных сторон было в этих прикладных к плану сведениях, что самые почтенные отцы семейств вынимали изо рта неразлучную трубку и в жирном хохоте долго колыхали затянутые камзолами животы.

— Ну, заржала конюшня!.. — брезгливо сморщился Бериш. — Подобного заряда им хватит надолго — и, значит, моей компании уже не до высоких материй. Хотите, уединимся, — предложил он Антиною.

Они перешли с кружками на маленький парный столик неподалеку от Радищева. Бериш был сильно не в духе. Высокомерное лицо его потемнело. Он отяжелел. Радищев отметил, что этот издали столь молодой и нарядный человек совсем не так молод и, пожалуй, не так уж благополучен. Разговор был ему ясно слышен. Бериш сказал Антиною не без скрытой насмешки:

— Почему, милый друг, вы так беспрекословно идете сейчас в Рихтерскафе, когда еще недавно из некоего погребка вас было не выманить? Очевидно, магнит, который вас притягивал там, потерял свою силу, и ваша тема «Анхен» исчерпана? Фантазируя дальше, проявлю сейчас настоящий дар прозрения. Ну, изумляйтесь! Тема «Анхен» абстрагирована и переведена вами в стихи.

И, подняв бокал в уровень с прищуренными глазами, любуясь сквозь янтарь пива на яркий огонь соседнего канделябра, Бериш протянул:

— Скажите стихи...

Антиной вспыхнул и вскинулся, как орленок:

— Нет, этих стихов я не скажу.

— А... в таком случае с меня довольно и того, что угадано верно, — все-таки стихи есть. И есть потому, что окончилась любовь.

Но молодой не поддавался на поддразнивания Бериша. Он так поглощен был самим собою, что столь трудно приобретаемые естественность и простота были в нем натуральны и природны, как в ребенке, еще не со-

блазненном тщеславием. Не замечая язвительности тона Бериша, заинтересованный одним существом заданного вопроса, он ответил со всем благородством простоты:

— Про стихи угадано верно только относительно их появления. Но причина, их вызвавшая, противоположна той, которую указали вы. Мои стихи свидетельствуют о том, как влечение слепого инстинкта, очистившись красотой, возвышается до любви.

Бериш остро глянул на смотревшего куда-то вдаль юношу. Он им любовался. Но, по привычке не доверяя, на всякий случай вымолвил:

— Темно и невнятно. Сколько вас ни учу хорошему вкусу, вы опять сбиваетесь на высокопарный тон.

Юноша так непонимающе, так как-то издали глянул на Бериша, что тот смутился и неожиданно для себя самого положил свою руку, изнеженную и нарядную, как у женщины, от сверкающих колец, на еще юношески неуклюжую кисть Антиноя. Потушив колючий блеск глаз, Бериш сказал:

— Разве вы не знаете, как мне дороги ваши стихи? Я ломаю голову, чтобы создать достойный их шрифт. Я загонял приказчиков Шенэ поисками для них особой бумаги, я, «серый дьявол», для всех злой Бериш, я ведь первый, кто высоко оценил ваши стихи.

И опять вдруг испугавшись смешной чувствительности, он снял руку и улыбнулся с обычным высокомерием:

— Ну, расскажите по крайней мере, каким образом произошло абстрагирование темы «Анхен» в красоту? Человек, который переписал собственным великолепнейшим почерком в золотообрезную книжку все ваши стихи, ей посвященные, кроме этих последних, которые вы сейчас желаете утаить, — не правда ли, достоин, зная начало, узнать и конец?

Антиной весело улыбнулся, но не Беришу, а собственным воспоминаниям, и, очевидно только в них погруженный, легко рассказал:

— Это было, Бериш, еще до знакомства с вами, шлифовщиком моего вкуса, и я страдал одной глупостью, присущей малограмотным людям: я любил всюду лепить собственный вензель. Таким образом я нанес ранение чудесной липе на опушке Розенталя. Буквы состарились и одеревенели, когда я, познакомившись с Анхен, над

своим именем вырезал на свежей коре той же липы имя ее. Вырезал и забыл. Всю зиму я вел себя пребезобразно: ревновал, обижал, терзал капризами. Она была бы вправе сказать: «Der Liebe leichtes Band machst du zum schweren Joch...» [1]

— За нее сказали вы... — усмехнулся Бериш.

— Словом, Бериш, я в эту зиму исчерпал ее свежее чувство и надоел сам себе.

— Прекрасно сформулировано! — воскликнул Бериш. — Это именно то, чего никто не прощает, если из-за возлюбленной надоест сам себе. По этой причине мое сердце уже не замирает от чьих бы то ни было инициалов, исключая соединения на титульном листе иной книги двух имен: Краузе и Графф — первейшего нашего гравера и лучшего в мире издателя. Но продолжайте, мой друг, вашу идиллию...

— Однажды этой весной, когда в злом унынии, окончательно поссорившись с Анхен, я бродил на опушке нашего парка, я набрел на ту липу, носившую наши имена. Взглянув на них, я отпрянул, пораженный... Как обычно в эту пору, молодые весенние соки, мощно бродившие в дереве, струились из свежих надрезов имени Анхен и орошали одеревенелое имя мое. Милый Бериш, уверяю вас, — дерево плакало.

— Очень любезно со стороны дерева, — засмеялся Бериш. — Стихотворение в честь него должно быть названо «липовые слезы». Скажите на милость! Сквозь имя возлюбленной оно оросило с укором имя жестокого. Не правда ли, этот поэтический упрек вызвал в ваших чувствах то, чего вызвать уже не в силах была живая девушка своими настоящими, солеными слезами. Эти слезы текут у них по щекам, оставляя порой грязноватые полоски.

— Как вы сказали, Бериш? — Антиной глянул строго глазом, вбирающим мгновенно, как бы ловящим в себя предметы. — Знаете, так именно, как вы, должен бы воспринимать все вещи некий дух, воплощение злого начала, если бы ему пришло в голову появиться в современности. Вы Мефистофель из легенды о докторе Фаусте...

---

[1] Легкие узы любви ты превращаешь в тяжелое иго *(нем.)*.

— Вы мне оказываете много чести, — слегка поклонился Бериш, — но я по капризу претендую в данную минуту скорей на звание пророка, нежели дьявола. Я вам прорицаю опять, и уже без ошибки. Из-за «липовых слез» вы были ужалены заново стрелой Амура. Признайтесь, вы рыдали под этой замечательно педагогической липой. Рыдали... пока у вас не вылился экспромт. Молодой друг, не бойтесь выводов разума, — они одни нас принуждают умнеть. Не только поэт, всякий мыслящий человек лишь притворяется, что чувствует непосредственно. Действительность слишком глупа, пестра и бесстильна. Только очистив чувство от случайности и переведя его в красоту, получаешь очарование. Что поделаешь! Вторичное воздействие того же самого явления, притом без присутствия вызвавшего его объекта, действует гораздо сильней. Но люди из трусости не умеют быть одинокими. Однако скажите мне все-таки эти стихи, — они, разумеется, лучше моей философии.

— Нет, Бериш, этих стихов я все-таки не скажу, — упрямо сказал Антиной. — Стихи мне еще дороги. Но зато я вам продемонстрирую, если вы ко мне зайдете, отличного вкуса рамку, которую соорудил мне наш университетский столяр. Рамка редкого дерева — мореной груши — и, между прочим, является новым нюансом к гамме любимого вами серого цвета. Эта рамка для портрета Анхен, и я хочу в память розентальской липы прибавить к ней...

Но Радищев уже не узнал, что еще мог хотеть Антиной. Он внезапно вскочил и двинулся к выходу так поспешно, что толкнул по дороге бюргера и вызвал недовольную реплику:

— Русский медведь!

Радищев кинулся вон из Рихтерскафе, потому что, невольно следя за рассказом Антиноя, едва тот дошел до рамки грушевого дерева, со всей яростью вспомнил эту особую встречу. Наверное Антиной поспел узнать все подробности и сейчас начнет рассказывать, для какого рода зверей клетка предназначена. И Бериша за наглую усмешку, которая бы последовала, пришлось бы неминуемо съездить по горбоносому лицу.

Шагая стремительно к общежитию, словно за ним гналась погоня, Радищев вдруг вспомнил и последнее, что

до сих пор ускользало из памяти, — странную фамилию Антиноя. Ведь он машинально в раздражении повторял ее про себя там, у столяра, ожидая, когда юноша окончит свой сентиментальный заказ. На прилагаемом листке к рамке грушевого дерева старательным почерком юноша вычертил: Вольфганг Гёте.

Придя домой, Радищев был неприятно поражен, что Кутузова все еще не было в комнате. Зато на столе лежали листки выпуска «Всякой всячины», занесенные подмастерьем Шихте. Радищев впился в них глазами, ища ответа на предерзости Правдулюбова.

Никаких речей про общественный разбор, на чьей стороне правда — у «Трутня» или у «Всякой всячины», больше не было. Взамен всего один высочайший окрик из уст разгневанной «пожилой дамы». И не только окрик, — угроза:

...«Были на Руси сатирики и не в его пору, да и тем рога обломали».

Екатерина явно была недовольна дерзким журналом Н. И. Новикова.

## *Глава третья*

Весной новый курфюрст Фридрих-Август принимал присягу от верноподданных в своем городе Лейпциге.

Навстречу ему уполномоченные выехали в Гримишестор. Бюргермейстер города в низком поклоне, вздымая кружевом рукава — словно дым кадильницей — тонкий желтый песок, подал на бархатной подушке большие резные ключи самому курфюрсту.

Курфюрст недвижно, как божество, взирал на золотые бляхи с именованием четырех ворот города и безмолвствовал. За него по ритуалу ответствовал гехеймрат:

— Его княжеская светлость в знак доверия к своему городу Лейпцигу вручает бюргермейстеру ключи от ворот обратно.

Перед въездом в город сооружен был Парнас из двух скал, покрытых мохом и елочками. Посреди восседал Аполлон с девятью музами. Все — с позлащенными лирами в руках. Перед этими божествами, изображаемыми студентами университета, предстояли аллегорические

фигуры — добродетели курфюрста. Они держали грандиозный герб его дома. Фигуры были — Фортитудо, Темперанта и Пруденция.

Внутри самого Парнаса находилась комнатка, где помещался в большой тесноте оркестр. Он тоже весь состоял из студентов и столь отменно играл, что карета остановилась и курфюрст с курфюрстиной слушали музыку, высунув из окошка августейшие головы.

Под салют выстрелов, под крики «Salve!», извергаемые глотками горожан, студенты от имени университета поднесли курфюрсту в подарок ценный серебряный кубок.

Дворянство подымало два пальца в знак присяги в Хофштубе — крепости Плейсенбург, а бюргеры подымали два пальца на Марктплаце.

Когда курфюрст въехал на площадь, ему предшествовали двести рыцарей с обнаженными, на солнце сверкавшими саблями. Гайдуки гарцевали на вороных конях вокруг его белой, без пятнышка, лошади. Вдоль кортежа шпалерами шествовали горожане в так называемых «кафтанах присяги», при желтых лентах на шляпах и шарфах. Почтенные отцы города подали бюргермейстеру просьбу разрешить им заменить на Марктплаце стражу, расставленную в шахматном порядке. И пока длился в ратуше грандиозный обед, заданный курфюрсту Лейпцигом, отцы города, чередуясь на часах, верноподданно потели.

Студенты, игравшие в недрах Парнаса, были извлечены в пышный зал и сопровождали бесконечные блюда все той же, заслужившей высочайшее одобрение, музыкой. В заключение обеда был подан замечательный торт, столь почтенных размеров, что внесли его два повара с поваренком. Торт сооружен был, искусством прекрасных горожанок, из миндального марципана. Он изображал площадь города, полную сахарных граждан с подъятой для присяги правой рукой.

— Совсем как живые! — воскликнула курфюрстина, оглядывая с умилением своих сладких подданных.

— Они настолько живые, — подтвердил с улыбкой курфюрст, — что мы, из страха прослыть людоедами, их вовсе кушать не станем, а свезем на память домой и поставим под стеклянный колпак.

Бюргермейстер провозгласил высочайшую здравицу, ружья бахнули, и начались долгие возлияния...

Русская колония вместе с коллегами университета была на Марктплаце и немало веселилась лицезрением толстых отцов города на часах...

В общежитии около больного Федора Ушакова оставались немногие. Среди них — Радищев, Алексей Кутузов и Мишенька, брат больного.

Федор Васильевич чутко дремал. Лицо его, продолговатое, той прозрачной бледности, которая бывает у тонкокожих молодых людей после долгой болезни, и во сне было поглощено глубокой думой.

Изболевшее тело, которому одеяло — уже непосильная тяжесть, лежало под одной белой простыней. По выпирающим костлявым коленям, более выразительным, чем полная обнаженность, угадывалась предсмертная скелетная худоба. Волосы, отросшие за болезнь, цвета крепкого кофе, были волнисты и неприятно густы. Казалось, это именно их тяжесть и обилие обременяют больного и принуждают его отбрасывать голову назад. Федор Васильевич, теша себя остатком молодого тщеславия, волосы свои стричь не давал, говоря, что ждет соответственную этой процедуре Далилу-очаровательницу. Но вернее — нервозность его была столь велика, что одно прикосновение ножниц уже было терзанием.

Радищев сидел у окна за столом в комнате Ушакова и, как это у него от долгих дежурств вошло в обыкновение, чтобы не делать лишнего шума, пока не потребуется его услуг, он, очинив новое перо, стал продолжать запись своих мыслей и чувств в дневнике:

«...Никакие родители, нижé наставники и книги не могли бы столь пронзительно запечатлеть в наших сердцах правила справедливой жизни, как сей юный мудрец, созревший в муках. Хотя сие есть правило натуры, что всякое зерно лишь гибелью собственной создает урожай новых колосьев, но возмущение подъемлет все мои чувства при одной пропозиции, что подобное жестокое условие должно иметь место и в заражении людьми друг от друга добродетелью. Но ежели так... пусть гибель дорогого друга не останется втуне! Пусть перерождает прохладные ленивые чувства в опаляющий пламень! Пусть уязвляющая скорбь этой гибели...»

— Саша! — позвал Ушаков.

Радищев кинулся к другу. Привстав, сколько позволяли силы, на подушках, Федор Васильевич смотрел в окно, где в беспредельность уходили поля и рощи и золотом горели на солнце остроконечные шпицы немецких строений.

— Саша, хочу в рощицу, сведи меня вместе с Мишенькой.

Федор Васильевич говорил слабым, но ясным голосом, горя темносиними, непомерно большими от худобы глазами.

— У меня опять жар, значит подъем сил, и смогу, опираясь на ваши плечи, добресть...

Радищев хотел было сказать по привычке, что ежели жар, то тем более вредно, но Ушаков предупредил его легкой улыбкой:

— Медикусу не говори — будет жужжать, аки шмель. А мне что с жаром, что без жара... в последний-то раз!

Радищев поспешил выйти, скрывая волнение, позвал Кутузова и Мишу. И они поняли; не возражая, одели бережно друга и, пользуясь тем, что все начальствующие и телохранители глазели на курфюрстов парад, на руках вынесли Ушакова к любимому его ручейку в ближайшую рощицу...

Федор Ушаков поддерживал свою молодую уходящую жизнь одной бешеной волей и гордым сознанием, что человек должен умереть, когда сам решит, а не когда его невзначай скосит смерть. Чем более изнемогало тело, тем возбужденнее в голове были мысли. Так на сраженном бурею дереве при засохших корнях могучей зеленью зацветает верхушка.

Быть может, рассуждения Федора Васильевича носили характер слишком книжный, но для товарищей его они были убедительней заученной латыни отца Павла, волнительней почтенной, отстоявшейся, не связанной с жизнью морали Геллерта.

Федор Васильевич ушел с пути несомненных удач, наград и восхождения по службе, имея одну мысль, одно стремление — расширить и углубить свои познания в науках. Когда Екатерина послала в Лейпциг двенадцать пажей для обучения юриспруденции, он упросил приписать и его «сотовариществовать юношам».

Очень скоро Ушаков, этот юный философ, пренебрегший карьерой, открывшейся его исключительным дарованием, стал вождем мысли Радищева. Твердость характера, ведущего к цели жизни, достойной гражданина, подчинила Ушакову сердца юношей. Под руководством почти столь же молодого, но уже совершенно самостоятельного в мышлении учителя Радищев и сам стал критически относиться к модным «просветителям» и ко всем идеям, идущим из Франции.

Заявление Жан-Жака Руссо, что «человек велик своим чувством», вызвало противопоставление Радищева: «Человек велик своей заслугой обществу». Исходя из этого положения, все воздействие просветительной философии на чувство и характер Радищев оценивал по одному главному признаку: *как* они подготовляли человека быть гражданином и *чем* его для этой цели вооружали. Полный глубокой любви к России, горевший мечтой об уничтожении рабства, Ушаков внушал молодому другу — если потребуется, положить свою жизнь, но добыть желанную вольность.

Мысли о мощи и всевластии человека, питавшие Ушакова, воскрыляли друзей его, побуждая их на доблесть и подвиги.

Федора усадили на цветущий луг, подостлав одеяло, захваченное Мишей. Он с наслаждением вытянулся, раскинув руки на траве. Долго молчал, глядя в ровное, густое синее небо. В вышине, над его головой, темным крохотным облачком повис жаворонок, залившийся песнью. Наконец, с усилием от него оторвавшись, Ушаков сделал знак, что хочет нечто сказать. Все сдвинулись теснее.

— Дай мне вещество и движение, и мир созижду, не так ли вещал нам Картезий? И вполне достойно возгордиться человеку, подчиняющему власти своей звук, свет, гром и молнию. Найдя точку опоры, некий Архимед, он изменит и самое течение земли! Но истинно, друзья, — человек, справедливо сознающий свои силы, тем самым обязуется уважать и тело свое — обиталище этих сил.

Федор Васильевич приподнялся с силой, неожиданной при его слабости. Тонкая краска залила щеки, он с глубоким чувством сказал:

— Да, тело есть священный храм всех сил и возможностей человека, и потому решительно все, что может нарушить гармонию, разложить, осквернить, повредить строение этого храма, да будет вам мерзко. Друзья мои, простите... но поневоле, не отпускаемый грызущей болью, должен я торопиться, хотя докучая вам, убеждать всеми силами, кои еще в моей власти, избегать примера моего. Берегитесь разврата. Ничто столь не ослабляет цельность твоей силы и воли, как непременное следствие близости физической — приложение к тебе иного, чуждого, порой прямо враждебного характера. Вступая в связь с существом, которое стоит ниже тебя умом и сердцем, знай — ты добровольно впускаешь в себя врага внутреннего. И чем этот враг тебе обольстительней, тем он опаснее. Вообще, как правило: едва притяжение сердечное происходит за счет твоей свободы, — беги!

Догадываясь по замешательству любезного младшего брата Мишеньки о непорядках в его жизни, Федор Васильевич, как мудрец, не обращаясь к нему лично, но имея на него устремление, сказал:

— Уступкой страстям своим, — так познал я, — страсти нимало не гасишь, а, напротив того, распаляешь до чрезвычайности. Но ежели не ты, а они возьмут над тобой силу, то нет им конца, нет удовлетворения. Ибо воображение наше и похоть превосходят решительно все возможные осуществления. И знаете ли выход, дорогие? Каждый должен сам положить себе предел. Найти и положить. А излишек воспаляющих чувств усилием воли перевести на энергию умственную. И столь быстро и велико наслаждение. Чистое умственное познание в самом себе уже носит все стадии чувств, подобных пылу влюбленности...

Взошла на светлом, зеленовато-нежном своде первая робкая звездочка. Улыбнувшись ей как знакомой, потому что ежедневно ее наблюдал из окошка, Ушаков тихо сказал:

— Да, как пламенный любовник, прилепился я в последние мои годы к величайшей из наук — математике. И скрою ли? Высокое блаженство, чистое, без своекорысти, но в силе не уступающее былому обладанию физическому, испытал я при преодолении того закона, по которому узнавал, как мельчайшая звездочка, на самом

деле громадная и бесконечно от земли отдаленная, может быть подвержена исчислению тончайшему. Сколь велики и разнообразны способы познания миров! И сколько их самих, нам еще неизвестных...

Русским студентам, безбожникам благодаря духу века и неблаголепию смешливого и неумного отца Павла, немудрено было подкопаться под какую угодно мораль и высмеять наставительность поучения. Особливо имея такого ментора, как Бериш, который сумел выставить слезливым болтуном даже окруженного уважением, популярного Геллерта.

Но в словах Ушакова было нечто большее, нежели мораль. Он говорил, как верный знаменосец, который, падая сраженным, торопится передать свое знамя. За ним была не кафедра нравственного богословия, а сама смерть, и потому, когда он говорил о том, что́ в монашеской проповеди отца Павла вызывало лишь грубые насмешки и непристойности, — то это доходило без промаха до сердец.

— А ты, Мишенька, — сказал с отеческой улыбкой старший брат, — женись, друг, в ранних годах. Человек все же не мотылек. Чувства, волю, рассудок надлежит ему соподчинить в одно целое, даже если нет у него каких-либо широких затей, просто дабы оправдать свое звание человека. Как о постороннем и нелюбимом, надлежит выяснить о себе самом, в чем именно твоя недостача. Все люди в чем-либо тайно уроды. Вот применительно с познанием своего уродства ищи себе недостающее восполнение или помощь. Это компас всех обогащающих отношений. Ужели человек не разумнее растения и животного, кои, обладая инстинктом, устремляются к совершенству?

Ушаков, откинувшись на подушки, умолк. Молчали и друзья. Вдруг дотоле пустынная аллея оживилась. Она наполнилась множеством почтальонов. Пачками вынимали они из служебных своих сумок только что отпечатанные и полученные для продажи листки с объявлением публичной казни.

Почтальоны торопились на Марктплац со свежей новостью. Увидав на нежданном месте кучку студентов, они подлетели и, наперерыв потрясая листками, предлагали купить, кто басом, кто тенорком:

— Exe-cu-tions-zettel![1]

Публичные казни все еще были чем-то вроде любимого народного зрелища... С вечера занимали горожане места, приходя целыми семьями, чтобы наутро не прозевать приезд преступника в колымаге на коровьей коже. Тут же закусывали, разводили костры, ссорились из-за удачного места. В день самой казни и даже несколько ранее продавали на улицах экзекуционсцеттели. Они состояли из четырех страниц: на первой был грубый отпечаток с деревянной гравюры, изображавшей на смертном помосте палача и его жертву, на остальных трех — изложение самого преступления. Непременным заключением являлся покаянный стишок от имени преступника, сочиняемый специально для этого дела особым погребальным поэтом. Приличие и мораль требовали, чтобы стишок этот был вложен преступнику в рот после казни. С ним его и погребали.

Таким образом, почтенные бюргеры, уважая себя, почитали, что они воздают дань милосердия даже последнему злодею. С покаянным стишком во рту преступнику прибавлялся лишний шанс снискания милосердия у самого бога.

Картина сегодняшнего «цеттеля» изображала палача, занесшего меч над женщиной, которой уже завязали глаза. Другая, оцепенев от ужаса, глядит на ее казнь, ожидая собственной.

Текст гласил: «Иоганна Тейсман, 17 лет, и сообщница ее, столь же юного возраста, Регина Штейн вместе убили новорожденного мальчика Регины, неизвестно от кого ею прижитого.

По всей справедливости закона обе женщины присуждены к обезглавлению в Рабенштейне. После казни тела их будут возложены на колесо».

Друзья торопились купить листки, чтобы скорее избавиться от почтальонов и все дело замять. Надо было скрыть новую смертную казнь от Ушакова, которого это событие непомерно всегда волновало.

Но скрыть не удалось. Зоркий глаз Федора Васильевича увидал листок. Ушаков его потребовал, прочел и, побледнев, закрыл глаза. Все кинулись, испугавшись, что

---

[1] Извещение об экзекуции (*нем.*).

ему дурно. Но он сделал неимоверное усилие и с гневом сказал:

— Этот листок даст мне силу прожить еще несколько... он пришпорит меня окончить давно начатые мысли о смертной казни.

В его замечательной статье, которую по болезни Ушаков так и не окончил, главною мыслью было то, что смертная казнь не только не нужна, но просто бесполезна. Злодеяния не суть природны человеку, писал он, ибо люди зависят от обстоятельств, в которых они находятся, и само собой разумеется, что люди подлежат исправлению. Отсюда логическое следствие: общество должно направлять волю *каждого* на благо общее. Общество должно добиться того не казнью, а разумным воспитанием, чтобы отдельный человек не становился нарушителем закона, полезного для всех. Бессмыслица же смертной казни, по мнению Ушакова, в том, что нет злодея, который не был бы к чему-либо пригоден, так что зло, им содеянное, можно будет исправить его же работой.

Ослабевшим голосом Ушаков продолжал:

— Друзья мои, человек не рождается преступником. Помните сие, особливо вы, в чьих руках по возвращении на родину окажутся дела правосудия! Люди нередко идут на преступление только потому, что сами жестоко теснимы.

От слабости он прервал речь и подал знак унести его в комнату. Радищев и Кутузов взяли его под руки. Мишенька, желавший скрыть слезы, непроизвольно текшие по щекам, подхватил за ноги. Так и понесли.

Солнце близилось к закату. В густой зелени было уже сыровато, и легкой дымкой курился туман... Свернули с дороги, чтобы не встретить кого-либо. Пошли напрямик, лугом. Густые кусты белого и розового клевера благоухали. Над ними жужжали мохнатые весенние пчелы, подальше мирно журчала чистая быстрая речка. Друзья остановились для передышки.

— Как хороша, как чудесна жизнь...

В голосе Федора Васильевича не было ни горечи о прошлом, ни зависти к остающимся — одно столь чистое, столь детское восхищение, что Радищев с невольным уважением, как на существо высшее, уже свободное, взглянул на него. Бледное лицо Ушакова, только что

утомленное беседой и расстроенное до предела, было в этот миг молодо и прекрасно.

— Друзья мои, — сказал он, обведя потемневшими большими глазами луг, деревья, речку и небо, — друзья мои, берегите жизнь.

Принесенный в комнату, Ушаков забылся сном, давно его не посещавшим. Радищев, приметя, что Кутузов, с досадой взглянув на часы, поспешно вышел из комнаты, догнал его и сказал:

— Я хочу тебе сопутствовать, Алексис; твой масонский журнал «Der Freimaurer»[1] я прочел, хотя и занята моя голова вовсе иными делами. Немало поражаюсь, что тебе не интересно узнать мое о нем мнение. Прежде обычно ты бывал нетерпеливым.

Кутузов смешался. Он, видимо, очень торопился, и допросы Радищева были некстати. Он неохотно сказал:

— Если тебе по пути, проводи меня до картинной галереи.

— Опять туда! Ты каждый день в этот час ходишь, чтобы смотреть как вкопанный на портрет бюргермейстера Романуса. Озабоченный немало всем твоим поведением, я однажды последовал за тобой. Мне известно, что ты связался с содержателем кофейни — вызывателем духов, союзником в деле наживы за счет хвоста носорожьего с хозяином здешнего зверинца. Но одумайся, это ли может способствовать «возведению всего человечества на высшую ступень», как цитируется в вашем журнале?

Кутузов зашагал длинными ногами, не умеряя пылу, так скоро, что Радищев, тоже немалого росту, едва за ним поспевал. Он раздраженно бросил на ходу:

— Изучающему право не приличествует бездоказательно делать заключения...

— Но доказательность есть. Посему и начал я свой разговор. Присядем-ка тут под деревом.

— Нет, мне нет возможности. Я должен быть к известному часу...

— В известный час каждый день на закате ты исчезаешь, подобно сказочной Сандрильоне, и — любопытствую — не по приказу ли все того же Шрёпфера? Друг,

---

[1] «Вольный каменщик» *(нем.)*.

откройся, пока не поздно. Я тебя не узнаю. Ты одержим, как маниак, одной идеей, ты забросил науки. Ты упускаешь из внимания наш скорый отъезд и необходимость сдавать последние проверочные испытания. Как ближайший тебе, я обязан тебя остеречь. По тем книгам, кои ты дал мне для ознакомления с масонством, я успел разобрать главное. Минуя все сказки и басни о допотопном его происхождении, которые, впрочем, лишь дурак понимает буквально, а умник — в иносказании, оказывается, что рядом с благородством основной цели там открыта великая возможность к процветанию молодцов, которые мастера ловить рыбку в мутной воде. И велика разность между учением о правильных основах свободы и общественности, как это можно усвоить из «Масонских бесед» Лессинга с Иоганном Швабе, который защищает масонов от упреков в «вольнодумстве», говоря, что «оное сладчайшее братство никогда не позволит себе сопротивляться ни светским властям, ни духовным». На кой черт — спросить — существует тогда вся их тайность вызывать мертвяков?

Самое же существенное заключается в том, что предлагаю тебе разобраться совместно в сем, для меня небезинтересном предмете, минуя сумнительных руководителей. Шрёпфер же твой ежели не обманщик, то, повторяю, пребольшая энигма. [1]

Кутузов, который едва ли внимательно слушал речи Радищева, повернувшись всем разгоряченным лицом, прервал:

— Словами, брат, мне не поможешь; хочешь помочь — помоги делом. Выслушай ты, что я тебе предлагаю взамен менторского зубоскальства.

— Я тебя слушаю, Алексис...

— Сегодня ночью в отдаленной комнате своего дома Шрёпфер назначил мне прийти... еще ничего безвозвратного. Я свободен, не связан клятвою. Я имею даже предложение привести с собой одного друга, ближайшего, кому я доверяю. Я вовсе не так необдуман, как ты полагаешь: прежде чем принять те или другие обязательства, я хотел все подвергнуть обсуждению другого, лучше меня разбирающегося ума... но ты не отходил от больного

---

[1] Загадка *(франц.)*.

Федора Васильевича. Кроме того, мне особенно трудно было говорить с тобой. Боясь твоей насмешки, я слишком долго скрывал от тебя мое увлечение. Короче сказать, если вправду хочешь помочь, то пойдем ночью к Шрёпферу вместе. Он вызовет тень бюргермейстера Романуса. Это и будет проверкой его тайных знаний.

Радищев пытливо глядел на друга.

— Так вот почему ты ходишь изучать его портрет? Значит, я не ошибся, — это приказ Шрёпфера.

— Который только доказывает добросовестность учителя. Ведь он настаивает на ознакомлении с лицом, флюидическое тело которого он собирается вызывать, единственно для возможности проверки.

— Еще один вопрос. Припомни, Алексис... — Радищев, в волнении за друга, приковался к его светлым, выпуклым, немного стеклянным глазам, — припомни, не говорил ли тебе Шрёпфер, что он своим посещением намеревается осчастливить Петербург?

— Он хотел дать кое-кому письма...

— Для начала довольно. Дорогой Алексис, прекрати изучение лица бюргермейстера Романуса. Неужто тебе не приходит в голову то, что при трезвости мысли тотчас пришло в мою? Ведь, запечатлевая данные черты лица в своей памяти, ты работаешь как раз на руку недостойному какомагу. Ему будет гораздо меньше хлопот, опоив тебя своим зельем (по городу ходят кое-какие на этот счет слухи), заставить тебя в любом чучеле увидать этот обещанный, из твоей же памяти извлеченный образ. Алексис, — воскликнул Радищев со всей настойчивостью и внушительностью голоса, — опомнись, пойми, в какую темную яму идешь! Пусть Шрёпфер растрясет золотые мешки таких бюргеров, как книготорговец Рерке и братия, но при чем ты среди них? Тебе, студенту, читающему Гельвеция, просто позорно присутствие на вызове мертвецов. Желторотый воробышек, при посредстве которого хитрый обманщик задумал пробраться в нашу страну! Любезный Алексис, не ходи фиксировать портрет Романуса, брось, идем кататься на лодке по Шванентейху, — схватил Радищев за руку друга.

— О нет, я должен... я должен при вызове флюидического тела признать, чье оно.

Кутузов вырвал руку и убежал.

В нижнем этаже Рихтерскафе, в отдельной комнате, про которую знали немногие, сидел пожилой человек, кого-то, видимо, поджидая.

Он был в нетерпении: то вставал с кожаных кресел и шагал по паркету, заложив руки за спину, то вооружался большими щипцами и тушил в высоких шандалах свечи, еще не давшие нагара.

Человек этот был примечателен несоответствием своего возраста и юношеской быстроты движения. Он был плотен, высок, крепко сбит. Быть может, он был даже очень немолод, но мысль о его возрасте не приходила в голову. Во всяком случае, если бы Кутузов этого человека сейчас увидел, то никак бы не признал в нем того незнакомца, за которым кинулся в переулок, чтобы узнать от него, какой властью запретил он вдруг стрижку хвоста носорогова.

Но между тем незнакомец был именно этот щеголеватый легконогий человек. Его черный кафтан, расстегнутый на расшитом камзоле, от богатого кружевного жабо сейчас утратил свою погребальную важность. Но главным, что изменяло первоначальное впечатление, было отсутствие пышного седого парика. Собственные волосы, чуть тронутые над лбом серебринкой, не были взяты в «кошелек», а свободно спадали до плеч. Выразительная подчеркнутость черт выдавала его итальянское происхождение. Нос, слегка горбатый, с неприятно подвижными ноздрями, казалось, все что-то вынюхивал, как ищейка. Рот был извилистой тонкой линии и выделялся своим ярким цветом на лице бледной матовой кожи человека, привычного к уединению библиотеки.

Это был ученый иезуит граф Анджолини, последователь и союзник некоего Штарка, тоже иезуита, пробравшегося в Россию и в самом Петербурге основавшего так называемый «тамплиерский клерикат».

Целью Штарка было сделать модное масонство орудием католицизма. В противоположность барону Гунду, влиявшему сейчас в Европе, Штарк проповедовал, что высшие тайны ордена тамплиеров унаследованы и сохранены в неприкосновенности не светскими, а только духовными людьми.

В России Штарк укрыл свою тайную деятельность под скромной должностью учителя немецкого языка в Петрисшуле, что на Невском проспекте.

Век просвещения был особливо неприятен иезуитам, и они стремительно теряли свое влияние в Европе. Понемногу среди их главарей созрел грандиозный план — изгнать из Италии всех Габсбургов и Бурбонов и утвердить свою власть, как неприступную крепость. Они полагали, что могут быть в безопасности и силе, если, по выражению Петручелли, удастся из «папы соорудить исполина».

Но бурбонские дворы в этот план проникли и стали еще настойчивее в своем требовании — либо коренные реформы в ордене иезуитов, либо полное его уничтожение.

Папа сопротивлялся.

Тогда мщение дворов распалилось до такой степени, что явился прожект — Рим блокировать, истощать его голодом, доколе не отдан будет папой приказ о секуляризации всем ненавистного ордена. Французским посланником была представлена Клименту XIII в таком смысле составленная мемория.

Когда и в среде кардиналов создалась партия, противная ордену, папа покорился и назначил конгрегацию для расследования всех злоупотреблений, в которых обвинялись иезуиты.

Накануне означенного дня Климент XIII, прекрасно себя чувствовавший еще за обедом, снимая на ночь белую атласную фуфайку, внезапно пал мертвым.

Рим заговорил об отравлении. Вновь избранный папа, кардинал Ганганелли, был главой противников ордена. Сейчас он готовился издать бревэ [1] о его закрытии.

Часть иезуитов, упорно желавшая сохранения своей власти, могла рассчитывать на убежище и успех только в двух странах — Пруссии и России. Связь с Россией входила в самый ближайший план действия, и особые полномочия на этот счет даны были Римом ученому иезуиту графу Анджолини.

Наконец в коридоре послышались легкие торопливые шаги давно ожидаемого гостя. Анджолини насторожился, однако не двинулся навстречу, лишь полуобернулся с ожиданием к дверям.

---

[1] Папское послание.

Одному ему свойственной, легкой подлетывающей поступью в дверь вошел парикмахер Морис.

Если Кутузов не узнал бы в Анджолини давешнего аптекаря в черном кафтане, то тем менее узнал бы Власий в сейчас вошедшем своего приятеля, хохотуна-куафера, который приходил в общежитие брить барчуков и накручивать им букли. И не то что костюм или парик Мориса были иные, чем обычно. Нет, в горделивости осанки, в совсем другой манере говорить, делая редкие сдержанные движения, была вся разительность перемены.

Черты лица утратили свою наигранную живость — они были надменны; тон речи — привычный к тому, чтобы каждое слово ловилось, как приказ. Середович, конечно, не знал, что маркизу де Муши, набившему руку в комедиях Мольера и Бомарше, с блеском разыгранных недавно при французском дворе, сейчас ничего не стоило для особых своих целей импровизировать ловкача-парикмахера.

— Я нашел своего русского, конечно, опять в Плейсенбурге, — сказал Морис с раздражением, — я довел его обратно до Рихтерскафе и совсем было убедил со мной войти, желая его вам представить, но перед самым входом он вспомнил какой-то новый приказ своего руководителя и улизнул. Он утомил меня. Это — совершенная женщина; порывист, чувствителен, поддается внушению до одержимости.

— Но при опытном руководстве перечисленные вами качества, маркиз, — незаменимый по гибкости материал...

Анджолини говорил с Морисом искательно и осторожно, как с известным своими капризами ребенком.

— При опытном руководстве... — вспыхнул тот. — Но ведь я уже вам говорил, что Шрёпфер предвосхитил наше воздействие. Я послан был слишком поздно и только напрасно завивал русские головы! Сегодня ночью этот столь нужный нам Алексис станет «неофитом» биллиардной ложи, иначе говоря — покорной вещью вредного шарлатана...

— Если, конечно, не будут приняты меры, — поправил Анджолини.

— Неужто меры приняты?

— Как можете вы сомневаться, дорогой маркиз, — тонко улыбнулся Анджолини, — ведь если вы отлично играли парикмахера, то я с успехом не меньшим играл посвященного высокой степени.

— И спасли своим ритуальным кольцом кисть хвоста носорога от усекновения, — засмеялся Морис.

— Я сделал лучше, предоставив в ложу Минервы, — заинтересованную из своих соображений биллиардным мастером, — его листки с обещанием чудесных исцелений. Я объясню вам все в немногих словах. К Шрёпферу нам сегодня ночью надо явиться порознь. Вам часа за два, с последним предупреждением, мне как инфернальному вестнику ровно в полночь.

— Первое предупреждение уже вчера сделано, — сказал Морис. — На него надо действовать подкупом. Он честолюбив и жаден к познанию тайных наук. Это все уже мной учтено. Человек невежественный, Шрёпфер, как дон Кихот рыцарскими романами, набил себе голову чернокнижием, алхимией и оккультической медициной...

— Ложа Минервы давно им заинтересована, — подчеркнул Анджолини. — Я условился Шрёпфера ей передать. Там его знания упорядочат, приберут его к рукам. Так как он обладает действительно недюжинными способностями и сам верит в свои фантазии, то ему обеспечена большая карьера. Вам, вероятно, известно, до какой степени кронпринц увлечен магией? О Шрёпфере он уже слышал.

— Одно обстоятельство нам чрезвычайно на руку, — сказал Морис. — Благодаря Шрёпферу перед русскими скомпрометировано масонство Гунда. Это даст нам возможность через некоторое время, у них на родине, подсунуть им масонство Штарка...

— Которое на самом деле явится свежим ответвлением нашего ордена в передовом облачении просветительной философии, — подхватил Анджолини. — И поверьте, маркиз, на эту умную приманку пойдут и не такие безоглядные головы, как бедный наш Алексис! А сейчас у нас есть еще время распить бутылочку мозельвейна, — вскочил Анджолини и с юношеской легкостью откупорил замшелую, темную бутылку. — Однако расскажите, дорогой маркиз, как здесь в последнее время обстоят дела с масонскими ложами? Совершенно несомненно, что в бли-

жайшее время все влияния на Россию пойдут только отсюда, из Германии. Английские ложи устарели...

— Что касается Лейпцига — здесь главная мода зубоскальство и так называемая галантность, — пренебрежительно сказал Морис. — Некий Бериш — студент барокко — задает тон. Но главная помеха каким-либо прочим влияниям — иенские студенты. Ведь Альтенбург у них под рукой, и все проделки Джонсона им отлично известны.

— Кое-какие слухи дошли и до Рима, — оживился Анджолини, — но я так был погружен в дела нашего ордена, что на дела масонские не обратил должного внимания. К тому же для нашего плана интерес к ним был еще преждевременным. Но разрешите, милый брат, наполнить еще ваш бокал. Я вижу, что русский студент израсходовал ваши силы, а ночью вам придется быть во всеоружии вашего остроумия!

Морис, не скрывая своего утомления, сидел в кресле, полузакрыв глаза. Он протянул бокал зеленого витого стекла и сказал:

— Я не прочь подкрепиться, тем более что вино прекрасно. Но я бы желал, чтобы сейчас нашему разговору и отдыху никто посторонний не помешал.

— О, сюда никто не войдет, я отдал распоряжение кроме вас никого не впускать. — И для верности Анджолини, ловко скользнув по паркету, щелкнул в двери ключом. — Говорите, дорогой маркиз, про знаменитого здешнего Джонсона.

— Под этой фамилией появился в последний год войны в городе Иене некий молодец. Дьявол знает, откуда он родом, только выдавал он себя за великого приора, посланного тайным шотландским начальством, чтобы формировать масонство немецкое. Этот ловкач сумел пустить пыль в глаза местным баронам своей болтовней про знание и могущество ордена. И чудаки поверили: они научатся делать золото, управлять незримо всем английским флотом, одной силой мысли убивать на расстоянии противника и располагать, как послушным лакеем, смертью собственной. Непостижимое легковерие, — презрительно поморщился Морис. — Вообразите, этот Джонсон отдал немецким ложам приказ съехаться всем для

предъявления ему «полномочий и грамот», и бароны, как овцы к пастуху, съехались все в Альтенбург.

— О, век глубочайших противоречий! — воскликнул Анджолини. — С одной стороны, профессор Христиан Вольф, приравнявший нас к животным, почитающий деятельность чувств низшей формой познания, с другой — университет в Галле, где этот профессор прославился на весь мыслящий мир, изгоняет его же по нажиму ханжей и пиетистов, сочинения его запрещают к печати. Наш Штольберг и за ним многие именуют носителей просвещения «убийцами души». А им в противовес эти безудержные фантазеры... Однако вернемся к делу. Что же проделали в Альтенбурге ваши депутаты от всех лож?

— Джонсон устроил им прекрасный обед и пышный прием. Затем подвыпившим баронам он с великой наглостью объявил, что все представленные ими грамоты он от лица тайных шотландских властей почитает недействительными. Чтобы не дать времени жертвам одуматься, он забивал их парадами, делал собрания ночью при свете факелов. Все это в полном рыцарском вооружении: шпоры, доспехи, мечи, — преловкий бурш! Тут ансиклопедисты все традиции и ритуалы спровадили к дьяволу, а тут чародей берет историю за хвост и тянет ее, как корову, обратно в любезные всем средние века. Уж за одно это бароны осыпали его золотом. Надо признаться, что мошенник оказался завидным психологом, — смеялся Морис. — Вместо туфелек обабившихся петиметров он из кладовой истории не только вытащил сапожищи со шпорами, но в придачу поднес им целиком весь любезный феодальный букет — таинственность, рыцарство и лестную для их спеси власть свыше, от «неизвестных начальников». Себя же он окружил железной стражей. Иенских студентов послушать — потеха! Добро бы одних баронов взял Джонсон в телохранители, а то — не угодно ли — профессоров теологии, смирных учителей, консисторских чиновников... Вы только вообразите: подагрические профессора глубокой ночью на дежурстве, с алебардой в руках, на облезлых кобылах! Это в то время, когда они привыкли храпеть, нахлобучив колпак, рядом с своей фрау профессорин...

Оба собеседника рассмеялись.

— Очень, очень неглуп этот Джонсон, — сказал Анджолини, повел ноздрями, выждал паузу и перевел шуточный тон на весьма деловой. — Вот нечто подобное, дорогой брат, разумею, конечно, не по форме, а лишь по влиянию на слабые человеческие умы, надлежит и нам привести в действие, дабы укрепить наше дело, прежде всего хотя бы в... Weissreussen.

Весь разговор велся по-французски, и только последнее слово о Белоруссии, чтобы выпуклей его подчеркнуть, граф произнес по-немецки: Weissreussen.

Анджолини положил свою руку с темным кольцом на руку Мориса, тем давая понять, что настала самая конфиденциальная часть разговора. Морис поглядел в деловые, знающие, чего хотят, глаза Анджолини не без скрываемого волнения.

— Дорогой брат, выбор пал на вас. В Россию поедете вы. — Анджолини, хотя никто слышать не мог, понизил голос, но с силой продолжал: — Сокрытый, как сейчас, от непосвященных взоров вашим званием куафера, чье ремесло вы, как говорят, прекрасно и шутя изучили, вы в Петербурге поступите в услужение к одному видному вельможе. Этот вельможа — Елагин...

— Но неужели, граф, я принужден без конца продолжать подобный маскарад? — прервал гневно Морис. Он, не скрывая своей досады, встал, лицо его пылало. Минуту оба смотрели друг другу в зрачки, как старые злые враги. Внезапно острые глаза Анджолини смягчились, и он с вкрадчивой мягкостью сказал:

— Разве вам неизвестны события, дорогой брат? Мы гонимы повсюду. Общественное мнение, сейчас всемогущее l'opinion, [1] — граф поднял кверху белый палец с темным кольцом, — воспитанное просветительными идеями, обрушивалось в первую голову на нас! Мы этим обязаны тому ядру догматиков, непримиримых тупиц, которым окружил наш орден генерал его Ричи с известным своим девизом: «Пребудь каким есть — или вовсе не будь». — Анджолини привычно перевел с французского на латынь: — Simus, ut sumus, ant non simus. Дорогой брат, подумайте, кто только не числится нашим врагом! Речь уже не о янсенистах или протестантах: правоверные

[1] Мнение *(франц.)*.

короли, французский, испанский и португальский, когда-то ученики наших коллегий, наши высокие духовные дети, яростно требуют секуляризации нашего ордена. И, конечно, новый папа, этот свободомыслящий Ганганелли, пойдет навстречу требованиям века.

— Нам остается предупредить этого умного папу и пойти еще дальше, чем он, не правда ли? — улыбнулся Морис.

— Nous y sommes,[1] — взял его за руку Анджолини, о, мы с вами столкуемся, дорогой маркиз! Умные политики ведь тем и умны, что лишь слегка опережают требования века. Мы теряем Европу, тем важнее нам завоевать Россию! И кто знает, — сказал он с ударением, — кто знает, не посчастливится ли нам именно там воскресить и расширить бессмертный наш орден и выбрать нового, достойного генерала? Итак, вы поедете в Россию, дорогой брат.

Опять помолчали. И уже тоном каждодневной деловой беседы Анджолини досказал:

— Вы поедете, дорогой брат, вскоре после отъезда русских студентов, следом за ними, в Петербург. Когда вы заслужите полное расположение Елагина, что при ваших талантах удастся вам очень легко, вы порекомендуете ему повара-француза — лакомство, до которого русские вельможи весьма жадны. Мы вышлем немедленно подходящего. Когда все привыкнут к вам обоим как к повару и к куаферу...

— То есть к чему-то входящему в свиту русского вельможи с его собаками и лакеями... — опять с раздражением начал было Морис, но Анджолини уже как начальник, имеющий власть и право, его осадил строгим тоном приказа:

— Пока для целей нашего ордена это необходимо, я надеюсь, маркиз де Муши пребудет куафером Морисом!

— Я отдал себя в распоряжение ордена, — церемонно поклонился Морис.

— Не сомневаюсь в вашей ему преданности, — столь же церемонно склонил голову Анджолини. — Итак, я продолжаю: когда вы с другим братом, нами присланным, станете в доме Елагина своими людьми, в один

---

[1] Угадали *(франц.)*.

прекрасный день вы должны будете ошарашить всех сиятельных и превосходительных тем, что представите им ваши масонские грамоты. Вы заявите, что, являясь рыцарями немалого посвящения, вы имеете все права на то, чтобы двери их ложи вам были открыты.

— Да, это будет сен-са-ция... — протянул понимающе Морис.

— И немалая. Тем более что ложа «Zu den drei Weltkugeln» [1] только запретила прием мусульман и евреев. И это в то время, когда нашим веком особливо культивируется веротерпимость! В противовес отсталым, в масонском ордене необходимо взорвать сословность. И тем лучше для нас, если первую уступку идеям просвещения сделаем мы. Тем более, что вполне необходимо обессиливать идею сословности, перед тем как нам начать созидание новой иерархии, несомненно справедливейшей, основанной не на случайности, а на выдающихся качествах ума и характера. Самое главное, что эта идея назрела и отвечает вполне требованиям века. Еще раз повторяю для памяти: умные политики тем и умны, что только слегка опережают и расширяют знакомство с самыми значительными, просвещенными личностями. С этими достойными, предпочтительно молодыми, людьми, которые сгруппируются вокруг вас, после маленькой произведенной вами сенсации вы образуете новую ложу. Для передовых умов она будет стоять вне всяких смущающих подозрений. Этой ложе в свое время мы подыщем название и дадим полномочия. А сейчас двинемся к кофейне Шрёпфера. Я по дороге изложу вам стратегический план этой ночи.

В кофейне Шрёпфера, как всегда, было много посетителей. Содержателя ее давно заменила одна дальняя родственница. Сам он отошел от дела и предался экспериментальной магии. Кроме того, что интерес к магическим опытам становился поветрием, у Шрёпфера оказались блестящие способности. Шутя удавалось ему усыплять людей, производить устрашающие или, напротив того,

[1] «Три земных шара» *(нем.)*.

восхитительные галлюцинации. Познание скрытых, еще не выраженных сил человека увлекало его.

Для опытов нужны были деньги, доходов с кофейни не хватало, и Шрёпфер стал вступать в союз с персонажами столь сомнительными, как содержатель носорога.

Масонские ложи грозили Шрёпферу, увещевали, звали его к себе. Но, невежественный и самовлюбленный, он не выносил никакого руководства. Собственные силы его опьяняли, безудержное воображение рисовало сказочные успехи, богатство и власть.

Через Минну, свою подручную, поставлявшую ему для сеансов подруг тайно от их матерей, узнал он о русских студентах и дядьке их Власии, хлопотавшем получить знаменитый «декохт» для исцеления старшего Ушакова. Кроме того, с каждым днем все более увлеченный фрейлейн Минной, Власий хотел добыть «корня молодости» и себе самому.

Приблизив умело Власия, Шрёпфер из сделанных дядькой характеристик русских барчуков понял, что наиболее падок на магические науки должен оказаться мечтательный Кутузов. С ним и свел его невзначай Власий, указав часы, когда юноша обычно бродил вдоль берегов своего любимого озера — Шванентейха. Подстроенное свидание Шрёпфер умел сделать предначертанным свыше, пересыпая речь свою загадочными цитатами из Якова Бёме. В скором времени он сумел необычайно заинтересовать Кутузова.

Вместе на закате кормили лебедей, читали книги, дразнящие своей тайной, которую Шрёпфер умело чуть приоткрывал, втягивая ученика все глубже в свое влияние. Престиж его в глазах Кутузова рос с каждым днем, вплоть до события с носорогом. Хотя Шрёпфер дал ему кое-какие объяснения, говорил о врагах, о преследовании и тайнах, но совершенно восстановить прежнее, слепое доверие — сам видел, что уже не мог. Надлежало разбить все сомнения ученика вызовом тени Романуса, что давно было обещано, или необычайно исчезнуть.

Этот второй выход предложен был на днях Шрёпферу Морисом от имени «неизвестных братьев».

Морис, чего Кутузов не подозревал, был в тайном приятельстве с Шрёпфером. Он интересовался его опытами в алхимии, почитая его одним из самых любопыт-

ных в Лейпциге и одаренных людей. Они нередко распивали совместно бутылочку, толкуя пространно, какой из древних способов комбинаций неблагородных металлов вернее прочих может создать благородное золото.

Сейчас Шрёпфер стоял в своей лаборатории в большой нерешимости и не приступал к обычной ему в это время работе.

Недавно он расшифровал у великого Раймонда Люллия, что не с солью и серой — с одной ртутью надлежит ассимилировать «великий двигатель». Страстно хотелось приступить к опытам, но не было необходимых для этого тонкого дела условий: ни собранной воли, ни отрешенного от всех иных впечатлений внимания.

Вчера так называемый «парикмахер Морис» сделал ему от имени «неизвестных братьев» нежданную пропозицию. Сегодня ночью вместо давно назначенного опыта с тенью Романуса надлежит ему, Шрёпферу, разыграть перед учениками комедию: дать себя арестовать и вывезти из Лейпцига вон. Натурально, взамен предлагается весьма почтенная сумма талеров.

Шрёпфер в растерзанном виде стоял перед большим столом с разного вида ретортами, склянками, порошками, металлами. Один чулок у него съехал по самую туфлю, обнажив смуглую крепкую волосатую ногу. Рабочий халат был весь в пятнах, проеден кислотами. Парик с головы скинут и вознесен на близстоящий скелет. Оный скелет инфернально оскаливал зубы сквозь черные локоны, нависшие на кости его былого лица.

Сам Шрёпфер, коротко стриженный, высокий, чернявый, с крутым носом, как у хищного кобчика, застылым взором больших серых глаз смотрел на множество специй, громоздившихся на столе, полках, шкафах. Он горько думал, что для затеянных в прожекте опытов ему нужно иметь вдвое больше всех этих вещей. Думал и о том, что, с другой стороны, у того же Люллия в заключение стояло: «чтобы создать золото, нужно самому обладать золотом». Но главное дело: на ингредиенты давно денег не было...

Условным стуком постучали в дверь. Шрёпфер молниеносно сорвал со скелета парик, так что бедняга, как бы огорчившись, качнулся и заскрипел. На ходу Шрёпфер, скинув рабочий халат, переоделся в атласный камзол и,

открывая дверь, встретил Мориса неторопливым поклоном, как человек, знающий себе цену.

Но вошедший, острым взглядом окинув хозяина комнаты и его реторты, увидал сразу, что к работе сегодня приступлено не было, и голосом, не допускавшим сомнений, сказал:

— Вы, Шрёпфер, забыли одно из основных правил вашей науки: сомневающийся всегда проиграет. Вы колеблетесь снова. Ну давайте еще раз обсудим все pro и contra[1] моего предложения.

И как будто владелец этой комнаты был он, а не Шрёпфер, Морис жестом пригласил его сесть рядом с собой на диван.

— Имейте в виду, — сказал Морис, — крепостной человек наших русских студентов, поклонник Минны, чрезвычайный болтун. Он за бутылочкой бургундского, которым я умеючи его подпоил, выболтал, хвастаясь, что кружевной воротник для вашей тени Романуса на досуге вышивала Минна, а многоярусный парик заказан вами коллеге моему — парикмахеру Жоржу.

Морис внезапно и пристально глянул в большие серые глаза Шрёпфера, но тот, не смущаясь нимало, сказал:

— Только для профана собранные вами сведения могут быть предосудительны. Для Агриппы Неттесгеймского, например, они означают лишь шаг навстречу неведомым силам. Он рекомендует при вызове флюидических тел воссоздавать и атрибуты, свойственные данному лицу. Не воображайте, любезный Морис, что я вами пойман, — ведь мне ничего не стоит сделать перед неофитами научную интродукцию, коей будут оправданы какие угодно предварительные приготовления! Мне же персонально, как вам давно из бесед наших известно, важно только одно: узнать, насколько ускоряется одержимость воображения ученика моей волею, ежели я сам ускоряю деятельность его воображения в желаемом мной направлении. Единственно с этой целью и было приказано Алексису фиксировать портрет Романуса, а также прихватить на сегодняшний опыт своего приятеля, не прошедшего вовсе его подготовки. Мое наблюдение отметит разность в быстроте впечатлений их чувств. Повторяю, это ничуть не обман,

---

[1] За и против (*лат.*).

это научный опыт, один из тех, которые продвигают познание наших неведомых сил.

Шрёпфер умолк с выработанным достоинством, а Морис, чуть улыбнувшись, миролюбиво сказал:

— Любезный Шрёпфер, до прихода ваших неофитов времени уже слишком мало, чтобы нам с вами еще пререкаться. Окончим скорей наше важное дело. Я не сомневаюсь нимало, что вами владеет жажда знания, как не сомневаюсь, что вы замените ваши алхимические опыты в этой убогой лаборатории опытами, поставленными в королевском дворце. С безграничным выполнением всех ваших заказов — вы достигнете успехов неслыханных. Для начала мне поручили передать вам некую часть талеров. Прочее вы получите от неизвестного замаскированного, который появится здесь ровно в полночь. Он же выведет вас вон из города и посадит в экипаж с прямым маршрутом — Берлин. Идет?

Морис выжидательно держал протянутый кошелек. Шрёпфер, нахохлившись, с головой, ушедшей в плечи, благодаря крутому носу и немигающим глазам еще сильней напоминал посаженного в клетку хищного кобчика. Его смуглое лицо потемнело, он, видимо, тяжко боролся с собой.

То манила его великолепная лаборатория, где, верил он, развернет крылья его творческий гений, то пугали слова Люллия о том, что, «делая золото, надо им уже обладать». Эти слова с яркостью молнии, внезапно прорезывавшей черную ночь, сейчас вдруг предстали ему в своем новом, иносказательном смысле, как обозначающие высокую чистоту воли. Всякая примесь своекорыстия при том особом напряжении всех сил, на которое его толкала жажда тайных познаний, — он знал уже по многим примерам — грозит нарушением равновесия, безумием и темным концом...

Морис сидел опустив глаза. Казалось, он не дышал, казалось, его вовсе не было в комнате. Рядом с Шрёпфером, как фатум, одна протянутая рука. В руке червонцы.

Грандиозная лаборатория с раскаленным горном, с ретортами, полными редкого сплава, дразнила мучительно. Умевший чаровать других, Шрёпфер, в свою очередь, был сейчас сам как очарованный. Наконец он взял

протянутый Морисом кошелек и положил его в свой карман.

— Я согласен, — сказал он беззвучно, — я уеду. Но зачем необходимо вам осрамить меня перед русским, который так мне поверил?

— Россия — не ваше поле действия, — уронил холодно Морис, — предоставьте ее другим, чьи цели совпадают с ее путями. Ваше поле действия — берлинский двор. Наследник уже вами заинтересован и вас ждет. Итак, Шрёпфер, окончательно, в последний раз решайте: проблематический успех в стране варваров без всякой поддержки с чьей-либо стороны (по крайнему вашему своеволию ведь вы не связаны ни с какой ложей) — или же постоянная материальная опора и бесспорность карьеры при дворе берлинском?

Минуту они молча смотрели друг на друга в упор понимающими глазами. Один предложение сделать посмел, другому предстояло предложение это принять.

— Если вы до конца взвесили, любезный Шрёпфер,— вымолвил наконец Морис, — то потрудитесь выдать мне... реквизит «тени Романуса».

Глаза Шрёпфера метнулись гневом, — вот-вот кобчик кинется и забьет, — но голос был без волнения:

— Хорошо, я вам выдам.

Шрёпфер постучал в дверь, скрытую под обоями. Дверь неслышно отворилась, из нее вышла Минна и, схватясь за передник двумя пальчиками, с обычной ужимкой присела.

— Что потребуется, gnädiger Herr? [1]

— Подайте сюда вашу работу, многоярусный парик и вызовите ко мне из кофейни Базиля, — приказал Шрёпфер.

— Вызывать даже не надо, герр Шрёпфер, он тут давно ждет вместе со мной для примерки...

— Для примерки тени Романуса? — не утерпел, засмеявшись, Морис.

— Надо же было прикинуть на ком-нибудь аксессуары, — невозмутимо ответил Шрёпфер. — Этот Базиль подходящего роста.

Когда Минна ушла, Морис, веселясь, продолжал:

---

[1] Сударь (*нем.*).

— Если бы знали вы, милый Шрёпфер, как Базилем-Романусом вы облегчили мне мое дело! О, за мной ничего не пропадет — услуга за услугу! Но признайтесь: ведь вы бы этого Базиля выдали за подлинник Романуса, в случае если б воображение ваших неофитов не оказалось на желаемой высоте.

— Я мог бы это сделать единственно по человеколюбию, из уважения к их неоправдавшимся надеждам, — наконец улыбнулся и Шрёпфер. — Меня лично, повторяю, в чем, надеюсь, и вы не сомневаетесь, интересовать могут не духи, а лишь научно поставленные опыты исследования влияний человеческой воли.

— Герр Шрёпфер, можно войти? — послышался за потайной дверью писк вежливой Минны.

Шрёпфер распахнул дверку, и перед Морисом предстала Минна, держа за руку Власия.

Выйдя из темного помещения в более светлое, Власий было зажмурился, потом протер глаза и признал Мориса. От презрения к неметчине он ничему здесь не удивлялся. Не любопытствуя вовсе, как попал в тайную лабораторию Морис, почитая его себе ровней, Власий заважничал немедленно и, как студенты при встречах, коротким взмахом рубанул рукой и промолвил, как думал он, по-немецки:

— Ну, гут абенд!

— Карашо, Базилú, будем делать игра, — по-русски ответил Морис. — Faisons le jeu!

— Мне, я полагаю, делать здесь больше нечего, — сказал Шрёпфер Морису. — Я пройду в кабинет привести в порядок кое-какие дела. На стук в двери я выйду...

Шрёпфер вынул из шкафа великолепный, шитый золотом кафтан и камзол и прочее, что по чину полагалось роскошному бюргермейстеру. Он приказал Минне помочь Власию облачиться в эти доспехи и, не оборачиваясь, привычной гордой походкой, откинув назад голову, вышел из лаборатории.

Власий, в кружевах и шелках, расставив ноги, боялся двинуться с места. Морис за руку усадил его перед зеркалом, натянул ему многоярусный чернокудрый парик и, раскрыв коробку гримировальных карандашей, принялся ему омолаживать лицо.

Минна плескала в восторге ручками, бегала вокруг и приседала, снимая пушинки со щегольских туфель бюргермейстера.

— О, герр Базиль совсем молодой человек! Вы сам Купидон, герр Базиль.

— И ведь, сказать, совершенную пустяковину Морис насурмил, — хорошился перед зеркалом Власий, — прочее же все осталось как было. Собственное, сказать, натуральное естество.

— Теперь, Базилй, вам надо будет высыхать!

Морис дал в руки Власию веер, который раскопал в куче хлама в одном из шкафов.

— Вы не должны двигаться с кресла, Базилй, пока я вам не скажу. Не то ваши свежие черные брови потекут по румянцу вашего нового красивого лица.

— Тоже выдумал, — новое! И всего-то минуту пострекотал кисточкой...

— Минна, — позвал Морис, отойдя к окну, — у меня к вам серьезное дело.

— Я слушаю, что скажет мне герр Морис, я слушаю.

И Минна, как послушная собачка, уставилась в зрачки Мориса, сложив руки на фартуке.

— Минна, слушайте меня крайне внимательно и постарайтесь все передать, не напутав, вашему Базилй. Скажите, что в России ему даны будут деньги, чтобы получить вольную и стать свободным человеком. Скажите, что ему даны будут деньги, чтобы вернуться обратно в Лейпциг и вместе с вами открыть здесь свою кофейню. Но все это при соблюдении следующих условий... Слушайте условия.

— О милосердный бог!

Морис для пущего вразумления Минны взял ее крепко за руку и, глядя в ее хитренькие васильковые глазки, медленно выбирая самые убедительные немецкие слова, произнес:

— Главное условие — это чтобы ваш Базилй меня слушался беспрекословно.

— О герр Морис, он будет вас слушать, как самого господа бога!

— Вы скажете Базилй, что вслед за русскими я скоро сам еду в Россию. Там я потребую, чтобы он ходил, куда я пошлю, и следил, за кем я ему укажу. Впрочем, служба

его начинается сегодня. Служба его начинается сейчас... Когда русские, которые сюда в скором времени придут, начнут его расспрашивать, кто его так нарядил, то отвечать он должен так: молодое лицо сделал мне владелец кофейни Шрёпфер. Костюм и парик дал мне владелец кофейни Шрёпфер. Вы меня поняли?

Сохраняя интонацию и внушительность тона Мориса, Минна повторила:

— Прекрасный костюм и перрюке и лицо молодого Купидо — все это дал Базилй герр Шрёпфер.

— Хорошо. В награду, повторяю, — вольная и кофейня. Идите, передайте, не путая.

Совершенно непостижимо, каким образом, не словами, а немецко-русскими интонациями и жестами, Минна принялась разъяснять Власию поручение Мориса. Однако она добралась до его сознания. Во всяком случае Власий не замедлил понять, что получит вольную, ежели будет послушен Морису, как самому господу богу. А Морис уже не простой парикмахер, а царский. Приглашен-де самой царицей к себе в придворные, о чем уж пришла из Петербурга бумага. А как будет Морис теперь всегда при дворе, то нужда ему есть и в своем человеке. Морис русского языка не разумеет, знай, лопочет по-своему. Долго ль нашептать кому на него, подвести. Словом, предложение Мориса уже было Власию самое натуральное дело... Когда же Морис подошел подтвердить посулы насчет вольной и кофейни, Власий, как был, в многоярусном парике и золотом шитом кафтане, бухнулся ему в ноги и завопил:

— Отец родной, Морисушка, да ужель это все не брехня?

Морис ласково поднял Власия, дал ему несколько талеров и сказал торжественно по-немецки, приглашая жестом Минну сделать Власию перевод языком любви.

— Вот, Базилй, первый кирпич для здания вашей свободы, воздвигнуть которое будет зависеть всецело от вас. Но только, — погрозил пальцем Морис, — это совсем нельзя будет пропивать.

И для большей понятности, скрепляя приказ жестом, Морис пощелкал пальцами по глотке. Это Власий понял уже без всякого перевода и, налагая крестное знамение на вышитый мундир бюргермейстера, сказал клятвенно:

— Лопни утроба моя, не нарушу!

Когда Морис убедился, что все главные положения договора Власием так или иначе восприняты, он еще раз подтвердил первый урок сегодняшнего дня. Говорить своим барчукам, которых сейчас здесь увидит, говорить твердо, на все времена, одно и то же: парик и костюм для неизвестных причин надел на него содержатель кофейни Шрёпфер. Он же его нарумянил и насурмил.

— Отсохни рука, разразн гром, ежели когда проврусь! Да пусть меня...

Но Морис прекратил клятвы Власия, сказав через Минну, что времени очень мало. Надо еще Власию поучиться, как на троекратный стук в тайную дверь ему с должной важностью выходить.

Морис для примера сам сделал два раза торжественный выход из комнатушки и успокоился только, когда Власий передразнил его, припустив от себя еще пущего гонору.

— Отлично, Базилѝ, — похвалил Морис, — и тс-с! Теперь не дышать, пока я не постучу трижды в дверь. Минхен, делайте ему компаний, чтобы он не заснул. Но и перрюк ему мять нельзя, понимаете?..

— О герр Морис... — застыдилась Минна, и, взяв опять Власия за руку, она скрылась с ним в комнатушке.

В скором времени раздался стук в двери, понятный одному Морису. Он кинулся и открыл. Вошел Анджолини в черной маске.

— Ну, как дела? — спросил он шепотом Мориса.

— Шрёпфер пошел на все ваши условия, — сказал Морис и прибавил громко: — Да вот он и сам.

Шрёпфер своей выработанной гордой походкой подошел к Анджолини и почтительно поклонился. В руках у него был дорожный чемодан. Как ни владел он собой, по непроизвольной судороге, дергавшей брови, можно было понять, как сильно он волновался.

— Вы пошли на все предложенные нами условия? — переспросил его Анджолини.

Шрёпфер еще раз молча поклонился.

Анджолини, не снимая маски, сказал:

— Это значит, что вы согласны на то, чтобы я вас арестовал в присутствии ваших неофитов, и вы обязуетесь беспрекословно последовать за мной?

— При исполнении, разумеется, и второй части сделанного мне предложения — возмещения с лихвой понесенных мною убытков, — сверкнул Шрёпфер дерзко глазами.

— Само собой разумеется. За последней заставой Лейпцига вы получите все ваши червонцы и коляску с лошадьми, которые отвезут вас в Берлин. Вас уже ждут там, — прибавил многозначительно Анджолини.

— У меня есть одна просьба, — сказал угрюмо Шрёпфер, — исполнить ее вам нетрудное дело, но для меня результаты немаловажны. Русские придут раньше немцев, — я бы просил, чтобы сцена моего ареста была разыграна только при русских.

— Охотно исполню вашу просьбу, — слегка качнул головой Анджолини, — тем более что мы готовы помочь вам процвести именно у немцев.

В дверь опять по-особенному постучали; Шрёпфер вспыхнул: «Это русские, это Алексис».

Он вдруг сильно побледнел и рванулся с выражением лица, какое бывает у человека, который внезапно одумался и хочет взять назад все вырванные у него обещания, чем бы это ему ни угрожало.

Но Морис тут же парализовал его опасное настроение. Он схватил Шрёпфера за руку, сжал ее до боли и с бешенством прошептал:

— Бросьте мальчишество! Перед вами двор кронпринца! Перед вами лаборатория, философский камень, перед вами Grand oeuvre! [1]

Шрёпфер сделал неимоверное усилие воли и вернул лицу спокойную, даже чуть презрительную мину. Ее почитал он наиболее подходящей для философа, который против воли подчиняется насилию. Такое выражение могло быть на лице Архимеда, когда грубый римский солдат испортил его чертежи. Стук в дверь повторился. Шрёпфер открыл дверь. Впустив Кутузова и Радищева, он тотчас наложил запор и нажал в стене какую-то невидимую пружину.

Вспыхнули многочисленные искусно скрытые светильни, и странное зрелище предстало глазам русских.

---

[1] Великое дело *(франц.)*.

Обширная низкосводчатая комната полна была причудливых теней, бросаемых рыцарскими доспехами, скелетами, черепами, чучелами заморских птиц. Даже несколько высушенных и подвешенных к потолку крокодилов скалили многозубые пасти. Среди долгоносых стеклянных реторт, напоминавших чудовищ с картин, изображавших «искушение св. Антония», стояли две черные высокие фигуры в масках и перед ними, в большой шляпе, надвинутой на самые брови, гордо замкнутый Шрёпфер.

Пылкий Кутузов к нему кинулся:

— Вам что-либо угрожает? Что это значит?

Кутузова отвел властно рукой Анджолини и театрально сказал по-французски:

— Это значит, что содержатель кофейни Шрёпфер арестуется по приказу «неизвестных братьев». Это значит, что он должен немедленно следовать за мною. Вы повинуетесь? — спросил Анджолини, обращаясь к Шрёпферу.

— Да, я повинуюсь, — ответствовал твердо, не подымая глаз, Шрёпфер, и, уже не глянув на вошедших русских, Шрёпфер двинулся вслед за Анджолини. Пропустив его вперед, на самом пороге Анджолини обернулся и, вытянув руку по направлению Кутузова и Радищева, приказал Морису:

— А вы, дорогой брат, потрудитесь открыть глаза этим юношам, вовлеченным в обман.

Едва дверь за Шрёпфером и Анджолини захлопнулась, парикмахер снял с себя маску. У Радищева и Кутузова вырвалось единодушное — «Морис!»

— Да... Морис — таково было имя, которое надлежало носить мне всю эту зиму нашего с вами знакомства. Прошу и впредь, до особых обстоятельств, так меня именовать, — поклонился церемонно Морис. И, не давая друзьям опомниться, продолжал: — А сейчас разрешите, дорогой Алексис, дать вам окончательное, вещественное доказательство справедливости всех обвинений, возводимых мною на вашего учителя Шрёпфера. Тень бюргермейстера Романуса и в его отсутствие послушно предстанет перед вами.

Морис стукнул трижды в потайную дверь кольцом и нажал пружину. Светильни все, кроме большой, скры-

той в потолке, погасли. Дверь тихонько распахнулась, и в таинственном полумраке, памятуя о важности движений, медлительно вышел под своды Власий-Романус.

Кутузов невольно попятился, недоумевая, — столь сходственной была в полумраке эта тень с портретом, им изучаемым. Однако сам «бюргермейстер» важного фасона внезапно не выдержал. От пыльного щекотания в носу он прегромко и многократно чихнул.

Тотчас Морис пустил гореть все светильники и со смехом скомандовал:

— Базили́, снимайте ваш перрюк!

Тень тотчас скинула многоярусный парик, и перед друзьями предстал хорошо им знакомый дядька Ушаковых.

— Середович! — захохотал первый Радищев. — Ну с каких это, братец, пор ты ходишь в тенях?

— А вот и Минхен, — вывел за ручку из темной комнаты Морис. — Рекомендую, — великая рукодельница. Воротник тени — ее вышивка.

— Морис, — воскликнул вне себя Кутузов, — во имя справедливости вы обязаны назвать себя! Вы обязаны назвать того, кто арестовал Шрёпфера.

— О, это все тот же человек в черном кафтане, которого вы искали со дня носорогова чуда, дорогой Алексис. Что же касается меня, я вам себя назову лишь при следующей нашей встрече. Я вам обещаю, что эта встреча будет весьма скоро. Она будет на вашей родине. А пока прошу вас запомнить одно только: я тот друг, который готов остеречь вас всегда от ложных увлечений... Теперь, мои дорогие, нам здесь делать больше нечего. Выйдемте отсюда. И прошу вас обоих, — Морис слегка поклонился Радищеву и Кутузову, — прошу не бранить злосчастную «тень бюргермейстера». Ведь не кто иной, как я сам, желая основательней вас разубедить, любезный Алексис, порекомендовал через Минну в подручные Шрёпферу нашего милого Базили́.

Власий, считая, что наступила минута, когда ему надлежит выполнить урок сегодняшнего дня, завопил:

— Лопни глаза мои, ежели этот ферфлухтер немец не улещал меня на коленях подновить себе морду и напялить парик!

## *Глава четвертая*

Миша Ушаков сверх обыкновения спозаранку ушел в коллегию. Дома был один Власий. Он выставлял проветриться во дворе общежития барчуковы сундуки — пора было готовиться к отъезду. Неожиданно, украдкой, подошла к Власию фрейлейн Лизхен, пассия Мишеньки.

Лизхен была в кружевной мантильке, накинутой на голову и скрывавшей черты, так что Власий вовсе ее не узнал, принял за Минну и улыбнулся с приятностью.

— Герр Базиль, у меня к вам важное дело, — прошептала Лизхен и метнула из-под мантильки глазками.

— Тьфу ты, и как это я обознался! — проворчал Власий. — Да к чему ты, канашка, врешь? Дело твое нимало не ко мне... а герр Мишенька — фью! Улетела птичка.

Власий потрепыхал локтями, как крыльями, и ткнул перстом в пустое окно общежития. Лизхен поняла, засмеялась, но тотчас настойчиво повторила:

— К вам, герр Базиль, к вам одному дело.

— В таком разе мне с фрейлейн на дворе не гоже, — пожалуйте в апартамент.

Власий провел Лизхен по лестнице и открыл дверь в свою чистую светелку. Победоносно глянул на вышитую скатерть, немедленный подарок Минны после «вызова тени», и сказал пригласительно, широко разведя правой рукой, как бывало на пахоте, когда бросал в землю семя:

— Битте вам, присаживайтесь.

— О, какой восторг! — похвалила, оглядывая комнату, Лизхен. — Вы бравый мужчина, герр Базиль, и — ах! — как мне вас жалко.

Лизхен вынула платочек, но привычные слезки вдруг не послушались, и она только помахала сама на себя кружевцом.

— Ваша любимая Минна, герр Базиль...

Власий насторожился, — «ихние бабьи подвохи», — промелькнуло в уме, — и с достоинством сказал:

— Фрейлейн Минна есть скромная девушка.

— Она сквозная голова, — вскричала Лизхен, — она мне хвастала, что вы будете на ней жениться и будто пришла бумага с печатями от самой царицы, чтобы вам стать при дворе камердинером. И будто она, Минна, будет жить в Петербурге, а захочет — так и в собственном

доме здесь, в Лейпциге! Что? Вы будете ей в Лейпциге покупать дом?

— Что же, при фортуне... очень обыкновенно. Кому какая фортуна, — самодовольно сказал Власий.

— Это Минне фортуна? Минне? — пискнула гневно Лизхен, и маленький носик ее покраснел. Она забегала по комнате, стрекоча что-то позорное по адресу подруги.

Особо важные обвинения Лизхен выделяла отчетливо и повторно, сопровождая иллюстрировавшим поступок жестом. Так, посвящая Власия в темное прошлое Минны, — отец неизвестен, а мать «eine Dirne» — гулящая женщина, которая целовала всякого, — Лизхен чуть не задушила в своих объятиях Власия.

— Ну, эти французские штучки, Лизавета, ты брось... — остановил строго Власий, — говори одно дело.

Дело же, — с грехом пополам понял Власий, — заключалось лишь в том, что, позавидовав Миннину счастью, подруге пришло в голову его погубить.

В доказательство своих показаний насчет прошлого Минниной матушки Лизхен обещала выкрасть из сундука Минны особый билет с обозначением ее профессии и запрещением носить шелк и золото и в церкви стоять рядом с женами почтенных людей. Когда Лизхен с Минной еще дружила, та показывала ей сама этот билет и страшно ругала законы и самого господина бюргермейстера, их представителя.

— И все, что есть у Минны золотых вещей, — а у нее их ай, ай, ай! — с завистливым блеском в глазах перечислила Лизхен по пальцам, а когда не хватило пальцев, простым устным счетом, предметы давних своих вожделений — браслеты, аграфы, парюры недавней подруги, — герр Базиль, все это хоть дорогое, но для человека честного, какой вы есть, приданым считаться не может. Ведь мать Минны нагуляла все это в публичном доме, ведь она была eine Dirne!

— Великое дело — прошлое, — ответствовал Власий. — Уж и то добро, что эта мать хоть публичная, да рачительная!

Внутренно Власий радовался, что у Минны оказалось столько ему неизвестных богатств, — на гостинцы можно и не тратиться. И, вставая в знак оконченной аудиенции, он нравоучительно сказал Лизхен:

— Как на деньгах, равно и на мануфактурном товаре никакого сраму быть не может.

— Однако ее в нашем городе никто замуж не брал как раз из-за этой причины, — презрительно фыркнула Лизхен.

Власий развел руками:

— На вкус и цвет товарища нет — кому арбуз, кому свиной хрящик.

Пословицы Лизхен не поняла, но почувствовала, что Власий не только на Минну не сердится, а, напротив того, ей сплетня Лизхен как-то оказалась в профит. Она рассердилась сама на себя и уже с непритворными слезами сказала:

— За что же, герр Базиль, про меня вы так худо Мишеньке говорите, а этой Минне у вас почет? Ведь она по самому рождению уже хуже меня! Мой папахен — почтенный бюргер, он имел должность...

Но Власий осуждающим жестом прервал:

— Человека, милочка, родят не спросивши. Вот я, примерно, крепостного звания ни у кого не просил. Человек, милочка, только за персональное свое поведение отвечает.

Власий легонько щипнул круглолицую Лизхен и добавил галантно:

— Вот за французские за свои штучки ответишь! А засим благодарим, визитация окончена и гутен вам таг!

Власий открыл дверь, сердитая Лизхен, шурша юбками, выбежала вон из светелки.

Однако оброненная ядовитая сплетня свое действие над Власием возымела: деньги и вещи, — оно, конечно, — срамом не пахнут, но и то надо в память принять: от яблоньки яблоко падает недалече. Когда еще Морисова сказка о воле обернется былью, когда еще деньги свалятся купить здесь кофейню, а отъезд с барчуками домой на носу. Хорошо б Минну придержать чем-либо устрашительным в благолепии заглазного поведения. Девка молодая...

И, вспомнив, куда собирался наутро идти, любя волнительные зрелища, Середович решил для назидания обязательно прихватить с собой Минну.

А собирался он посмотреть казнь девушек-детоубийц.

Когда рано утром Власий и Минна подходили к лобному месту в Рабенштейне, Власий был очень доволен, что тут все без обмана, совсем как напечатано было на картинке, прибитой к городскому столбу.

Из больших камней полукругом сложен высокий помост, чтобы народу хорошо было видно. На помосте, сверкая обоюдоострым мечом, стоял палач в хорошем кафтане и ждал не шелохнувшись, как статуя. Преступниц еще не привозили.

Народу, несмотря на ранний час, было множество; усыпали холм, камни, редкие большие деревья. Казалось, на пустыре этом опять большое гулянье, как было недавно после присяги курфюрсту. Женщины все нарядны и возбуждены. Чтобы получить хорошее место, они забрались сюда до рассвета. Сейчас стрекотали, закусывая, а мужчины спорили громко о палаче, — вроде об заклад бились, — хорош ли будет у него удар. Вспоминали, как в прошлую казнь молодой мастер, привезенный из Иены, по неопытности два раза рубанул по шее некую Эльзу, и то не убил. По самый локоть рассадил ей соскользнувшим мечом руку и прикончил преступницу уже не на плахе, а на досках помоста.

Вдруг все вскочили, толпа завыла, махая платками и шапками. Показалась телега с детоубийцами. Минне и Власию хорошо рассмотреть их проезд не пришлось, потому что пришли они поздно, а за спинами горожан стало видно, только когда девушки начали подыматься вверх на помост.

Девушки медленно шли по ступенькам, нарядные, в новых платьях с пышными юбками и в белых косыночках. Этот праздничный костюм был милостью, которую власть оказала преступницам, снисходя к просьбам их родных. У девушек на руках, — для позора и в память того, что именно этими тонкими, слабыми руками они совершили свое злодеяние, — звенели тяжелые цепи. Для равновесия девушки выставили пред собою эти руки в цепях, подымаясь с трудом по высоким ступенькам.

При взгляде на их покрасневшие лица, на глаза, опущенные вниз, на эти выставленные вперед руки, издали можно было подумать, что две нарядные кельнерши в праздничных платьях несут яства на тяжелых подносах каким-то важным гостям.

Минна, не отрывая глаз, глядела на их голые шеи. У одной девушки, Иоганны, шея была белая, пухлая, с еще детской складкой; у другой, Регины, — худенькая, с бьющейся голубой жилкой.

Какой-то человек в черном кафтане стал читать уже всем известное преступление девушек, потом к ним подошел с распятием пастор.

Девушки одна за другой приложились к кресту и вдруг разом как подкошенные упали на колени и, уронив руки по швам, далеко вперед послушно вытянули головы.

— Они озабочены, чтобы белые их косынки остались незапятнанными! — сказали соседки. — Они очень прилично хотят умереть... aber ganz anständig. [1]

У женщин Лейпцига было поверье, что, если тело погребено с покаянным стишком в зубах и в чистой белой косыночке, душе будет легче пройти все тяжкие мытарства.

Пока седая старуха разъясняла любопытствующим молодым эти загробные тонкости, палач не спеша стал снимать свой кафтан, чтобы правой рукой было сподручней рубить.

Толпа же, не владея собой, ринулась с воем к помосту. Ринулась и затихла. Потом дважды, одной огромной общей грудью, все разом ахнули, когда палач, сверкнув на солнце высоко вознесенным блестящим мечом, тяжко его уронил, свершая казнь «отделения головы от тела».

Первый удар палача был по беленькой пухлой шейке Иоганны, второй обрушился на тонкую шею Регины, с голубой жилкой, бившейся, как подкожный фонтан. Палач высоко над головой поднял одно за другим легкие девичьи тела и возложил их для более длительного позора и публичного назидания на колесо.

Отрубленные головы девушек были поставлены на спины туловищ. Палач разъял лезвием меча судорожно стиснутые зубы и вложил каждой покаянный назидательный, напечатанный в лейпцигской типографии, стих. Он начинался так: «Mensch, was du thust, so bedenke das Ende!» [2]

---

[1] Вполне прилично *(нем.)*.

[2] Человек, что бы ты ни делал, помни о конце! *(нем.)*.

Стих был прочитан пастором громогласно всей площади.

Вдруг женщины с испугом зашептались:

— Палач перепутал головы!

— Голова Иоганны на спине у Регины...

— А не все ль им равно, — отозвался мужчина, — чья у кого голова? Ведь уже больше в ратхаус танцевать не пойдут.

— О милосердный бог, они больше танцевать не пойдут! — И только сейчас поняв, что произошло, Минна залилась слезами.

— Необходимо переставить девушкам головы! — кричали в ужасе женщины, глядя, как под пухлой шейкой Иоганны большим красным подносом сгущается кровь, а под головкой свисают чужие, длинные руки тонкого туловища Регины. Между тем коротенькое пышное тело Иоганны, с раскинутыми ручками в ямочках на локтях, служило пьедесталом голове смуглой подруги.

— Ох, надо переменить им головы... Как предстанут они с чужой головой на страшном суде?

И Минна не хотела уходить с пустыря, пока не уверилась, что палачу известна ошибка и что остались добровольные контролеры, которые при положении казненных в гроб присмотрят за тем, чтобы тела их положены были с собственными головами.

Что касается Власия, — в конце концов он был недоволен. Все вышло молча, скоропалительно, словно орудовано было не над людьми, а над восковыми фигурами. И главное — девки казненные ничуть не повыли...

— Вот ежели б так наших русских... — сказал он Минне, когда отошли, — при всем при честном народе,— да впору бы уши заткнуть и куда глаза глядят... А эти твои и не визганули.

— Но так гораздо приличней, Базиль! — воскликнула заплаканная Минна. — Они совершенно прилично умерли — aber durchaus anständig, и родным ихним не стыдно, и герр пастор их будет хвалить.

— А на черта им резаного пастòрова похвала? Слыхала... танцевать не пойдут. Лучше попричитали б честь-честью, народ бы их пожалел. Причитать бабам надо, а они ровно куклы. Ну, пойдем, што ль, кофию попить...

Власий не окончил и шарахнулся в толпу. Он наткнулся лицом к лицу на Радищева — барина. Но тот его не видал. Стоял высокий, помертвелый, не иначе сам зарубленный. Ни кровинушки в лице, а глаза темные и немигучие.

«Может, припадок с ним будет, — опасливо подумал Власий, — водичкой бы прыснуть...»

Но Радищев сорвался вдруг с места и стремительно зашагал в лес.

— Ах, герр Базиль, почему девушкам подобная казнь, почему? — плакала Минна. — Вот им отняли головы один раз и навсегда, а тот мужчина, который их соблазнял, тот мужчина сейчас, может быть, выпивает пиво и думает, как лучше соблазнить ему новую девушку! Ах, отчего так несправедливы люди, герр Базиль?

— Чего людей в такое путать? Сам, значит, бог девок обидел. — Власий был раздражен тем, что многообещающее зрелище его не взбудоражило. — С мужиком разве можно девку равнять? Где мужику встать да встряхнуться — там девке рожать! И вот вы, фрейлейн Минна, смотрите мне, — Власий погрозил выразительно пальцем, — соблюдите себя! Затем вас на такое дело и приводил. Значит, для примеру.

Потрясение чувств Радищева было велико. Кроме ужаса и пронзающей сердце жалости, позорное зрелище, коего он был только что свидетелем, давало как бы высшую санкцию и священные права последней работе Ушакова — его размышлению «о смертной казни».

Радищев все ускорял шаги, чтобы уйти от ужасного воспоминания — о двух девичьих легких телах, вознесенных высоко на колесе, с беспомощно раскинутыми руками.

О, сколь прав был Федор Васильевич, задавая свой главный вопрос: «на чем основано право наказания? кому оно принадлежит? и нужна ли, точно, сама смертная казнь?!»

Со всем пылом присущего ему благородства Ушаков доказывал, что, помимо исправления преступника, никаких иных целей у правосудия истинного и быть не может.

А посему следовало его категорическое: «смертной казни быть не должно».

Образное доказательство Руссо полного бессмыслия отнятия жизни само собой встало вдруг перед Радищевым. Встало не в мыслях, а всем существом кровно им почувствовалось, едва он представил себе государство цельной персоной, а граждан — членами сей персоны. И сколь плачевно-бессмысленный получился немедленно вывод!

Ежели человеку, например, переломили ногу, то он, исходя из данного понятия, будет принужден уже нарочито раздробить и другую. Кому? Сам себе!

Ежели цель у государства одна,— шагал опять по проселку Радищев, — ежели цель эта — благосостояние собственное, то и наказание всякому преступившему должно заключаться лишь в том, дабы воспрепятствовать кому-либо здоровью общественному повредить. Но препятствовать вреду, не налагая притом ослабления ни на физические, ни на моральные силы злодея. Нет такого человека, который не оказался бы где-либо на своем месте и к чему-либо для всех пригодным. Надлежит только приобрести способ всестороннего исследования преступника, надлежит найти безошибочное применение его сил. И, не ровен час, вчерашний убийца — сегодня спаситель человечества, знаменитый хирург. Вот оно, вот единственное разрешение вопроса об исправлении преступного.

О, сколь трудна будет подобная работа у себя на родине... — внезапно перебились общие рассуждения Радищева такой близкой, своей, домашней болью. Он уже знал, что императрица, воспитавшая себя на Беккариа и Монтескье, их мысли включившая в свой знаменитый «Наказ», была щедра только для дворянства, ибо на него опиралась, а народ пуще прежнего замучен черной работой. Но если б даже царица оказалась верной опорой молодым просветителям, то дворяне допустят ли насаждать? Нет, вовек не захотят согласить волю свою с волей народа, который у них в столь им прибыльном позорнейшем рабстве находится. И, следовательно...

Радищев встал, отряхнулся, подошел к роднику, неподалеку бившему в камне, освежил пылавшее лицо и, овладев собой, но еще не желая встречаться ни с кем, зашагал по направлению к крепости Плейсенбург.

Привычка, по мнению Гельвеция, — вторая природа, если не первая. И если государство поставить на должную высоту, то сам собой подымется в нем и человек как достойный его гражданин. Ergo...[1] — вторично подошел Радищев в своих мыслях к последнему волнующему выводу, — чтобы человек правильно мыслил и справедливо поступал, надо в такой же мере, — если не в большей, чем его перевоспитание личное, — приняться за переустройство всего государства.

Крепостные стены с башнями и зелеными валами предстали перед Радищевым. В былое время сюда сажали важных преступников, здесь Лютер сражался с Экком, здесь недавно останавливался в придворных залах курфюрст для принятия присяги. В верхнем помещении была сейчас устроена постоянная академия живописи. Первым директором ее был знаменитый художник Эзер. При государственной академии он открыл и собственные частные курсы живописи.

Гёте охотно ходил рисовать к Эзеру. Об этом говорили в университете, потому что с некоторых пор Гёте стал предметом всеобщего внимания. Он высмеял в иронических стихах ходульную музу профессора Клодиуса. Его стихи, углем написанные на белой стене кондитерской известного в городе Генделя в прославление его вкусного производства, — тем же размером и с той же напыщенной образностью, с какой Клодиус трактовал свои сюжеты, — были у всех на устах.

Радищев подумал, что если Гёте будет в мастерской и будет один, то он к нему подойдет и непременно познакомится ближе. Необыкновенная внешность юноши, таланты его и какое-то особое, гордое право на жизнь и ее радости Радищева и привлекали и мучили непонятно. Необходимо было узнать, в чем же сила этого молодого? Где ее источник, каковы устремления в будущее?

Академия художеств была первым подарком, который недавно заключенный мир поднес городу Лейпцигу. В старинном замке по винтообразной лестнице Радищев поднялся в залы, полные простора и света. Стены были покрыты картинами и переносили из германского торгового города в чудесную страну итальянских мастеров.

---

[1] Значит *(лат.)*.

Было еще слишком рано. До начала обычных занятий только немногие из самых ретивых сидели за мольбертами. Рядом в кабинете коллекций минералов и редких книг по искусству, куда заглянул Радищев, целой группе молодых старший ученик и помощник Эзера так объяснял творчество учителя:

— Композиции Эзера основаны не на рисунке, а на светотени. Это повод врагам находить у купидонов его картин сбитые контуры и фигуры богинь громоздкими. Но что бесспорно, как прелестная улыбка на некрасивом лице, что отрадно поражает в его композициях — это всегда нежданная, полная жизни выходка, порой прямо юмористическая, разбивающая чопорность. От этой чопорности, деспотически введенной Готшедом, нам давно, друзья мои, стало тошно, а потому...

Радищев не дослушал. Среди слушателей-учеников прекрасной головы Антиноя не было. Радищев прошел в нижнюю залу. Действительно, Гёте оказался там. Но, к досаде Радищева, не один. Рядом с ним торчал длинной тенью неизбежный «серый дьявол».

Оба стояли перед громадным занавесом, который Эзер только что окончил для нового городского театра. Радищев с интересом глянул на занавес и подумал, что характеристика этого мастера, только что им услышанная, дана не без остроумия верно.

Занавес изображал храм Славы. Между двумя группами муз, застывших в своей важности на первом плане, стояли статуи Софокла и Аристофана. Вокруг них толпились вполне современные драматурги в модных костюмах. Взоры древних мужей и современных авторов обращены были на сверкающие вдали колонны храма Славы. И вдруг, среди всеобщей торжественной окаменелости, на свободном просторе картины, в развевающейся, вполне домашней куртке, дерзкая чья-то фигура! Человек в куртке, независимый от муз и мужей, не озираясь назад, шел, как идут в собственный дом, прямехонько к храму Славы, на который вся знаменитая братия лишь робко взирала с умиленным вожделением.

Бериш, указывая на этого дерзкого своей тростью, искривившись, как дьявол, захохотал:

— Еще щелчок по носу герра Клодиуса et compagnie! Вообразите, — это сам Шекспир. И от него видны всем

одни пятки. По замыслу Эзера, только он, без предшественников, без преемников, не удостаивая всех этих «высокопочтенных» даже взглядом, как пуля, один прет в бессмертье. Можно вообразить, как эта поучительная аллегория за живое задела всех дураков! Молодец Эзер!..

Солнце чудесно дополняло художника. Оно ударяло всей своей силой в колоннаду храма Славы, золотя бесконечность его перспективы. Гёте, чтобы лучше видеть, встал на лесенку и собственной головой попал в яркий луч.

— Стойте так! — театрально выкрикнул Бериш. — Вы так прекрасны на этом месте. От имени самого Шекспира провозглашаю: — Вот он, преемник!

— Бериш, — сказал задумчиво Гёте, — я вчера прочел в одной книге, которую дал мне гехеймрат Бёма для ознакомления с искусством Индии, что у них аллегорически изображались с особым вдохновением две идеи: совершенство своей личности и жертва этой личности для совершенства других. Я же думаю, что в идее первой уже заключена и вторая идея, а потому...

— А потому обожайте себя самого на здоровье, мой друг. Меня же нимало не забавляет ни совершенство персональное, ни всеобщее. Самому в тысячу лет не достичь, а утирать нос каждому Гансу и Грете — слуга покорный. Давайте-ка лучше заключим союз: вы будете производить совершенные вещи, а я буду совершенных вещей толкователь. И, как мудрецы, скоротаем наш век.

Оба засмеялись и под руку пошли в верхний зал, не обращая никакого внимания на Радищева.

Наступило время, когда истощение сил Ушакова дошло до своего последнего предела. Никакое отвлечение воли, ни твердость мысли уже не помогали. Оставалось одно — глядеть в глаза смерти и сознавать свое угасание.

Прогулка с друзьями к любимому ручейку была последней вспышкой сил. Так костер, уже догорающий, может под внезапным порывом ветра еще однажды вспыхнуть на миг, чтобы тем быстрее угаснуть совсем.

За три дня до смерти, уже никакими лечебными средствами не заглушаемое, Федор Васильевич ощутил конечное разрушение всего своего тела. И тут он проявил

полное присутствие духа, упрашивая врача сказать в точности, возможно ли ему облегчение и долго ль остается жить.

Подробности болезни, поучений и мужественной смерти Федора Васильевича Ушакова достойны внимания особого уже потому, что, по свидетельству Радищева, именно личность этого друга в те юные годы легла в его сознание как пламенный «закваc». И был ему Федор Васильевич — «вождь юности».

Некий врач, уважая Федора, как все его уважали, скорбно понурясь, объявил ему правду: жить осталось не более суток.

Ушаков призвал друзей и, слегка удивляясь, ибо был в полной ясности мыслей, сказал:

— Завтра жизни не буду причастен... завтра? Что же, умереть всем должно, днем ранее или днем позднее — какая соразмерность с вечностью...

Но тотчас, не желая на этой печали останавливаться, благодарил врача, считая подобную откровенность доказательством дружбы.

Вокруг Ушакова собралась вся русская колония. Каждый его обнял. Все рыдали.

— Ну, простите навеки! — сказал Федор. — Теперь уйдите и оставьте меня одного.

Они уходили, оборачиваясь невольно. Он же смотрел каждому вслед, ловя особо взгляд каждого своим умным и знающим взглядом, нестерпимой делая мысль, что такое благородное сознание уже завтра канет в полное небытие.

Овладев вполне собой, Ушаков вызвал одного Радищева и, через силу шевеля языком, выговорил:

— Мы столь с тобой много говорили, и столь одинаковое было нам важно. Прими, друг, бумаги мои, разбери, сделай, что хочешь. У меня сил хватило только начать... Подойди ближе, дай руку. — И совсем тихо, последним шелестом: — Еще помни, что тебя я любил. Помни, что в этой жизни нужно иметь правила, чтобы быть счастливым. Помни и последнее: нужна твердость мыслей, чтобы не только жить, но и... умереть бестрепетно.

Радищев вышел уже не озираясь и почти бегом прошел далеко в Розенталь. Проник прямо в те еще дикие,

не разработанные садовником места, где, бывало, в первые годы, когда Ушаков еще был силен, они бродили часами. Слова умирающего, знал он, навеки вошли в его память. Больше того: вошел сам он. Весь духовный облик друга, с пламенем чувств, с неутолимой жаждой познания и твердостью воли, слился с сознанием его и — знал он — до гроба внедрился в сердце.

Переполненный горем, но в то же время дивно укрепляемый этой новой, прибавленной к нему силой, Радищев пришел к Шванентейху — тихому пруду с белыми лебедями. На мягких зеленых холмах здесь все лето цвели колокольчики и белели звезды ромашек. Плакучие ивы купали в воде серебристые косы, исторгая у многих студентов тайный чувствительный стишок. Когда садилось солнце, особая невинность и первобытная свежесть охватывали неизменно этот мирный немецкий ландшафт.

Уже сильно больной, редко сюда добредавший Федор Ушаков, бывало, говорил: «Тут я снова юн и невинен, как на коленях у матушки. Когда помру, поклонись, братец, от меня старой иве! Без чувствительности живут одни бревна».

У этой земли, ласковой и прекрасной, искал прибежища Радищев, когда, рыдая о безвременно погибшем друге, упал под седую иву. Но едва склонился на траву, он сам как бы провалился в небытие, охваченный вдруг мертвым сном.

Радищев проснулся от холода. Солнце давно уже село. Туман стоял над озером. Черными сделались ивы. Сотни рук они спустили плетьми в воду, как бы ловя там кого-то. За холмами в ближнем лесу уже кричали совы, как злые дети.

Радищев вскочил. Сразу все вспомнил и пришел в ужас. Зачем же он здесь, когда Ушаков, быть может, еще не умер? Последние часы, самые последние минуты... Может быть, можно еще раз увидеть живого, если поспешить.

Радищев кинулся краткой дорогой к общежитию. У лестницы внизу стоял Мишенька весь в слезах.

— Ум...мер, — заикнулся он и, не вполне еще понимая совершившееся, обиженно, по-детски прибавил: — Всех Феденька выслал — один Кутузов притаился и остался. Он ведь не брат родной, как я? А вышло — он-то

и видел последнее вздымание груди, он один принял последний вздох!

Спустился сверху Кутузов, взял Радищева под руку, отвел в их общую комнату и тихо сказал:

— К Федору сейчас идти нельзя, его убирают.

— Какова была сама смерть?

— Страдания его под конец были ужасны. Знаки антонова огня, объявшего все внутренности, выступили наружу черными пятнами. Он просил меня дать ему яду.

— И, конечно, ты не дал? — докончил горько Радищев. — О, почему я позорно проспал! Друг хотел прекращения ужасного и бесполезного терзания. Я бы не струсил попов, я бы взял на себя. Ведь он в полном сознании тебя убеждал?

— Он был в полном сознании, когда своей рукой хотел положить предел мукам, — сказал бледный, как призрак, Кутузов, — но, поверь, не малодушие остановило меня ему всыпать яд! Нет, но я полагал, что это минута слабости духа лишь от страдания тела. Ведь я помнил слова, им же изреченные в его сильнейшем подъеме сил: «Друзья, берегите жизнь». И я мнил воздать другу большее уважение, памятуя именно эти слова, если откажусь самовольно разрушить его тело — «храм духа и мысли нашей». Я мнил...

Кутузов вдруг качнулся и без чувств упал на руки Радищева.

После смерти Ушакова столь горькая тоска охватила друзей, что только работой удавалось им заглушить эту тоску. Даже Кутузов, пораженный обманом Шрёпфера, внутренно опустошенный, без почвы под ногами, до сих пор все время убивавший на тщетные розыски как в воду канувшего парикмахера Мориса, с головой ушел в отчетные испытания.

В свободное время новое, тяжелое беспокойство стало терзать Радищева: положение дел на родине. Русские студенты, они окончили курс наук и возвращались домой в конце осени.

Радищев жадно собирал сведения о царице. До последнего времени русскую колонию посещали проезжавшие в Архипелаг воины и вельможи, упоенные славой русского оружия и неслыханной удачей морских битв. Юноши слышали от них одни восторженные отзывы

о том громадном значении, которое доставила России в общеевропейских делах Екатерина.

В июле, незадолго до срока отъезда студентов, торжественно праздновала колония необычную удачу графа Румянцева — победу при Кагуле. Все были согласны, что ежели граф был бы разбит неприятелем, состоящим из двухсоттысячной армии, то Порта, с крымскими, буджатскими и прочими ордами, отворила бы свободный ход в Россию и, сообщаясь с врагами ее — Польшей и шведами, положила бы надолго конец ее величию. И не удивительно было, что витии славословили спасение России от бедствий, равняя победу Кагульскую с победой Полтавской, одержанной Петром. И хвалилась сама матушка: «Я так своих расщекотала в их морском деле, что, гляди, все моря заберут...»

Гордились юноши немало и тем, что знаменитый «Наказ», составленный царицей по Монтескье и Беккариа, оказался даже для самой Франции столь вольнодумным, что был строго в ней запрещен.

Но, увы, слова, усвоенные царицей: народы созданы не нами, мы, напротив того, существуем для них, — лишь в начале пребывания за границей необычайно питали надежды мечтателей. Просветительные, дескать, начинания будут насаждаться при содействии самого трона, — детские мечты, они сейчас, перед отъездом на родину, уже предстали как злая издевка.

Первое разочарование случилось в 68-м году, когда все столь безмерно прославляли императрицу за смелость и самоотвержение прививки оспы себе и наследнику. Этой прививки всё еще опасались, предпочтя гибнуть, не препятствуя воле божией. От иностранцев наши студенты узнали, что в том же 68-м году издан был Екатериной указ, который запрещал крестьянам жаловаться на жестокость своих помещиков. И больше того: приказано было возвращать жалобщика к тому, на кого жалуется, для домашней расправы.

Подмастерье Шихте сообщил вести еще более потрясающие, из которых все крепчало познание: «наказ» — наказом, а справедливости не было вовсе.

Некая помещица Салтыкова заистязала до смерти около двухсот человек крепостных, между ними двенадцатилетнюю девочку. За это в конце концов была

судима, но, как дворянка, без применения телесного наказания, между тем как лакеи ее, которые единственно по приказу барыни истязали бедных жертв, нещадно на площади были биты кнутом.

Еще источником, из которого друзья узнавали понемногу истинное положение дел на родине за последнее время пребывания их за границей, был некий блестящий богатый гвардеец, который получил длительный отпуск для лечения. На самом деле, поговаривали, уехал он от конфуза, не выдержав во дворце испытаний по части амурной. Поговаривали, что оный гвардеец мечтал было попасть в фавор, но чем-то не потрафил и озлобился.

И ежели за счет злословия и вранья отбавить хоть половину его россказней, то и оставшейся было довольно, дабы смутить юношей, чаявших на самом троне найти поддержку своим справедливым прожектам.

Поняли они крепко одно: на родине ждет их полное несоответствие между законами и правами граждан. Комиссия уложений — не великая гордость, а тщеславная забава; сказать прямо — «кабинэ де лектюр».

— Когда «Наказ» читали вслух, — болтал оный гвардеец, — то плакали все от умиления, а возможней всего оттого, что сама царица сидела в ложе и слеза могла обернуться наградой. А в общем черт знает, какая неразбериха в оной комиссии: никто не ведает, как должно работать, то и дело теряют планы... Когда рассматривали торговые дела, Лев Нарышкин взял слово, и подумать, что именно стал читать? Нечто о гигиене. Иной член комиссии предлагал универсальную им изобретенную панацею против отмораживания ног! В таком роде тянулось дело в Москве, потом с грехом пополам перешло в Петербург. Матушка устала, соскучилась. К тому же пеночки все уже с этой затеи она посняла, ну а тут кстати турецкая кампания... Бибиков, председатель комиссии, объявил, что «война призывает в ряды свои большинство депутатов, и комиссия сия закрывается». Злые языки говорят, — мне персонально до сего мало делов — продаю, за что купил, — злословил гвардеец, — что она, комиссия, не создала ни единого закона. Но Фридрих прусский царицу хвалил, берлинская академия ее сделала своим членом, в Париже пресловутый «На-

каз» запрещен к опубликованию, — сие войдет в историю, — пытался он тонко, как дипломат, улыбаться. — А разве не курьезна перемена придворного фронта касательно Фридриха? Слыхали? То со слов матушки его величали не иначе как смутьян — perturbateur du repos publique,[1] то вдруг разительная перемена. Ну, при дворе все секреты разнюхают. Оказалось, что при разборке бумаг покойного царя-супруга найдено письмишко, в коем оный Фридрих весьма лестно отзывался о разуме и талантах Екатерины. И вот: комплимент, сделанный женщине, изменяет всю политику царицы!

А старый один вельможа, тоже проезжий, хитро жуя тонкими губами, сам наслаждаясь своим остроумием, рассказал уже намедни последнее «mot»[2] императрицы.

Когда матушка узнала, что Австрия захватила два староства у Польши, то с августейшей улыбкой изволила уронить, играя в ломбер: «Ежели эти берут, то почему бы не взять и другим». И присовокупила: «Явно, что в политике всегда во вражде начала справедливости и целесообразности».

От своих заграничных товарищей, из иностранных газет Радищев узнал, что, например, всем известное «дело Мировича», которое произошло за два года до их отъезда в Лейпциг, когда они еще были пажами и, не отставая от придворной клики, возмущались продерзостью жалкого пехотного офицера, — толковалось иностранцами не так-то просто. Европа насчитывает новое кровавое пятно на без того не весьма белоснежной горностаевой мантии русской царицы. Высочайший, дескать, претайный был с Мировичем договор об освобождении от неприятного узника, имевшего права на царство бо̀льшие, чем у «ее величества Случая», как обозвал Екатерину в злой час Фридрих II. Были, дескать, Мировичу в случае успеха сделаны богатые посулы, и Мирович с совершенным спокойствием пошел на казнь. Он ожидал в последний миг помилования и тайных наград. Но Орлов якобы на пять минут опоздал, — то ли замешкался, то ли угодить догадался, — только голова Мировича снята была с плеч. Европа разумно объясняла, что

---

[1] Нарушитель общественного покоя *(франц.)*.
[2] Словцо *(франц.)*.

подобного сообщника в живых оставлять было бы слишком большим неудобством. И сколь ни покрывай хитрый Вольтер свою «великую корреспондентку» золотой лестью, выражаясь по-русски: у нее рыльце в пушку! Перед самым покушением Мировича, как нарочно, был освежен и подчеркнут настойчивый приказ: в случае попытки освобождения Иоанна Антоновича — его пристрелить.

Подмастерье Шихте со слов товарища своего, приехавшего из России и имевшего доступ к Новикову, опять и опять докладывал, что, как никогда, народ был замучен работой и рабством, что чем наверху становилось пышней, тем страшнее убожество внизу.

— Герр Александр, — говорил Шихте, — ваш народ не имеет участия ни в каких великолепиях, за которые прославляют вашу царицу вельможи, — не верьте им. Кому от всех этих войн триумф? Престолу и дворянству. Народу вашему, как скоту, — одна бессловесная гибель... И что же происходит в отместку, какое опасное брожение умов?! Вообразите, короткое царствование Петра III вспоминается уже многими. Отнятие земель у духовенства, им было начатое, перетолковывается как начало освобождения. Ведь те, кои приписаны были к владельцам, получили свободу! Это толкование разносят устной молвой ваши раскольники. Они Петра уже почитают мучеником. Примите к сведению, задумайтесь... Чем все это угрожает? Навстречу каким событиям вы едете на родину?!

Многие немцы здесь, в Лейпциге, ужасались тому, что герой Семилетней войны генерал Леонтьев, женатый на сестре Румянцева, убит своими крестьянами за жестокость и что отдельные случаи расправы все множатся, ибо в комиссии уложения нет голоса крепостным...

Почти перед самым отъездом прислали Мишеньке деньги с таким достатком, что он мог, наконец, как давно мечтал, приодеться по моде, чему словесно давно был обучен своей Лизхен. Сейчас красавчиком шел он на прощальную прогулку в Розенталь. Там уже его ждала Лиза с подружками.

Долго выбирал Мишенька, что ему лучше надеть: то ли темнозеленый кафтан при камзоле в красных цветах, то ли голубое платье, шитое золотом а ля бургонь. Прикинув то и другое, решил, что голубое ему, как блондину, будет авантажнее, и надел голубое.

Он научился маленькими глотками пить кофе, пробегая в газете смешной параграф из Езельвизе, научился курить длинную трубку, играть в модный l'Hombre и на биллиарде. А голосом умел выводить разный щебет любовный, вздыхать на луну и целовать слезу на щечке возлюбленной. Волосы он носил круто завитые, когда ходил — как танцмейстер на ходу ставил ноги. Башмаки купил с пряжками, вместе с Лизхен и выбирали... А как весело было Лизхен дарить, — такая от всего ей радость! Платье подарил темносинее с маленькими золотыми пупончиками, купил самую цветистую шляпку, как у приличных дам, всю в розах. И так было «гемютлих»,[1] как восклицает Лизхен, так с ней за эти последние неразлучные дни сжились — ну, сказать, новобрачные! И неужто навек расставаться?

Нарядный Мишенька пошел в Розенталь, роскошный парк, омываемый двумя реками: Эльстер и Плейсе. Здесь не много лет назад бродил столь сейчас знаменитый Лейбниц, размышляя о примирении Платона с Аристотелем...

Впрочем, Мишенька не думал ни об одном из этих трех мудрецов, как равно и о том, что убедительно на лекциях просил запомнить Геллерт. Эти по всей Германии рассеянные «Lokale» — все эти Розентали, Розенау, Розенфельды — были первоначально языческими рощами, посвященными божествам жизни и солнца. Отсюда, дескать, вытекает и то и иное... Но Мишенька служил сам, собственной персоною, этим радостным божествам и никаких научных выводов делать не хотел.

Тринадцать бесконечных аллей Розенталя все встречались, или, вернее, как речки в море, все впадали в огромный, необыкновенный по яркой зелени и пестроте цветов луг. Этот луг был любимейшим местом прогулок, беготни, любовных игр всей молодежи. Бюргеры

---

[1] «Уютно» *(нем.)*.

и чопорные фрейлейн предпочитали выносить свои особы и наряды на модную Променаду с широкой аллеей.

В Розентале один Геллерт получил привилегию ездить верхом на своем «frommen Schecke»,[1] которого подарил ему принц Генрих, так что повозки и всадники здесь не мешали влюбленным. Мешали здесь, пожалуй, по словам Антиноя, «в лучшее время года комары, препятствуя развитию нежных чувств».

Сейчас, в осенний вечер, даже комаров не было, и восхищенный Мишенька с нарядной Лизхен, давно прогнавшей из легкого сердца всю зависть к Минне, сидели за маленьким столиком и кушали мороженое в павильоне с потешным именем «Ледяная мадам».

Грубость нравов, неизбежное наследие войны, к последним месяцам пребывания русских в Лейпциге уже окончательно сменилась слащавой вежливостью. Даже в только что вышедшей новой поваренной книге стояло: «необходимо хозяйкам озаботиться изобретением особо вкусных домашних напитков, потому что немцы начинают стыдиться неблагопристойности опьянения».

— Сегодня будет замечательное зрелище, как нарочно всем вам на прощанье, — сказала Лизхен. — «Фрейе фрауен» будут чистить город от чумы.

И она рассказала Мишеньке про древний обычай, сегодня воскрешенный по случаю тревожных известий о появлении страшной чумы в России.

Мишенька сегодня утром получил русскую газету, где перепечатан был доклад «Чумной комиссии» императрице. Он бегло просмотрел доклад утром, не желая омрачать себе последнее свидание с Лизхен, но событие сейчас неожиданно напомнило само о себе. Мишенька вытянул газету и, пока Лизхен бегала к зеркалу поправлять развившийся локон, прочел: «...за громкими победами русского оружия, за Ларгой и Кагулом идет по пятам страшное поражение в виде моровой язвы». Дальше, после длинного столбца сетований и призыва милости божией, следовал доклад «комиссии для предохранения и врачевания от моровой заразительной язвы» в следующих выражениях: «Сколь ни обширны были земли и моря, объятые пламенем войны, и сколь ни многочис-

---

[1] «Кротком гнедом» *(нем.)*.

ленны были неприятели, повсюду следы победоносного воинства российского блистали трофеями. Но с таковою видимою силою магометан соединился из недр суеверного сего народа невидимый неприятель, требующий сугубого сопротивления, непостижимым образом поражавший иногда войска. Была то моровая язва. Болезнь сия, чем далее неприятели удалялись от победоносных наших войск, тем более приближалась к пределам империи, а наконец усилилась внутрь оныя и в самом первопрестольном городе Москве».

— Скорей бежим к реке, началось! — И Лизхен, схватив за руку Мишеньку, потянула его за собой к воде. Перед ними бежали со смехом такие же веселые парочки. Все на ходу кричали наспех друг другу про древний обычай топить «Черную тетку», про необходимость, чтобы этот обряд совершили непременно freie Frauen — публичные женщины. Однако тревога оказалась ложной, и на берегу реки, кроме садящегося в воду, как в ванну, большого красного солнца, никого еще не было.

Парочки весело расположились по крутым склонам на траве. Разговор вертелся не на чуме, которая была так далеко отсюда, в какой-то холодной Москве, где бегают, как собаки, белые медведи. Разговор шел о действующих лицах сегодняшней процессии — о «свободках». Мишеньке был предмет интересен, он расспрашивал подробно и узнал немало забавных вещей об обычаях города.

Публичные женщины прозывались freie Frauen, сиречь «свободки». Они были исключены не только из общества бюргеров — они были исключены из всех цехов. Нравственность цехов была под строгим надзором. Так, подмастерья ткачей должны были каждые две недели давать точные сведения о женщинах, с которыми жили. Также булочники и сапожники. В случае если подмастерье-сапожник путался со «свободкой», мастер обязан был не давать ему никакой работы. «Свободкам» запрещалось пребывание в погребках, разнос вина посетителям, не допускалось и появление их в семье или обществе. Они жили в особых «хурхаузах».

Но в «хурхаузы» поступала только часть женщин; их звали «die frommen Huren» — «благочестивицы». Прочие, практикующие тайно и в одиночку, звались «die

heimliche Dirne» — потайные девки. Все дома веселья были в тихом предместье Галлишертор...

— Женатым нельзя ходить в эти дома, — прошептала Лизхен, прижимаясь к Мишеньке, и лукаво добавила: — а тем холостым, у которых есть своя красивая мегден, тем и не хочется, не правда ли, мейн цуккерпюпхен? О, им много что запрещено, этим женщинам, — с удовольствием болтала Лизхен, — им нельзя носить кораллы, вот такие, как ты мне подарил.

Лизхен с гордостью стала перебирать висевшую на ее шее рогатую алую нитку, которая, оказывалось, была в конце концов аттестацией добродетели. Мишенька расхохотался и покрыл Лизхен поцелуями!

— Ну, Лизхен, похвастай еще.

— А еще им нельзя подбивать мантильку шелком, как подбито у меня, им запрещено в церкви смешиваться с порядочными. Они стоят особо...

— А если они не послушают, а если они подобьют мантильку шелком, — ворковал Мишенька в розовое ухо Лизхен, — тогда им что?

— О, тогда они платят штраф. Анна из Франкфурта наказана штрафом, — она носила серебряный пояс. Длинная Грета за шлейф платила столько же, это все знают. Ну, конечно, если зарабатывать очень много, то на штрафы плевать. Зато так приятно подразнить жену бюргермейстера, что ты одета шикарней ее! Ведь это им только вследствие просьб знатных дам все эти запрещения. Бюргеры подают вечные жалобы, что жены не дают им покоя, будто «благочестивицы» на зло им одеваются роскошнее, чем они... Идут, идут! — прервала себя Лизхен и вскочила с травы. За ней вся толпа поднялась и вытянула шеи, жадно разглядывая приближавшуюся процессию.

— Это самые красивые идут впереди, — шепнула Лизхен. — О, какие у них веселые, какие чудные плащи!

Женщины молодые, по большей части красивые, в огненно-желтых, солнечных плащах с длинными голубыми шнурами, волокли на веревке громадное соломенное чучело. Чучело было в черном саване с круглыми, нашитыми на черное, яркокрасными пятнами. Это было символическое изображение страшной чумы, по прозванию «Die schwarze Tante» — «Черная тетка».

Женщины пели мрачные погребальные песни и медленно тянули веревку. Шурша травой, скользило черное чучело. За процессией следом все спустились вниз, к самой воде.

Когда совершенно стемнело, женщины зажгли погребальные факелы и, раскачав над обрывом «Черную тетку» с привязанным к шее камнем, бросили ее в самую середину реки. Когда соломенная дама потонула, погребальные песни сменились внезапно песнями дикими, плясовыми. Не выпуская факелов из рук, девицы стали водить освободительный, торжествующий хоровод. С горящими факелами и с песнями они ушли обратно в свой «женский дом».

— Виват! — кричали студенты. — «Черная тетка» подохла в реке!

— Как бы freie Frauen, наши спасительницы, в свою очередь не наградили город чем-нибудь в этом же роде... — проворчал толстый аптекарь. — Гляди, вместе с их хором исчезла и добрая половина гулявших здесь молодцов.

— Признайтесь, герр Шнейдер, снять вам десяток годиков — и вы бы красавицам вслед показали хорошую рысь...

— Ах, Лизхен, милая Лизхен, — сказал с внезапной печалью Мишенька, — у вас тут театральные штуки, а я вот завтра уеду на родину... А на родине встретит меня не соломенная кукла «Черная тетка», а страшное поражение в виде моровой язвы, и с ней вместе ждет меня превеликая без тебя гипохондрия!

— О мейн цуккерпюпхен, продай свой родовой замок и возвращайся обратно! Возвращайся скорей, здесь будет ждать тебя твоя верная Лизхен.

«А ведь и вправду,— подумал, зарываясь лицом в благоуханные локоны, Мишенька, — и вправду братец Федор Васильевич завещал мне ранний брак. И свободы своей я с Лизхен уже никак не потеряю...»

Радищев тоже смотрел на потопление чумы «свободками», — с другой стороны реки. Там, в мало кем посещаемом уголке, назначил ему Шихте свидание, чтобы познакомить с приятелем, приехавшим из России. Приятель был некто Ицелиус, переплетчик сухопутного шляхетского корпуса в Петербурге.

Ицелиус, живя в России, порой 'ездил наведываться к родным и совершенствовать заодно свое дело. Закупить тисненых, позолотных, разводчатых материалов для переплетов, посмотреть знаменитые лейпцигские образцы, набрать именитых сочинителей для перевода.

Радищев надеялся узнать от Ицелиуса самые последние правдивые новости, как это бывало раньше со всеми знакомыми Шихте. Так было с подмастерьем мастера Веге, который жил на луговой Миллионной в Петербурге и продавал еженедельное издание новиковского «Трутня» по одному рублю сорок копеек, а порознь — по четыре копейки за лист. Тот подмастерье подробно рассказывал о фаворитах, о раскольниках, о лже-Петрах, прибавляя дерзновенно, что не удивительно подобное брожение мыслей в стране, где воображение всех авантюристов возбуждено примером и удачей самой царицы.

Но Ицелиус был странно немногословен. Он только сразу сказал, что у него имеется поручение к Радищеву, но насчет жизни двора он осведомлен мало, ибо его интересуют одни, — подчеркнул он голосом, — «истинные властители» душ.

— Кто ж таковые будут?

Ицелиус тотчас ответил, как будто только и ждал вопроса:

— «Истинные властители» суть те, кои слились в братском твердом желании вести всех к свободе путем, каким народы единственно могут сами идти, а не путем, предрешаемым произволом единоличных правителей-деспотов.

— Но, признаюсь, — прервал Радищев, — я не охотник до тайн, тем более масонских. Недавно одно смехотворное происшествие у меня отшибло последний к тому вкус. Так что, ежели поручение ваше будет к обществу «тайному», прошу прощения — я не передатчик!

— Однако ужель непонятно вам, что лишь тайна строжайшая может обеспечить успех в таком, например, предприятии, как намерение раздобыть если не полную свободу, то хотя смягчение участи несчастных рабов вашей собственной родины? Разве не есть мудрая предусмотрительность, если на поверхность движущих дело пружин для власть имеющих глупцов будет наброшена

золоченая мишура? Как иначе прикажете делать отбор в столь важном деле?

У Ицелиуса была узкая длинная борода, мохнатые нависшие брови и под ними спокойные ребячьи глаза.

«Не иначе — какой-то святой козел», — подумал про него Радищев, но человек этот ему сразу понравился.

— Наконец-то я слышу дельную речь, — сказал он с улыбкой, — речь без утомительных символов, на которых просто помешался мой близкий друг Кутузов. Эти символы — непонятная мне ерундистика...

— О, это не совсем точное выражение, — покачал головой Ицелиус, — символ отнюдь не бессмыслие. Совсем наоборот, — это, так сказать, усовершенствование нашей речи. Объединение многих соответствующих законов под одним условным знаком, дабы важную мысль выразить кратко, — вот это что. Впрочем, довольно о подобных материях; я не уполномочен вам в этой области что-либо сказать. При вашем желании, по этому предмету у вас могут произойти там, на родине, более подходящие вашему образованию встречи, нежели с неученым переплетчиком, каков есть я. И поручение мое к вам относится не к какому-либо обществу, а к отдельной персоне. Вы сейчас являетесь тем, что мы зовем «правильный канал» для передачи письма одному крайне почетному человеку. Вы знаете наверно, что на почте у вас сидят прелюбопытные лица. Они любят читать чужие письма раньше адресатов, что притом для последних не всегда весело кончается. Почетный человек, кому адресован данный пакет, — Ицелиус вынул из кармана большой запечатанный конверт, — есть один известный журналист и издатель. Вы, может быть, читали, он пишет под именем...

— Правдулюбова! — почему-то подсказал Радищев.

— Именно так — по журналу. А в жизни частной он — Николай Иванович Новиков. Письмо отменно важное, и Шихте мне сказал, что вы есть верный человек и передадите не иначе как в собственные руки, — улыбаясь и шевеля бородкой, закончил Ицелиус.

— И с превеликим притом удовольствием, — пожал ему крепко руку Радищев.

Совсем близились дни отъезда. Уже сданы были все испытания в университете и получены похвальные дипломы. Уже многократно отпраздновали прощальные ужины с немецкими товарищами. На законном основании осушили немалое количество бутылок, горланя ерундовскую застольную песню:

Zwanzig Jahr in Konstantin-
Opel ich gewesen bin,
Allso ich mit den Yanitsch-
Aren sass auf einer Pritsch! [1]

Отпразднован был прощальный обед с профессорами в трактире «Голубой ангел». Слушали напутственные умные речи, с горячностью говорили ответные. Давали обещания воздать на родине своей деятельностью честь учению любимого Эрнеста Платнера. Этот профессор умел, как никто среди их учителей, убедительно сближать отвлеченность положений философских с вопросами насущного социального характера. Клялись искоренять вопиющую неправду между классом имущих и правами обойденных. Вообще все теоретическое изучение права во славу коллегий Лейпцига обещали превратить незамедлительно в практику.

Невысокий, изящный Геллерт тихими, печальными глазами долго смотрел в глаза русских юношей, пожимал им руки и проникновенным голосом говорил:

— Несите, дорогие друзья, несите в порабощенную страну понятие о свободном человеке. Но будьте же и вы сами на высоте ваших слов...

Пришел проводить русских студентов и старый учитель рисования Цинк, сейчас мудрый слепец, которого водил за руку юноша ученик. У Цинка было благородное лицо со старинного портрета, полное дедовской благожелательности. Пришел и антиквар Вендлер, прелестный чудак, который, как Диоген, раздав все свои драгоценности, не имел даже постоянного пристанища. Эзер написал его портрет, Баузе сделал с этой работы чудесную гравюру, профессор Клодиус — подпись стихами. Типография размножила оттиски, и старик, продавая

---

[1] Двадцать лет был я в Константинополе,
Где вместе с янычарами я сидел на нарах! *(нем.)*.

себя самого, — как он весело шутил, — добывал себе пропитание.

Пришел и Якоб Райске, ученый, основатель арабской филологии, тоже старик, никогда не уверенный, будет ли у него назавтра обед...

Все эти полунищие замечательные ученые и бескорыстные чудаки крепко жали руки юношам чужедальней стороны и как бы желали перелить в их сердца свою, доказанную долгой жизнью, беззаветную любовь к знанию и искусству.

Наконец дорожный возок русских был собран. Уже там лежал упившийся с горя Мишенька, а Середович, нетвердый сам на ногах, держал перед ним на прощанье «посошок» немалой вместимости, в то время как Лизхен и Минна, объединенные общей скорбью, лили поодаль тихие слезы.

Радищев и Алексис в последний раз взбежали на высокий холм кладбища. Здесь оставляли они навеки прах «вождя юности» — Федора Васильевича Ушакова.

С кладбищенского холма город хорошо виден был весь. Колокольни старых церквей, и крепостные башни, и цеховые дома с высокими крышами, и ратхаус, где столько веселых банкетов было отплясано вместе с милыми горожанками, оставив на время в забвении все философии и права.

Четыре мельницы наперегонки работали на голубоводной Плейсе. Краснела блестящая черепица в осенней зелени пышных садов... Так все было здесь близко знакомо, такой любезной сердцу второй родиной успел сделаться город Лейпциг. То тут, то там с невольной улыбкой отмечали, как рука Эзера, ненавидевшего рококо, наставила белые колонны, огромные урны, повитые розами. Это из-за них начитанные горожане, увлеченные Винкельманом, пренаивно гордились, что их немецкий купеческий город превращен в древнегреческий.

Как все здесь мирно, как располагает к наукам! И ни за что нет ответа. Даже отвратительная смертная казнь — там, на окраине, в Рабенштейне — касается будто не Лейпцига. Эта смертная казнь... уж не подготовка ли к тем потрясающим событиям, которые на родине ждут русских юношей?

— Окончилась юность наша, — сказал тихо Кутузов. — Да поможет нам память друга в трудном служении нашей отчизне.

Радищев стоял, глубоко уйдя в себя, и безмолвствовал.

— Нам пора, Сашенька, — позвал Кутузов.

Радищев тряхнул головой, взглянул на приземистую тяжкую башню крепости Плейсенбург. Здесь, в нижней зале, перед большой картиною Эзера ему как бы самой судьбой было недавно сделано одно решающее предложение. О нем только и думал он все последние дни, ища точной формулировки своего ответа.

Уму, ведущему перед собою отчет, подобный вывод — необходимость, чтобы собрать воедино все силы. Так необходима плотина реке, когда предстоит ей делать большую работу.

И, непонятно для стоящего рядом Алексиса, обращаясь мысленно к одному вождю своей юности — Федору Ушакову, Радищев громко с твердостью сказал:

— Нет! Будь я даже сам Шекспир, ни к какому бессмертию один я двигаться не желаю.

*1932 г.*

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ
# *Казанская помещица*

## *Глава пятая*

Не найдя перчаток ни в одном кармане, Радищев выдвинул ящик своего письменного стола с такой силой, что из него стрельнули во множестве на пол записки. Счета портного, фруктовщика, клочки разорванного буримэ, — играли в последний раз у Херасковых. Вот две строчки почерком Аннет...

Улыбнулся, чуть было не поцеловал бумажку. Сложил ее бережно, втиснул обратно в конвертик.

Привлек внимание Радищева листок записной книжки. «За напечатанный перевод Мабли 41 рубль». Получал еще в бытность на сенатской службе «титулярный советник Александр Радищев».

И еще получил 69 рублей уже на службе теперешней. Подписывал расписку «обер-аудитор при штабе графа Брюса».

Глаза Радищева сами собой перевелись к библиотечному шкафу, и рука потянулась за книжкой в кожаном переплете с тиснением золотом.

На титульном листе новиковская марка: «Общество, старающееся о напечатании книг».

И картинка сверху: из вензеля императрицы исходят лучи, упирающиеся в пирамиду. Две соединенные руки, рог изобилия, меркуриев жезл — сиречь кадуцей, тюки товаров и книги.

Радищев поморщился, вспомнив, что со стороны правильности русского языка было тут руководительство Храповицкого. Пришлось сознаться, что пятилетнее

пребывание в Лейпциге отучило от исконности русской речи. Притом же в пажеском корпусе не русский — французский насаждали.

От немцев, сам знает, у него высокопарность есть в слоге. Возможно, что из Клопштока перехватил.

Немудрено, ежели под боком Кутузов его «Мессиаду» переводит и пробует каждую строку для проверки голосом.

Радищев нашел пюсовые перчатки в потайном ящике. Они лежали рядом с книжкой, которую намедни получил он от Брюсши, Прасковьи Александровны.

«Однако почему легче мне перенять надутого Клопштока, а не эту вольную, несравнимую простоту?»

И, раскрыв золотообрезный томик, недавно присланный графине Брюс из Берлина, Радищев в вечернем камзоле, по-модному завитой, среди груды разбросанной мелочи сел на пол и забыл все расписания, все сроки. Забыл даже сегодняшний вечер у Херасковых, на котором ему хотелось особенно быть. Известна в этой книге каждая глава, как страница собственной жизни, но как порох вспыхнуло сердце, и слезы исторгнулись из очей. Таков «Вертер»!

Еще волнительней было Радищеву от мысли, что «Вертера» написал тот самый красавец-юноша, с которым в одном университете слушали Геллерта.

«Антиной» — так его звали студенты, и Вольфганг Гёте — так значился он в списках.

Масонские часы, водворенные в их общую комнату Кутузовым, не переводя духа, отбили семь раз. Бог времени Хронос, подняв косу выше белой своей бороды, махнул ею вниз неумело, как плохой косец. Но он дал этим понять, что еще на час ближе стал к своей смерти каждый смертный.

Радищев очнулся. Обратно забил в ящик стола весь из него выпавший хлам и с неудовольствием приметил на полу свои выходные светлопюсовые, в комок сбитые перчатки. Он не заметил, как всей тяжестью сам на них сел. Схватив деревянные пялы, Радищев распялил перчатки одну за другой.

Прасковья Александровна Брюс строго наказывала, что свежесть вечерних перчаток — непреложный признак хорошего тона, и члену Английского клоба весьма

надлежит соблюдать оный. Лишний раз с удовольствием вспомнить не преминул, что с недавнего времени и он есть член Английского клоба, где собирались для бесед и карточной игры все чиновные, должностные и знаменитые столичные персоны. Кроме того, члену оного клоба открыты были двери лучших гостиных.

В этих гостиных Радищев ныне бывал не последним, ибо под выучкой все той же Прасковьи Александровны получил светский лоск и приятность обращения.

Военная слава мужчин в салоне графа Брюса, остроумие и блеск светских модниц привлекали своим контрастом с кляузным миром чиновников, их служебных ябед, их озлобленных жен.

Радищев написал Кутузову записку с приказом, ежели он не поздно вернется, пусть едет к Херасковым, — интереснейший вечер. Оглянулся, куда бы прикрепить записку повиднее.

Оба письменных стола были завалены. У Кутузова больше, чем в Лейпциге, развелось древних книг. Манускрипт с египетскими гиероглифами то и дело скатывался на пол, смахивая туда чернильницу, сургучи и гусиные перья.

Череп, с малым количеством зубов, пугал хозяйку комнаты и мешал Кутузову чертить пространные круги, арканы, пентакли.

У Радищева на столе была целая лаборатория алхимика: стеклянные реторты, ступки, паяльники и спиртовки. Он орудовал с химией. Все собирался ставить ученые опыты, но пока что он гнал одну черемушную воду и настаивал из сушеной розы духи.

Над постелью Кутузова висело всевидящее выпученное «око», окруженное косым дождем золоченых лучей. Око наблюдало за чистотой помыслов и поведения Кутузова.

Над постелью Радищева были крест-накрест рапиры и прочие фехтовальные принадлежности, для верховой езды потребные стеки, великолепное охотничье ружье.

В футляре на полке, нарочно по форме сделанной, содержалась скрипка. Радищев талантами изобиловал.

Памятуя рассеянность Алексиса, Радищев, дабы привлечь внимание друга к оставляемой записке, соорудил особливую махинацию.

От большого крюка, предназначенного для висячей люстры, коей у бывших сенатских протоколистов еще не имелось, он протянул вниз веревку. Парадные штиблеты Кутузова к ней не замедлили быть привешены.

Расчет был таков: едва Кутузов, по обыкновению не осмотревшись, ринется к столу, чтобы зарыться в пентаклях и арканах, как штиблеты не замедлят хватить его по лбу и заставят прочесть привешенную к ним записку.

Второй билетик Кутузову такого же содержания Радищев, расшалившись, загнал черепу в зубы.

Радищев взглянул на Хроноса. Времени было достаточно до поры, когда прилично являться на вечер. Он сунул своего Мабли в карман, сам не зная зачем. Только что вышла эта первая книга, и не хотелось с ней разлучаться.

Надушился. Не собственной выделки розой, хотя уверял не однажды Кутузова, что ее запах субтильнее всех покупных французских духов. Пошел самым дальним путем, желая с часок побродить.

Между сухопутным шляхетским корпусом и Академией художеств имелось место на правом берегу Невы. Место было еще не мощеное и совсем пустое. Однако освещение уже имелось. Стояли голубой и белой краской окрашенные столбы, и железный прут поддерживал шарообразный фонарь.

Под столбом топтался фонарщик, похожий на медведя, одетого в пестрядевые штаны и рубаху. Он подливал из жестяной фляги в светильню свежий запас конопляного масла. У Радищева всплыли застрявшие в памяти цифры отчета по какому-то иску гражданской управы:

«А масляных фонарей на весь город значится 3400. Масла же на них потребляется на семнадцать тысяч ежегодно».

Уже четыре года прошло, как Радищев с Кутузовым вернулись в Петербург, окончив Лейпцигский университет. И сколь много прожито! Да и сами совсем уже не те.

Тепличные растения, на сколь жестокую родину они попали! Что знали они там истинного за границей? Военачальники сухопутные и морские, посланные из столицы на театр военных действий супротив Турции, под-

бодряли самих себя, рассказывали сплошь о викториях. Знаменитый «Наказ» государыни овеян был духом Монтескье и Беккариа, хвалою которым полны были лекции профессора Гоммеля.

Правда, проникали через иностранных переплетчиков и другие, осудительные слухи, из которых понять можно было, что «Наказ» — наказом, а справедливость — свищи.

Но о всех ужасах крепостного права, о вновь прикрепленных, об умученных заводских лейпцигские студенты не знали.

Будучи по приезде в Петербург определены в «сенатские протоколисты», о сих ужасах узнали вплотную из первоисточника, составляя экстракты дел.

Когда-то в юности, пажами ее величества, оба друга делали тоже «экстракты» эрмитажных пьес. И сейчас небось в архиве театра хранится афиша с объявлением, что экстракт сделал: le Sr Radichoff.

Для облегчения догадливости зрителей своими словами, вкратце, предлагалось пажам изложить содержание драмы, комедии и нах-пьесы. Теперь, определенные в сенат, они то же самое делали для облегчения мозгов почтенных сановников. Занятие скучное и нелегкое. В полторы недели надлежало сделать обстоятельную, но краткую вытяжку из многотомного сложного дела.

— Хуже корпусной лозы мне докучные наши экстракты, — вырвалось как-то у Кутузова, а старший протоколист Матвеев, брюзжа, проскрипел: «Сии экстракты суть великое милосердие, а не докука. Вот работали б при монархине Елисавет Петровне! Пустое дело о выгонах города Мосальска одним своим чтением заняло шесть недель заседаний сената. То-то же».

Опять в Петербурге поселились Радищев с Кутузовым в одной комнате. Как в Лейпциге зловредная грубость Бокума, объединило их одинаковое чувство отчужденности от обидных обычаев приказных.

Близкие по привязанности, различные по умственной склонности, друзья продолжали образовательную линию лейпцигского кружка: Кутузов переводил Клопштока, Радищев — Мабли.

Образовательная линия — одно, а душевное расположение у друзей пошло на различный манер. Кутузов

состоял в своем земном теле непрочно, как гость некоей иной планеты, Радищев по земле ступал всей ногой, как хозяин, и тело у него было крепко сбитое, сильное. Кутузову, болевшему животом и лихорадками, фехтование, танцы, верховая езда не были любезны, как другу.

У Радищева случались попойки и кутежи, — захлестывало. Забывал уважение к «храму духа своего», рекомендованное вождем юности Ушаковым. Ну что же, грешил. Но после кутежа встряхивался, садился свеж за работу. Раскаяние, коему предавался Кутузов после малейшей фривольности, допущенной в его строгую жизнь аскета, было Радищеву чуждо. Вторично не совершать — да. Но повторять и вновь каяться — сие для слабодушных.

«Раскаяние, страх и надежда — величайшие враги крепости сил человека».

Сию цитату в те учебные годы вымолвил он, лейпцигский Антиной, гуляя как-то вдоль аллеи Розенталя с неизменным приятелем Беришем чуть впереди Радищева. Тогда сентенция сильно смутила, как противная христианскому духу и общепринятому кодексу добрых нравов. Но сейчас она же стоит руководством при создании себя человеком и гражданином наподобие Спарты.

И вот, нужно же, так случилось — не уберегся Радищев со своей книжной мудростью.

Радищев попал в хитрые сети некоей персоны и ныне утратил драгоценную свободу чувств.

Попал без любви, без особого очарования воли, как попадается пустая барынька, из одного любопытства.

Радищев не заметил, как вовлечен был в роман с женой своего начальника графа Брюса, с самой ближайшей подругой императрицы, Прасковьей Александровной.

Немолодая, с лицом изменчивым, еще миловидным, похожим на Грезов портрет, она знала все тайны улыбок. Глаза у Брюсши были чуть-чуть раскосы, носик толстоват. Умна же была необыкновенно. Образование у нее было редкое, не в пример прочим барынькам, тупоразвратным, готовым от скуки «валяться» с кем ни попало.

Уже одно то, что в библиотеке Брюсши были все новые заграничные книги, побудило Радищева искать от нее приглашений.

Однако роман вышел с Брюсшей нерадостный. И вернее: не роман это был — фехтовальный велся поединок.

С душой иссушенной, Брюсша ощущала усладу производить разорение цельности чужих чувств и твердости оных.

Руссо с его юным пламенем был ей нестерпим. Серьезность Радищева в вопросе сочувствия вольности, переходящей границы разумного, ее беспокоила.

Намедни крупно поспорили из-за приема, оказанного во дворце философу Дидро.

Как мальчишке экзаминатором, предложено было императрицей философу исполнить письменное испытание на тему: каким бы желал он увидеть правление в здешней стране.

Когда великий старец, юношески сохранивший весь пламень чувств, представил своевольные мысли на сей предмет, он всего-навсего одарен был для обратного отъезда во Францию весьма теплой шубой. А для осрамления перед раболепным двором — ханжески-иронической сентенцией:

— Вы правите, Дени Первый, на бумаге, а я, Екатерина Вторая, — живыми людьми.

Радищев негодовал, Брюсша защищала коронованного друга, цинично перекрывая чистоту и пламень Дидро удобными афоризмами придворной мудрости.

И всегда в спорах Брюсша была увертливой, с готовой цитатой, с хитростью опыта, с душой, непоколебимой в холоде чувств. Там, где Радищев бушевал, где он искал истину, эта светская умница, давно ничему ровно не веря, хотела только виктории персональной. И наружно она ее получала легко.

Радищев был не совсем красноречив, не быстр, за слова ответственен, как человек, преданный мысли, а не жажде успеха.

Брюсша торжествовала, в то же время не упуская умело польстить. Ко всему прочему, она искренне любила Александра, как любят последнюю весну, потушенных чувств.

Радищев уходил из салона Брюсши в раздражении. Так школьник уходит от фокусника-ловкача: пораженный его искусством, но в то же время знающий, что во всем им увиденном скрыт какой-то обман.

Эти беспокойные отношения усугублялись любовными чарами.

Брюсша хвастала, что она купно с Като̀ — возрожденные в наш век египетская Клеопатра и Мессалина. В практику любовную она вносила опыт всех стран.

Радищев уходил от Брюсши опустошенный и не однажды решал: сие в самый последний раз.

Но приходил посланный с раздушенным billet doux,[1] или сам граф Брюс на службе, в порядке почти военной дисциплины, рапортовал:

— От Прасковьи Александровны вы нонче прошены на беседу.

И Радищев, не желая идти, шел.

Однако с недавнего времени явилось некое серьезное противопоставление Брюсше — прелестная Аннет Рубановская.

С ее родным дядей Андреем вместе учились в Лейпциге. Правда, в те годы особой дружбы с ним не было. Тяжкодум, как барсук в норе, сидел он за книгами.

Будучи менее способен, чем товарищи, Андрей по четырнадцати часов в сутки долбил курс, в развлечениях и спорах ничуть не участвовал.

И немало изумилась, помирая от смеха, вся русская колония, когда пришлось ей прикидывать на пальцах, как успел Андрей изыскать время, чтобы обрюхатить одну немецкую фрейлейн. Обиженная спохватилась явиться с материальной претензией в общежитие студентов.

Целый месяц пути из Лейпцига в Петербург друзья проводили в соседстве Андрея.

Он возбудил в них немалое любопытство, хвастая двумя взрослыми племянницами, первыми среди смолянок.

Лизанька, старшая, не столь авантажна: лицо ее было тронуто оспой, но сценический талант выше вся-

---

[1] Любовной запиской (*франц.*).

ких похвал. Сама императрица оценила ее игру, назвав «лучшей мадам Крупильяк».

Младшая, Аннет, по словам юного дядюшки, была просто мечта! При дворе находили в ней сходство с предрафаэлевой чьей-то мадонной...

Радищев встретил Аннет у Херасковых. Это были дни его первого тщеславного головокружения от внимания, оказанного ему Брюсшей. По этой причине достоинства Аннет ему отметились холодно. Однако девица все же запомнилась.

И все вышло к лучшему: не испытывая особой заинтересованности ею, Радищев с Аннет разговаривал не слишком-то модно, а с братски участливой простотой.

Без усилий конфузливая Аннет с полной доверчивостью расположилась к товарищу своего дяди.

Не таясь, она рассказала ему, что мать докучает ей выйти замуж этой зимой непременно за кого-нибудь из видных придворных, чтобы включенной быть в свиту двора. Ее с этой целью вывозят на большие балы. Между тем Аннет прочла «Элоизу», и жизнь при дворе ей претила.

Как-то компанией, где был и Радищев, ездили пикником на Петровский остров. Гуляли в рощах, катались на рябиках по Неве.

Рябиками назывались гребные речные суда, они были одеты богатою позолотой и, на пример венецейских гондол, над головами имели зонты.

Рябик пристал к берегу, и компания затеяла беготню на лужайке. Радищев с Аннет «горели» в одной паре.

Розовое закатное небо стояло легко над водой. Трава была яркой зелени. Аннет, запыхавшись от бега, кинулась на скамью, роняя шелковый свой эшарп, который Радищев подобрал и укутал им смехотворно свою голову.

— Вот на этом острове я хотела бы иметь небольшое шале, [1] — сказала в мечтании Аннет, — или в крайности хоть хижину. И я хотела б жить тут в полном согласии с природой... Ежедневно я бы отмечала восход и закат. Не правда ли, Александр, какие чудесные и разные бывают закаты? Восход же я до сих пор не видала... — невинно призналась она.

---

[1] Швейцарский сельский домик.

— Но ранее чем мечтать о хижине, вам, любезная Аннет, не мешало бы приискать себе милого сердцу, дабы в ней с ним испытать обещанный пословицей «рай», — смеялся Радищев.

— А ежели милый сердцу уж найден? — вопросом ответила Аннет. И, оставив эшарп в руках спутника, вся зардевшись, убежала.

Радищеву стало интересно узнать, кто сей милый сердцу Аннет. К удивлению своему, он принужден был отметить, что далек от безразличия в сем вопросе.

Сегодня Аннет обещалась петь у Херасковых. Он еще не слыхал ее пения. Строгий учитель-итальянец впервые дозволил Аннет выступление при публике.

Радищев внезапно почувствовал, как должна волноваться Аннет, и, решив не ждать общего сборного часа, заторопился к Херасковым. Он сообразил, что и Аннет должна сегодня пораньше прийти, чтобы испробовать звучность рояля и спеть под аккомпанемент жены Хераскова, Елизаветы Васильевны.

Радищев ускорил шаги и чуть не попал под копыта четверки, внезапно появившейся из-за угла. Шесть лейб-казаков, красавцев, неотделимых от своих лошадей, сопровождали карету царицы.

Сквозь стекло, под упавшим лучом фонаря, Радищеву мелькнули два профиля: хищный, с подбородком императоров Рима, с мертвым стеклянным глазом, принадлежал новому генерал-адъютанту Потемкину; другой профиль, его дополняющий, как на юбилейной медали символа власти, — профиль Екатерины.

За пролетевшей каретой императрицы сверкнул золотом на голубом лаковом фоне герб графа Брюса.

Прасковья Александровна, дальнозоркая, без лорнета увидала Радищева. В заднее окошечко постучав, запяточному лакею дала какой-то приказ.

Лошади остановились, роя копытами землю. Лакей доложил Радищеву, что графиня просит его пожаловать к ней в карету.

Радищев с подавленным неудовольствием принужден был войти, согнувшись высоким станом, в тесную роскошную клетку. Стены простеганы были модным капитонэ нежного абрикосового шелка, с пуговками из пер-

ламутра. Графиня в карете была не одна. По тому, как она поздоровалась, чуть улыбнувшись изгибчатым ртом, изобразив линией губ лук амура, понять можно было, что она в свой эрмитаж заставит войти.

«А к Херасковым придется попасть под самый конец! Будет ли ждать его Аннет со своим пением?»

В карете рядом с Брюсшей сидела особо нарядная дама. В полумраке, не разгоняемом слабым отсветом фонарей, личико дамы, маленькое и миловидное, показалось Радищеву принадлежащим мохнатой медведице.

Перед дворцом Елагина даму приняли на руки два выбежавших гайдука. Они внесли ее бережно, как ребенка, в колоннаду передней. Там уже стоял, приветствуя ее появление, довольно тучный, в обтянутом шелке кафтана и белых чулках, украшенный звездами и регалиями, сам кабинет-секретарь Иван Перфильич Елагин.

В руках он держал целый куст белых роз из собственной оранжереи.

— Любопытно мне знать, кто была незнакомая глухонемая? — осведомился Радищев, когда карета довольно отъехала.

— Бесовскими чарами обладающая Габриэльша-певица. Свое безмолвие она искупает пением на сцене. Впрочем, не всегда Габриэльша безмолвствует, — засмеялась Прасковья Александровна. — Когда недавно в Италии ее запросили, за какую же сумму она будет петь в Петербурге, Габриэльша назначила столь несусветно, что ведший переговоры воскликнул: «У нашей императрицы первые сановники берут меньше!» На это предерзостно Габриэльша ответила: «Вот пусть и будет предложено вашим сановникам пропеть мои арии». Какова? Но Като́ любит дерзости... сие разуметь надо — в известной лишь мере, — подчеркнула голосом Брюсша. — Словом, был выдан приказ сюда выписать Габриэльшу... Но вы меня не слушаете, Alexandre, вы, я вижу, не в духе? Конечно, торопитесь на вечер к Херасковым?

— Почему же конечно?

— Потому что вам не терпится блеснуть только что вышедшей книгой Мабли, о коей я уже слышала, но ее обладанием похвастаться не могу.

— Время настоящее в сем случае надлежит заменить вам давно прошедшим, — и с любезным поклоном Радищев поднес Брюсше свой томик Мабли.

— Заготовлено, чаятельно, не для меня, ибо не имеется мне дедикаса,[1] — развернула книгу Брюсша.

Она поджала пухлые губы, отчего черная налепленная мушка продвинулась, как живая, и Радищев вовремя удержался предложить ей смахнуть скорее букана со щеки...

— Отсутствие дедикаса, сударь, — окончательный предлог, чтобы вам оказаться мною похищену, хоть бы на краткий срок.

Радищев поклонился вторично. Подъехали. Приняв из кареты свою даму, он легко подвел ее к львам подъезда.

Особые покои, где Брюсша принимала своих собственных гостей, в отличие от палат общих и парадных, были солидно просты и располагали к естественности. В парадных покоях давались балы, банкеты, обеды на много персон и кувертов, вечера с игрою в ломбер на много столов, которые любила посещать императрица.

Сейчас в большой библиотеке интимных покоев, с книгами в лучших лейпцигских переплетах, сидели в вольтеровских креслах друг против друга Радищев и Брюсша. Сбоку, в темным штофом покрытой стене, вела неприметная под общий колер резная дверь в эрмитаж, сиречь уединение графини.

Радищев глянул на еще недавно так его волновавшую мало приметную резную дверь. Он твердо сказал себе, что нынче порога ее ни в коем случае не переступит. Пение Аннет его манило сильнее, чем все ухищрения Брюсши.

— Вы не прочли мною данного «Вертера», Alexandre?

Радищеву и про эту столь его взволновавшую книгу изъясняться совсем не хотелось, но Брюсша сама тоном, презирающим всякое иное мнение, сказала:

— Большого шума наделал молодой Гёте в Германии. Приписывают этой книге уже несколько самоубийств от любви. Возможно, что существуют такие

---

[1] Посвящения *(франц.)*.

глупцы, которые даже стреляться по собственному почину не имеют достаточно имажинации.[1] И пример им должен сделать другой. Но я нахожу сочинение не оригинальным, повторяющим «Элоизу» Руссо. Несносна мне и преувеличенность чувств глупого Вертера к не менее глупенькой Лотте. Да и вся их история на пустом месте построена. Ежели оба героя столь не по нашему веку целомудренны, что ради мужа отказались от утех любви, — кто же, кроме автора самого, мог им помешать изъясниться, пока Лотта замужем еще не была? Ведь взаимная склонность налицо с первых встреч? Нет, незамысловатая книга...

— Так читать книгу, способную привести и исступление все чувства, — это все едино, что преждевременно растоптать цветок розы и вопрошать с недоумением, почему он не пахнет.

Радищев встал и подошел к окну. Постоял. Когда повернулся, лицо его было бледно.

А Прасковью Александровну бес так и подзуживал:

— Конечно, ежели юноша влюблен в милую и сам столь же невинен, как она, — «Вертер» прекрасный подручный! Из него можно списать письмецо и сделать признание. Там полна кладовая и вздохов и слез. Но для меня совершенная энигма, чем вас-то могла потрясти, любезный Alexandre, подобная книга?

— И все-таки вы правы: она меня потрясла, — не смущаясь ответил Радищев. — Любовная история, вами осмеянная, божественна своим простым благородством. Она полна силы чувства и целомудрия. Сии качества утрачены людьми наших дней, изощрившими чувственность. Возможно, что таковы законы души, — чувственность изгоняет чувство. В этой же книге важна сила чувств, их цельность, громадность подъятия... Куда, на что, как обрушится сей океан жизненной мощи, при оценке книги вопрос не главный. Океан чувств присутствует. Он водитель жизни. Да, чувство движет всем миром. Им свершается невозможное: Спартак подымает рабов, Галилей утверждает вращение земли, апостол Павел меняет лицо вселенной.

---

[1] Воображения (*франц.*).

— Чувством были двинуты и вы, не правда ли, Alexandre, когда написали вот это предерзостное примечание в вашем переводе? О нем я уж слышала и, предупреждаю, — неблагоприятные идут толки. Я говорю про изъяснение внизу вот этой страницы слова самодержавство, которым по вольнодумному капризу вы перевели нарочито французское — despotisme.

И Брюсша, выводя голосом злую иронию, прочла вслух:

— «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Вот оно стоит черным по белому изъяснение переводчика. Вами сделанное заключение еще любопытней, и любопытно, что оно даже текстом книги не вызвано нимало. Послушайте, сколь предерзостно звучит оно в чужом чтении. — И Брюсша прочла: — «Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества». Да неужто вы думаете, Alexandre, что императрице подобный наскок может понравиться?!

— Я написал то, что я думал, — сказал гордо Радищев, — и мысли мои о сем предмете разделены лучшими умами Европы. Не сама ли императрица дала повод мыслить согласно ансиклопедистам?

— Давала... но нынче более не дает, — отрезала Брюсша. — Ансиклопедисты! — засмеялась она. — Но вы сами знаете, как старик Дидро взамен убеждений, что у русской Семирамиды он может насадить по своей фантазии свободу, увез на плечах одну теплую соболью шубу! Да что далеко ходить, вчера еще Като́ мне сказала: «Как я люблю сентенцию Бейля! Вот уж точно ум, не витающий в облаках, как любезнейший Дидро». Хотите услышать сентенцию, Alexandre? Вот она: «Государственная политика и строгая честность несовместимы». Государям это правило — что папская индульгенция блудливым католикам. И поэтому я вам советую...

Радищев, забыв светское обращение, прервал вдруг с горячностью Брюсшу:

— Вы столь близки к трону! Сколь благотворно могло быть ваше влияние, ежели бы вы сами...

— Договаривайте!

— Ежели бы, говорю, сами вы не были столь равнодушны и развращены.

— Вы влюблены, Alexandre, я уверена, что вы влюблены. Идите ко мне на исповедь!

К Брюсше вернулось все — и лукавство, и веселость, и прелести умной светскости. Притертая в меру белилами и румянами, в пудреном парике, при сердцещипательных мушках, — она была привлекательна.

Брюсша прошла первая в свой эрмитаж. На столе, сервированном с дорогой простотой, горели канделябры. Вверху люстра. Тени от люстры трепетными узкими цепями дрожали на потолке и спускались на стены, создавая беседку из теневых змей.

Брюсша пригласила к себе ручкой Радищева, но он к ней не двинулся. Он даже не вышел из охватившей его задумчивости:

«Что для нашего сердца весь мир, если в нем нет любви? Не то ли волшебный фонарь без зажженного внутри света?»

Это встало в памяти ярко одно из писем Вертера к другу.

Стоя в освещенной комнате, склонив искусно перевитую жемчугом голову, Прасковья Александровна выразительно спросила:

— Не правда ли, Вертера где-то ждет милая сердцу Шарлотта?

— Не знаю, ждет ли, но Шарлотта есть точно, — серьезно и просто, не желая отвечать на игру Брюсши, подчеркнул Радищев.

— Так что ж, в добрый час! — уронила снисходительно Брюсша, играя цветком, вынутым из букета. — Я вас не задерживаю, Александр Николаевич.

Радищев откланялся и вышел.

Брюсша некоторое время сидела одна перед роскошным столом. Лицо ее вдруг состарилось. Взамен смены настроений тонкого ума печать озлобления проступила в чертах.

Наконец она подобралась, взглянула на часы. «Еще рано, — подумала она. — Като́, верная своему расписанию, сейчас только кончает дневник. Пока она будет занята ночным убором для принятия фаворита, можно будет нам поболтать».

Брюсша прошла в библиотеку. Книжка Мабли так и осталась лежать развернутой на самом том месте, где она прочитала примечание Радищева.

— Так он мне и не написал дедикаса...

Брюсша позвонила, приказала заложить придворную карету. Книжку Мабли прихватила с собой.

## *Глава шестая*

Сегодня Екатерина с великим князем и его супругой ездила мимо стоящих против Адмиралтейства на обширном лугу качелей, балаганов и гор.

Цесаревич сказал: «В карусели едут все пóсолонь, а на качелях падают с норда к зюду!»

Наблюдение Павла вызвало смех. Все стали рассаживать попарно придворных, воображая, как изменятся у них лица и все поведение при внезапности падений и взлетов. Понимать сие цесаревич предложил в аллегории...

Шла бойкая торговля гречаниками, квасом, блинами. Колонисты продавали свой молочный товар. Венгерцы и греки — нарядную мелочь и губки. Смехотворные и вольные шутки отпускал ярмарочный дед — дюжий парень с привязанной бородой.

В одном месте было много народу и крику. Полиция силилась схватить лист из рук махавшего им человека. Другие его защищали.

При виде кареты защитники разбежались. Арестованному стали крутить назад руки. Народ узнал Екатерину и ее шумно приветствовал. Цесаревич бросал в народ деньги. Екатерина остановила карету и приказала дать ей тот лист, который она видела издали. Не смели ослушаться — подали.

Екатерина пробежала строки глазами и приказала препроводить схваченного человека к генерал-адъютанту Потемкину. Наследнику с женой Екатерина листа не показала и, улыбаясь на все стороны, отбыла во дворец.

Сейчас этот лист лежал перед ней, развернутый на столе в ее рабочем кабинете. Черными, тесными буквами было на нем напечатано:

«Я во свете, всему войску и народом учрежденны велики государь, явившийся ис тайного места, прощающей народ и животных в винах делатель благодеяний, сладкоязычной, милостивый, мяхкосердечны российски царь, император Петр Федорович, во всем свете вольны, в усердии чисты разного звания народов самодержатель: прочая, и прочая, и прочая».

Екатерина вспомнила, как восторженно приветствует ее появление народ, и опасливая настороженность отпустила ее сердце.

Она сложила лист, заперла его в ящик, презрительно молвила:

— Ах, эти глупые казацкие гистории!

В дни брачных торжеств наследника с Вильгельминой объявилась первая весть о новом самозванце, Емельке Пугачеве.

Немало было уже самозванцев со дня ее восшествия на престол. Немало злоумышляли и против полноты ее власти: заговор Гурьевых, дело Ласунского, Арсений Мациевич, казненный Мирович. И сейчас вот идет дело претендентки княжны Таракановой. Да кто они? Все бесправные.

С портретом Иоанна Антоновича, точно, деньги печатались. Здесь законны были и власть и права. А вот не ему судьба вышла, а ей. Царя ли мужицкого ей побояться?

Вот «дом свой» очистить надо бы. Дом Панины роют, — эти пострашней самозванца. Не по-ихнему вышло — не регентша из ихних рук, а самодержица. Так ведь разве угомонились?

С известным интриганом Тепловым проект состряпали о предоставлении власти совершеннолетнему Павлу.

Кто этот Павел — наследник и мало знакомый сын?

Чужда его душа ее твердому нраву и, что перед собою таить, неприятна. А связи той, несказуемой, что у матери с сыном бывает, у них нету вовсе, ни даже крепкой привычки.

Видывала его, как рос он при тетушке Елизавете, всего один раз в неделю, и то ненадолго. Без воли ее и дозора Павла кутали до удушья, баловали, глупили,

на четырехлетнего парик с буклями напялили, парик этот няня кропила святой водой...

Такова судьба ее — матери: при Елизавете не пускали к сыну, сейчас сына нельзя вызволить ей от Панина. Чуть заболеет Павел — а здоровья он не крепкого, — тотчас пойдут наговоры. Недавно в Лондоне брошюру издали, где уже накаркано: «Падет Павел жертвой властолюбия матери».

И наше и европейское общественное мнение за то, что Павел в безопасности, лишь пока он за Паниным. «Ну, а разве тот прекратит класть руку «между деревом и его корой»? — с досадой спросила она себя по-французски.

В день совершеннолетия Павла все ждали, что допущен он будет к правлению. Но рассудили за благо не допустить его дальше командования кирасирским полком, коего был он полковником. Даже в Совет не взяла. Допустить его... тотчас Панины его втянут в «действо».

Екатерина задумалась, взяв понюшку табаку из великолепной табакерки работы художника Бларамберга. Разрисованы были на ней те празднества с иллюминацией, что даны были в день бракосочетания цесаревича.

Екатерина опять забеспокоилась. Она вдруг вспомнила одного из удачливых самозванцев. Выходит, им тоже бывает удача...

Некий Степан из Крайны под видом лекаря прошел всю Черногорию и всенародно провозгласил себя императором Петром Третьим. Черногорцы поверили, его признали правителем. И ведь не выдали, несмотря на его деспотическое правление, а даже вступили с турками из-за него в кровопролитную войну. Степан был только недавно убит слугой-греком, подкупленным турками. Турки Степана боялись. И нам было то на руку, что боялись.

Однако вот и самозванцу бывает удача, коли выйдет судьба!

И, желая успокоить себя окончательно, дабы ночь провести отрадно, не теряя сил попусту, Екатерина взялась за переписку.

Ее переписка была громадна. При наличии курьеров и доверенных агентов при дворах переписка была лучшим способом общения, поддержки общественного мнения, его изменения в желаемом духе и направлении.

Корреспонденты Екатерины все были люди на виду, знаменитые талантами и сферой влияния.

Когда Екатерина была многострадальной великой княгиней и нелюбимой женой Петра III, ей предстояло или погибнуть, или научиться жить, скрывая вероломную и хитрую дальновидность под всем видимой жизнью каждого дня.

Оскорбления, наносимые мужем, доведшие Екатерину до ненависти к нему, упорство огромного честолюбия готовили ее к действию. Размеренная работа, твердая программа сделались необходимой школой.

В переписке с нужными людьми, кроме расчетов политики, Екатерина создавала и самое себя. Она придумала себе поведение, которое стала выполнять. Умный заказ — умное выполнение. Мало-помалу был ею создан тот образ русской царицы, в который поверили все. Образ обаятельно веселый, открытый, с проблеском гениальной непосредственности, великодушия и здорового, уравновешенного характера.

На самом же деле непосредственности не было никакой. Екатериной владел один твердый, неустанный расчет. И даже здоровья ведь не было: с детства хворость, ужасные головные боли, ныне — распухшие ноги. Но чем меньше равновесия было внутри, чем больше угрозы вокруг, тем с большей настойчивостью писала она о том, сколь все у нее благополучно, сколь в улыбательном виде идет ее «маленькое хозяйство», — так кокетливо именовала империю.

Писала она всем европейским знаменитым старухам и самой из них умной и злой, самой большой сплетнице — когда-то обожаемому Мари-Аруэ Вольтеру.

Его первого околдовала умелой лестью:

«Узнав ваши сочинения, перестала читать все другие романы. Вам обязана своими познаниями, вас предпочитаю всем на свете писателям».

С Вольтером Екатерина усвоила особливый, прехитрый и буффонадный манер. С полуслова оба лукавца понимали друг друга, и «отодвинутому» навеки Руссо был предпочтен этот иной, этот покладливый философ.

Вот что писал Екатерине Вольтер в самое худшее время турецкой войны:

«Каждое письмо, которого В. В. меня удостаиваете, вылечивает меня от лихорадки, приносимой плохими вестями. Уверяли, что ваши войска везде потерпели большой урон, что они совершенно очистили Морею и Валахию, что в вашей армии появилась чума и что за успехом последовали всевозможные неудачи. Ваше величество — мой врач. Вы вполне возвращаете мне здоровье. Я же, как только узнал настоящее положение дел, сейчас описываю всем и заставляю морщиться тех, которые недавно на меня наводили тоску».

Екатерина отлично понимала, что философ под настоящим положением подразумевает именно то, которое она хотела, чтобы знали в Европе.

Впрочем, с егозливым французским подбрыком это удостоверял и сам знаменитейший старичок:

«Уведомьте меня на милость о взятии пяти-шести городов, о пяти-шести победах, хотя бы для того только, чтобы зажать рот завистникам».

И в ответ на Вольтеров французский подбрык отвечала «матушка», помахивая платочком, дородная румяная немка в парчовой русской робе, плавая лебедью в эрмитажных залах, куртагах и маскарадах:

«Несмотря на клевету наших завистников, у нас нет ни чумы, ни болезней в лагере Румянцева».

И насчет военных потерь так утешала философа:

«Потери ничтожны, нет ни одного значительного лица, даже никакого офицера главного штаба раненого или убитого».

Убитых солдат было без счета, но солдаты были не в счет.

О победах писала с усмешкой, присвоенной всем портретам того времени, порождающей легкие ямочки. Словно обмахивалась веером и стреляла глазами, говоря:

«Если считать христиан достойными награды за убиение турок, то моя армия целиком попадает в рай».

Или после чесменского боя:

«Вода небольшого чесменского порта побагровела от крови».

В город Гамбург известной мадам Бьелке Екатерина писала иные письма, не военные. Писала о роскоши своего двора, о могуществе, щедрости и богатстве былой бесприданницы — ангальт-цербстской княжны. Ма-

дам Бьелке — старая подруга матери. Ей лестно будет похвастать мировому торговому городу, какие у нее друзья, а торговый город разносит вести до обеих Америк.

Мадам Бьелке писано про маскарады, балы и приемы. Пусть война идет с турками: с ними воюют войска, коих занятие есть воевать. «А в России все идет обыкновенным порядком. Есть провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чем. Поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся».

И только в самом конце этих парадно распущенных павлиньих хвостов промелькнет невзначай малый постскриптум, ради которого и написано-то все письмо:

«Не находите ли вы странным это сумасбродство, которое заставляет Европу всюду видеть чуму и принимать против нее меры, между тем как она только в Константинополе, где никогда и не прекращалася. Впрочем, и я взяла свои предосторожности, — всех окуривать до задушения, однако очень сомнительно, чтобы эта чума перешла через Дунай».

Чума перешла не только через Дунай, от чумы позорно бежал из Москвы сам главнокомандующий — старик Салтыков, полководец известной храбрости, от которого в свое время бегали пруссаки. Из-за чумы в Москве убит был Амвросий, из-за чумы был бунт. В общей сложности от чумы умерло около ста пятидесяти тысяч человек.

Кажется, можно было остепениться и при новой надвигавшейся беде уж не писать столь фиглярно о некоем «маркизе де Пугачев», как она его сейчас окрестила в посланье к Вольтеру.

Екатерина отодвинулась от письменного стола, подошла к жаркой печке, всей спиной прислонилась к изразцам. Ее зазнобило.

Простудилась ли, когда в опущенное окно кланялась на гулянье народу, — весна в Петербурге всегда несет с собой рюматизмы, — или зазнобило от иной причины... от страха пред словами Панина, в котором себе не хотелось признаться?

Когда разнеслась весть о появлении на Яике самозванца, она, не подавая вида тревоги, сказала тогда

впервые у нее ныне ставшее обычным: «Все это глупые казацкие гистории!»

Но Панин ответствовал, забыв всю придворную улыбательность:

«Сие не токмо казацкие гистории, ваше величество, сие опасные крестьянские волнения».

Доложили приход графини Брюс. Ее раз навсегда приказано было, не в пример прочим, проводить чрез секретные комнаты прямо в спальню. С Брюсшей связана нежная юность и все секретные увлечения.

Брюсше Екатерина показала только что спрятанный ею «указ» Пугачева. Брюсша прочла внимательно и, презрительно сморщив свой толстенький нос, сказала:

— Как дело внутреннее и домашнее сие устрашить не должно. Давно ли наш Урусов усмирил заводских малой картечью? Для этих потребоваться может картечь покрупней. Вот и все различие. Важнее немедленно хлопотать о европейском престиже, чтобы эту весть не раздули.

— Господину Вольтеру уже начато и напишется завтра, — сказала Екатерина, — а прочим, кому еще будет надо, посоветуюсь с Гришенькой.

Брюсша прикусила губы. Орловым коронованный друг ее никогда не заменял. Значит, отодвинута, как больше ненужная. Только что близкий сердцу ее зачеркнул, а сейчас и она, друг целой жизни. Нет, уж этому не бывать!

Да что откладывать? И сейчас может она доказать, сколь ревниво стоит на страже оскорбления ее власти самодержавной. Рано, рано делать из нее, П. А. Брюс, quantité négligeable. [1]

— Като́, — сказала дрогнувшим голосом Брюсша, — ты уж видала перевод Мабли «О причинах падения Греции»?

Брюсша несколько неестественно протянула царице книжку в кожаном переплете с тиснением золотом.

— Тут вот особливо примечательна выноска переводчика. Полюбопытствуй на странице сто сорок шесть... «О самодержавстве».

---

[1] Ничтожную величину *(франц.)*.

Екатерина прочла вслух и улыбнулась. Пристально глянув на Брюсшу, сказала нежданно:

— Что ж, сочинитель, я нахожу, прав! Его замечание только отнесено должно быть к правительствам деспотическим, к коим себя я нимало не причисляю. Но кто же сей автор?

— Александр Радищев.

— Ах, не тебе ли, мой друг, он писал восхищенные стихи в «Живописце»? Как мне известно, сей молодец состоит под управлением твоего мужа и под светским твоим руководством. Я оное на себе знаю и очень хвалю. Почему ж ты, мой друг, взбудоражена? Почему хочешь сочинителя подвести? Ведь я дерзостью его ничуть не задета.

Брюсша вспыхнула и, не скрывая досады, сказала:

— Ну, если ты сама, Като́, вольнодумное примечание к себе не относишь, тем паче не могу относить его я. Радищев склонен к чрезмерному увлечению Руссо, и я боюсь, как бы он, одаренный талантами, не сменил столичную жизнь на идиллию деревенской. Необходимо измыслить ему назначение, чтобы, соответствуя его склонностям, оно включало непременное пребывание в столице и приближение ко двору.

— Ах, вот оно что... — лукаво и понимающе протянула Екатерина. — Ну, я подумаю, на что будет можно его употребить. Ведь главное, чтобы он оставался в столице?

И, что-то вспомнив внезапно, уже без улыбки, глядя холодными, умными глазами, она добавила:

— Мне говорено было, что гнусный отрывок о «деревне Разоренной» принадлежит перу того же господина Радищева? Так ли?

— Мой друг, я на это не имею сведений... но может ли быть помещено что-либо гнусное в журнале Новикова? Ведь он посвятил его тебе самой!

— То-то и посвятил Новиков, — нахмурясь, сказала Екатерина, — чтобы развязаны у него были руки...

Екатерина с некоторым волнением глянула на себя в зеркало. Она то тут, то там тронула щеки заячьей лапкой с румянами.

— Ты, я вижу, Като́, в особо авантажном состоянии духа, — обрадовалась Брюсша переменить разговор, —

не буду тебе более докучать. Ждешь, видно, милого гостя?

— Гриши-фи-шеньку! — глуповато сказала Екатерина. Лицо ее распустилось, стало простым и бабьим. — Не уходи, мой друг, пока Перекусихина не доложит.

Влюбленными глазами смотрела Екатерина на миниатюру Потемкина, показывая ее Брюсше.

— Обрела в нем не только фаворита-супруга и советника. За ним — как жена за крепким мужем. И никакие самозванцы мне с ним не страшны. Что за ум, что за стать! Я, мой друг, его обожаю.

— Ах, как же Васильчиков, Като́? Ужели вовсе отставлен? — любопытством зажглась Брюсша. — С этакой красотой, мягкий нравом?..

— И той же мерою скучен, сколько пригож, — усмехнулась Екатерина. — В государственных делах — сущий профан, а в любовных, мой друг, лишен всякой имажинации... Намедни Храповицкий принес мне малую модель гидравлического пресса. Стал крутить ручкой, показал точную правильность сей машины. Работает, как часы... А я, мой друг, как рассмеюсь, — вообрази, Васильчикова вспомнила! Наплела Храповицкому невесть что в ответ на круглые глаза, которые он сделал на мой смех.

Подруги развеселились и заговорили про интимности.

— Допрашивала я Платона, мой друг, — сказала Екатерина, — на предмет философский о женщине: точно ли разнствует она от мужчины? Долго мямлил Платон, все текстами сыпал по-церковнославянскому, цитовал из Пифагора «Золотые стихи». Именовал женщину производительной Диадой, соподчиненной великой Монаде, — сиречь началу мужскому. Надоела мне эта канитель, мой друг, и я говорю: «А что бы вам, батюшка, сказать попроще? Мои философы учат — все точно ясное уму может быть и формулировано простыми словами, дитяти понятными». Он, мой друг, уязвлен стал в самолюбии, — пришпорила я его, — и как пойдет, забыл даже, с кем говорит... «Женщина, будь она превосходнейшая умом и дарами, сама собою скучает, ибо она есть окружность, внутри у нее пустота, — и в дерзости на круглой моей табакерке пример показал. — Сию скуку женщина

ложно принимает за свою чувствительность и вменяет себе в похвалу. А дело все в том, что она, как пустая, обязана чем ни на есть себя заполнять. Вот и прилепляется она к мужу, к детям или к делам. Но все сие своекорыстно. Женщина прежде всего всегда требует свою часть и награду. Там, где мужчина довлеет себе, ибо он есть Монада, женщина ищет только своего, ибо она есть Диада...» Дабы Платонову дерзость пресечь, говорю: «И что это вы цитуете, батюшка, всего охотнее в проповедях ваших — Пифагора и прочих фабульных мудрецов? Чаятельно, должны быть у вас склонности и к прочим масонским обычаям?..» Узнай, мой друг, мимоходом, так ли сие? Платону и невдомек, что я им недовольна, чай, остерегаться не станет.

Екатерина не знала, что Платон, увлекшись существом разговора, когда она его речь прервала, вмиг отрезвел и подумал: «Ах я, октопод этакий, и с кем по душе разговаривал? Ну, теперь за мной последят...»

Рассерженная Екатерина продолжала:

— Сколь дика варварская наша страна, ежели Платон, просвещенная персона, столь ничтожно про женщину думает? Ну а что думают прочие? Полагаешь, мой друг, я не ведаю, что про меня болтают? Не ведаю, сколь зазорно прозвал князь Щербатов Потемкина? Новый лейб... Знаю и про песенку, что будто сложена про Анну Иоанновну, а распевают про меня. Все знаю et je m'en fiche — по-русски — плюю. Вчера написала госпоже Бьелке: «Я презираю всех, кто осуждение обо мне имеет, не зная моей души». И точно, мой друг, чувства мои таковы. Коль по справедливости рядить, разве дела постельные для меня суть важнейшие? Мои привязанности потому изменчивы, что не амур — бог моей судьбы, а справедливая Минерва.

Брюсша умно молчала, зная, что много горечи накопилось у царицы за последнее время и надо ей высказаться.

Екатерина перешла с Брюсшей на козетку красного дерева, и за «бобиком», уставленным склянками духов и притирок, друзья углубились в интимнейшую часть разговора:

— Мне довольно, мой друг, той горькой первой любви, — сказала простым женским голосом Екате-

рина, — что посетила меня в ранней юности. Бывало, вошел Сергей Салтыков — и солнце взошло. Нет его — сердца нет, самой жизни нет. Все в нем одном — целый свет. А он-то? Знай, «валяется с кем ни на есть». — Екатерина подняла голову и высокомерно сказала по-французски: — Прилично ли той, в чьих руках вся империя, как девчонке томиться и сохнуть от сердечных скорбей? Что же сделать мне оставалось, мой друг?

— Только то, что ты сделала, дорогая Като́, — ответила тихо Брюсша.

— Да, я перестроила, перехитрила, я свершила насилие над своей нежной женской природой. Я стала поступать, как они... как мужчины. Но в то же время и работать, как самый лучший из них. Зачем же они судят меня? Какова б моя ночь ни была, чуть утро, ведь я сижу за делами. Кому фавориты мешают? Если мой избранный глуп, он в делах государства не имеет участия. Если он умен, как Потемкин, от него государству быть может только профит... Потешаются, что в случай ко мне попасть может даже Федька-печник. Но чисто вымытый Федька, скажите на милость, чем он хуже иного? Зато, мой друг, я отомстила за все наше овечье женское трусливое стадо! Знаю, что история все, все мне запишет в хулу. И Перекусихину, cette pauvre eprouveuse...[1] Но за меня свидетельствовать будет мой век и мои труды.

— А многие, спросить, брезговали «испытанием», — сказала язвительно Брюсша, — брезговали проходить через эпрувёзу-Перекусихину? Три ночи пытали на ней мужскую силу ради того, чтобы о них было доложено в соответствии.

Про себя Брюсша добавила: «А за соответствие и награда не мала — миллион и флигель-адъютантство».

Екатерина закончила свою мысль гневно, тоже по-русски:

— И после этого они судят меня... эти ко́боли!

Брюсша расхохоталась и сказала:

— Ты, вероятно, Като́, производишь это слово от немецкого Kobold. Но это простецкое и, запомни вперед, это непотребное русское слово «кобе́ль».

---

[1] Эту бедную испытательницу *(франц.)*.

Часы пробили одиннадцать. Екатерина тряхнула колокольчиком. Тотчас же камерфрау внесла ей атласный ночной халат и распустила длинные густые волосы царицы. Когда камерфрау Степанида Ивановна, любимая Екатериной за остроумный разговор, по прекрасным волосам царицы провела гребнем, она сказала:

— С гребешка искры спелые так и сыплет... мы, матушка царица, на твою женскую силу просто потрясаемся!

Екатерина рассмеялась и спросила:

— Вот после этого, Степанида Ивановна, ты скажи, можно ли всех людей под одну мерку равнять?

— Никак, матушка, невозможно. Да и недалеко ходить: почему из цельного фунта кофею тебе всего четыре чашечки делают, и пьешь ты их все на здоровье. А давеча, когда секретарю твоему такой же крепости единую дали, так он чувств лишился. Сила сердечная, выходит, разная. Недаром в писании сказано: «Одна честь солнцу, иная звездам. Да и звезда от звезды разнствует».

Екатерина и Брюсша покатывались со смеху.

— Имея в Степаниде Ивановне адвоката, вперед будем знать, где защиты искать, — сказала Екатерина. — Ну, скажи правду, много меня пересуживают?

— А кто же это он, кто пересуживать смеет? И какой суд, коли злодея на земле вовсе нетути, а есть токмо одно: сколько бесов к кому приставлено. К этому — два, а тому — легион, и всем поручено своих обуздать!

Вошла знаменитая «эпрувёза» — Перекусихина. Вошла она утицей и, как мажордом щеголяя превосходнейшим блюдом, доложила запросто, без чинов:

— Григорий Александрович, матушка.

Екатерина встала и обняла вставшую брать абшид[1] Брюсшу.

Но как ни увлечена была предстоявшим свиданием, царица деловито сказала:

— А книжку Мабли ты, Прасковья Александровна, мне оставь. Я ужо́ рассмотрю на досуге.

---

[1] Уходившую.

Когда запирала перевод Радищева в особый маленький ящичек, на губах Екатерины играла лукавая усмешка:

— Предположительно, этот лейпцигский студент мою умную Брюсшу посадил в дураках и нанес ей амурный афронт!

Екатерина, подойдя к зеркалу, обмахнула кружевным платочком лишнюю пудру с лица и приказала Перекусихиной ввести фаворита.

## *Глава седьмая*

Подходя к дому Хераскова, Радищев столкнулся с Фонвизиным.

— Ты-то, мон шер, почему запоздал? — крикнул Фонвизин, выказывая из плаща свое полное коротконосое лицо. — Я, братец, понятно, что мог проспать; вообрази, всю ночь, как юноша, протаскался по городу. Вернулся лишь в полдни, ну и залег.

Фонвизин только на пять лет был старше Радищева, но последний в ответ на ты говорил ему — вы.

За Фонвизиным был уже «Бригадир», читанный им в петербургских высших кругах и в петергофском дворце самой царице, весьма его одобрившей. И на придворном театре был игран с немалым успехом. Фонвизин «Бригадиром» свел на нет переделку своего начальника Елагина. Она имела доселе успех и шла под титлом «Француз-русский». В этой пьесе, как у Фонвизина, осмеивалось неумное галломанство.

Может быть, эта театральная победа и была причиной того, что под влиянием злоречивого В. Лукина, исконного врага Фонвизина и сослуживца у Елагина, не сей вельможа был первый, кто дал ход «Бригадиру».

Сейчас Фонвизин, отошед от Елагина, всей душой сделался предан Никите Панину. Он состоял у него секретарем, был при нем неотлучно и в полном фаворе.

Фонвизин значительно успокоился. Если пылкость ума осталась при нем, то свое природное уничтожающее остроумие он умел обуздать. Довольно оно ему породило врагов.

Сегодня при характеристике Дениса Ивановича пользовались только былыми примерами. Новых публично известных поводов он не давал. Но все же его побаивались.

Вспоминали, например, как к нему разлетелся Хвостов, называя его кумом муз. Денис Иванович незамедлительно его срезал, сказав с добродушием:

— Только, наверное, покумился я с музами не на крестинах автора.

Не всякий умел ответить, как нашелся однажды Княжнин, когда поддет был Фонвизиным при чтении своего Росслава.

— Я росс! Я росс! — Чрезмерно много и назойливо, показалось Денису Ивановичу, восклицает герой пьесы. Он и брякни Княжнину:

— Пора б ему, братец, перестать расти!

— Мой Росслав вырастет, когда твоего, Денис Иванович, Бригадира произведут в генералы.

— Почему же без сна была ваша ночь, Денис Иванович, и кто именно вас посетил: музы или Бахус? — спросил Радищев.

— Вообрази, Александр, никто. Не спал же я, братец, сейчас скажу почему. Неровён час, скоро сам попадешь в мое положение. Ну, слушай правдивую исповедь. Укроемся на время в извозном камине.

По случаю особо холодной зимы Екатерина приказала во множестве выстроить в городе уличные «камины для кучеров». Сейчас, в весеннее время, здесь под навесом укрывались нежные парочки, дабы выцарапать на столбах вензеля, интересные во всем мире только для них самих...

— Я сделал вчерась брачное предложение вдове Хлопковой, — сказал Денис Иванович, — да от расстройства сердечного всю ночь и пробегал.

— Как? Вы женитесь не на Александре Ивановне Приклонской? — изумился Радищев. — Ведь на днях только вы мне говорили о ней как о женщине «пленяющего ума». Ведь и на переводе вашем «Сидней и Силли» своими глазами я видел, как вами написано: «Ты одна всю вселенную для меня составляешь».

— К Александре Ивановне поклонение мое неизменно до гробовой доски, — торжественно сказал Денис

Иванович, — но жизнь высших человеческих чувств есть одно, а удовлетворение тех, кои обычно трактуются как низшие, — совсем иное. Страсть моя к Александре Ивановне основана на почтении и не зависит нимало от различия полов. Что поделаешь, милый друг, если женщины или умны, или красивы? Соединение того и другого — редчайшая удача, белая ворона или чудо из чудес — Аннет Рубановская!

Радищев, который было рассердился, что Фонвизин его еще задержал, при лестной аттестации Аннет стал примерней внимать взволнованной речи спутника.

— Друг мой, сколь много я думал о двойце нашей природы. Приходится нам, вздыхая о единстве, сию двойцу, увы, принять в свою жизнь. Если не утешение, то хоть некое оправдание дают нам, грешным, иные примеры великих людей, хотя бы Аллигиери Данте или, сказать, — Марк Аврелий.

— Вы не обмолвились, Денис Иванович? — удивился Радищев. — Ведь оба именно знамениты особливой стойкостью их натур. Великий однолюбец Данте...

— То-то, любезный, что однолюб сей двоился! Ты вдумайся только: ну, мог ли он мечты не двоить, коль скоро небесная Беатрис его песен и толстая итальянка, всенепременно грязная, как бывают женщины на юге при многодетности и неважных достатках, — одно и то же лицо? У сей Беатрисы имелось детей близко к дюжине от обыкновенного мужа из ихних, што ль, приказных... Да, любезнейший Александр, горе обладателю ума сатирического, коего вкус направлен смотреть на предметы земные не с луны, а с земли!

— А Марк Аврелий? — беря сатирика под руку, чтобы скорей шествовать далее, спросил Радищев.

— Я пишу ему «Похвальное слово», — воскликнул Фонвизин, — это ль не знак особого почитания? Но, скажи мне, как изъяснить без приложения моей «двойцы», почему кротчайший сей стоик сурово преследовал христиан? Учение Марка Аврелия прилегает столь тесно к учению Христову, что цитуют его богословы всех вер. Форма, друг Александр, опрощенная, суеверная форма его же собственной философии, полагать надо, вывела его из себя до предела. До отдания единомыслящих на растерзание львам!..

Однако мы уж у дома Херасковых. Александра Ивановна, полагаю я, там. Высокого полета душа, она все может понять и простить. Но сколь затруднительно мне ей сказать о моем сватовстве!

Салон Херасковой держался на своем высоком просвещенном радушии в одинаковой мере благодаря хозяину дома, уже знаменитому Михайле Матвеевичу, и жене его, российской де ля Сюзе — Елизавете Васильевне.

Мать Михайлы Матвеевича, знаменитая красавица, воспетая Сумароковым, не оставила своих черт сыну в наследство. Лицо Хераскова поражало своей некрасивостью. Кто-то в Петербурге сострил, что если обмять лицо строителя Кваренги, чудовищно грузное, или извлечь из него радикс, то будет Херасков.

Нижняя часть лица поэта выдавалась грубо вперед, на щеке была бородавка, нос толст, неизящно слеплен. Но добрейшие глаза и улыбка излучали столь неподдельное благоволение, что лицо Хераскова даже нравилось и запоминалось, как своеобычное.

Удивительная гармония, царившая в его отношениях с женой, сделала салон их любимым юностью. Радушие хозяев было благоприятно развитию молодых дарований. Каждому как бы прибавлялось ему недостающее, и каждый был сам собой здесь доволен, не замечая, что сие состояние есть плод чудесной доброжелательности обоих хозяев.

«У Херасковых расцветают!» — полунасмешливо, не без зависти говорили хозяйки менее удачных салонов.

Кто раз к Херасковым попадал, уже не пропускал сборных дней. Ходили туда, как ходит кадет из сухопутного шляхетного корпуса на волю домой. Салон Херасковых, кроме улыбки муз, дарил посетителей умудряющей философией добродетели.

Сегодня у Херасковых был день женского торжества. Михайло Матвеевич, занятый «Россиадой», близок был к окончанию песни, но читать предполагал только в следующий раз. Он сидел как простой зритель в среде молодых, всех одаряя улыбками.

Когда Радищев и Фонвизин вошли, окончились только что bouts rimés, в русском произношении «буримэ», игра упражнений в стихотворстве, и молодежь

перешла в большой зал, чтобы поразмять свои ноги в беготне.

В центре комнаты, под люстрой, стояла милая Аннет с глазами, завязанными, как для игры в жмурки, прозрачным шелковым газом. В руках у нее был венок из лавров.

Радищев с гордостью подумал, что из всех женщин Фонвизин отметил столь превосходно одну лишь Аннет.

Хор, взявшись за руки, ходил вокруг ее тонкой фигуры и протяжно пел:

Срываю я цветочек
И в мыслях говорю...

Аннет солировала в ответ «чудесной горлинкой», как шепнул Фонвизин, действительно легким, радостным голосом:

Кому сплету веночек,
Кого им одарю?

Голос Аннет дрогнул от волнения. Хоть и завязаны были ее глаза, но сквозь шелковую дымку она хитро увидала, что Фонвизин и Радищев вошли.

Фонвизин ловко подтолкнул Радищева в безмолвно пред ним разомкнувшийся круг. Впустив его, как «мышку», круг плотно закрылся.

Две миловидные дамы пригнули голову Радищева так, что она оказалась под руками Аннет.

И ничего другого для Аннет не оставалось, как возложить на голову Радищева лавровый венок.

Кого им о-да-рю...

Повязку сняли. Аннет, премило краснея, изобразила притворное удивление. Все плескали в ладоши, не выпуская пары из круга. Темп пения был ускорен до сходства с плясовой.

Маменька Аннет, сидевшая в соседнем салоне за ломбером с почтенными из гостей, приложив к глазам лорнет, рассматривала выбранного дочкой дружка.

Когда она увидела, что то был Радищев, неудовольствие проступило в ее чертах. Она тотчас решила, выдержав контенанс,[1] дать Аннет спеть и уехать домой из-за

[1] Приличие *(франц.)*.

внезапного нездоровья. Пойдут танцы, шэн[1] в темных комнатах... а кавалер-то не ко двору.

За трельяжем, за густым дремучим плющом, как в лесу, укрылись Аннет и Радищев. То тут, то там на старой листве плюща уже были яркозеленые молодые листки.

У Радищева билось сердце. Оказалось очень трудно сказать Аннет то, что хотелось. Он открутил бедный зеленый листок и хотел выехать было на нем, сплетя аллегорию изъяснения своих чувств. Его, дескать, омраченное опытом сердце расцвело ныне опять зеленой свежестью милой Аннет. Аллегория застряла в горле, листок растерзанный свалился на пол. Аннет тоже молчала.

— Дары наших муз! — объявил некто открытие вечера.

Елизавета Васильевна, слегка конфузясь, возведена была рукою Михайлы Матвеевича на просторную ступень, покрытую ковром. Она стояла, обмахиваясь веером, и, как богиня с пьедестала, давала барышням какие-то последние распоряжения.

Аннет и Радищев сквозь просветы трельяжа с маленького своего канапе, где сидели рядком, видали то ненапудренный русый локон Херасковой, то ее руку с веером.

В городе сплетницы говорили, что за Елизавету Васильевну стихи пишет ее муж. В подкрепление злословью приводили насмешливый отзыв В. Майкова:

— Щегольская барынька, где ей писать? Муж пишет, жена пишет, — ну, а штей же кому сварить?

Но здесь, в кругу друзей, все знали, что у Елизаветы Васильевны есть своя собственная скромная, милая муза, вполне соответствующая ее спокойному облику. Хераскова, нимало не ломаясь, стала говорить свои стихи:

Будь, душа, всегда покойна,
Не стремясь за суетой.
Частью я своей довольна,
Не гонюся за другой.
Век течет мой без напасти,
Не терзают душу страсти...

О чистое женское начало, таящее в себе самом силу!.. И Радищев стал в волнении теребить «Полезное увеселе-

[1] Цепь (в танцах) *(франц.)*.

ние», лежавшее перед ним на столе. Вдруг он вспыхнул. Он увидел строку, выражавшую его мысли лучше, чем он сейчас мог выразить сам. Он указал строку Аннет, и оба, склонившись головами над «второй Юнговой ночью», вместе прочли:

— «Ни время, ни смерть не могут одолеть любовь».

Радищев поднял голову тогда же, как Аннет, глядел ей в глаза и скороговоркой, как бы опасаясь, что пройдет вот эта минута и он подобного уж не скажет, проговорил быстро:

— ...мою к вам!

Аннет сразу не поняла. Нагнулась еще раз и прочла Юнгову фразу с прибавкой слов Радищева. Выходило:

«Ни время, ни смерть не могут одолеть любовь... мою к вам!»

Аннет вся просияла. И покраснев, так же быстро, такой же скороговоркой ответила:

— А ведь я вас, Александр, уж давно...

Из-за трельяжа показался чепец с лентами, седые букли, лорнет, приставленный к строгим глазам. Мать Аннет жестким голосом брюзгливо сказала:

— Тебе, мой друг, черед петь. И тотчас мы едем домой. У меня разыгралась подагра.

— Непременно поедем, maman, непременно! — с таким восторгом сказала Аннет, что мать, изумясь, отступила. Она ожидала совершенно иного и была сбита с своих наблюдений.

«Ежели б Аннет была влюблена, разве могла бы так покорствовать? Да я б своей маменьке в ее годы ответила... попробуй она оторвать меня от предмета!»

Радищеву, как и Аннет, всего больше сейчас захотелось домой. Оба они были, как сосуды, до краев полны счастьем. И было страшно расплескать это счастье. Какие ж еще слова могут быть милее:

«А ведь я вас, Александр, уж давно...»

Елизавета Васильевна заиграла пасторальный аккомпанемент, Аннет, до боли зажав пальцами правой руки пальцы левой, запела идиллию госпожи Дезульер, положенную на ноты ее учителем-итальянцем:

Овечки, вы всегда благополучны,
Не зная бедствия, пасетесь на лугах,
И в самой вы любви с покоем неразлучны,

Вы жизнь свою ведете не в слезах.
Желанья тщетные сердец не сокрушают,
Согласна в вас с природою любовь,
И в вас она, вспаляя кровь,
Утехи никогда с мученьем не мешает.

Вслед за Аннет хотел выбежать и Радищев, но Михайло Матвеевич перехватил его на пути и, непривычно строго глядя в глаза, понизив голос, сказал:

— Имеем к вам, сударь, большой сепаратный разговор, Николай Иванович Новиков и я. Обязательно будьте в четверг, и прямо прошу в кабинет.

Уходя как во сне, в одной из гостиных приметил Радищев Приклонскую Александру Ивановну. Сухая, высокая, сидя на бархатном кресле, она слушала Фонвизина. С лицом некрасивым, но исполненным благородства, отвечала она на его суетливую речь.

Денис Иванович был в волненье, то вставал, то садился, обронил на пол альбомы. Больше, чем обычно, поражало его толстое лицо своим несоответствием черт: умнейший лоб и щеки нарочно надутого, плохо нарисованного купидона.

«Нет, не выйти ему из этой двойцы, — мелькнуло у Радищева. — И сколь счастлив я, что благодаря милой Аннет перетянулся к единице».

Согласна в нас с природою любовь...

«О вы, навеки мне любезные «Овечки» мадам Дезульер!»

Когда Радищев пришел домой, Кутузова все еще не было.

Слуга, несколько смутясь, доложил, что пришел давно и дремлет в прихожей человек почтенных лет. Не объявляется, кто таков. Говорит, по самоважному делу...

— Быть может, от батюшки из Облязова... — И Радищев приказал привести человека к нему в комнату.

Едва тот вошел, как повалился Радищеву в ноги.

— Середович! Какими судьбами? — воскликнул Радищев, подымая старого знакомца и обнимаясь с ним дружески. — Что это ты, братец, в купцы записался?

Был Середович в бороде, длинных волосах, долгополом кафтане. В руках держал он немалый узел, который ни на минуту не отпускал, так с ним и бухался в ноги.

— Драгоценности, видать... — усмехнулся Радищев. — Ну, повествуй, где запропастился? Как о смерти Мишеньки написал, ровно в воду канул. Давно из Москвы?

Мишенька с дядькой, не задерживаясь в Петербурге, проехал прямо к родным в подмосковное имение. Несмотря на карантин и уже затихшую чуму, страшную эту болезнь он схватил и умер. Еще в письме упоминал о себе Середович, что на волю он выкупился и торговлишкой занялся.

— Ну, как ты в Москве расторговался?

Середович заерзал бородой и опять было повалился в ноги, но Радищев удержал:

— Я, братец, тебе не икона, садись и говори всю правду, что с тобой приключилось?

— Про Москву-то, батюшка Александр Николаевич, сущая ведь брехня! — признался Середович. — Только на первых порах под ей и стояли, пока Мишенька, царство небесное, не преставился. Слезами я изошел...

— Ну а дальше что?

— А дальше, батюшка мой, жил я выкупленный, а хуже чем раб последний, тут вот у вас под бочком, на Васильевском. К вам на глаза явиться я не мог... Видывал-то я вас с Алексисушкой не однажды, да беда, окликнуть не смел. Таков был приказ от моего окаянного! А Лизка-то, Мишенькина немка, о его смерти узнав, ведь в воду кинулась на том месте, где в реке чуму ихнюю, «шварцу танту», гулящие бабы топили. Минна мне писала, письмо человек перевел... Мы, говорит, оба-два с Мишенькой тогда с хохоточками, а надо б богу молиться. Там была ее чумная сила, она Мишеньку и отметила. Вот и гулящая та Лизка, а сердцем не вредна.

— Постой, обожди, Середович, — остановил Радищев, с жалостью слушая старика. — Ты по порядку, а то не понять. Прежде всего, кто это твой «окаянный», что у нас бывать запрещает?

Середович поводил бородой, глаза испуганно бегали:

— Как кто? Да Мориска тот... парикмахер. — Середович перекрестился и добавил шепотом: — Ей-ей, он антихрист. Убежал я, потому он в отъезде. Дай, думаю, хоть погляжу вас с Алексисушкой — ведь други Мишины... Плюнули б вы мне, барин, в морду, удостоверили б

хоша, что был я истинно крепостной ушаковской человек. Себя я не чую — лист вроде жухлый, с панталыку сбит. То ли жив я, то ли в смертных хожу. Плюнули б, право...

— Да что Морис этот тебя... истязает? Коли вольный, чего не уйдешь? Непонятно, брат.

— А мне, што ли, понятно? — вопросом ответил Середович. — И жаловаться вроде не на что, а сдохнуть можно вполне. Жрать, например, дает сколько хочешь, а все вроде не сыт. Стол у нас — все травяное, неспорое. Заместо квашеной капусты — салата. Сам его жрет, ровно лошадь, — так ведь его природа не наша, ему способно... — Водки — ни-ни. А вино ихнее меня не берет, ну хоть бочку! Лучше б выпорол когда, да водки дал.

— Да почему, повторяю, тебе не уйти, коли вольный?

— Да вольную он только в воздухе показал, к себе в ящик спрятал. Когда сам в разъездах, другие черти, его подручные, стерегут.

— Да живешь где? Дом, улица?

— Ишь ты, чего захотел! Да это самое он вó как запретил! Лапы свои расчерепит, на плечи положит, буркала выпучит, как заорет: «Не парлѐ, Базилий, не парлѐ!» Базилью кличет меня, ровно суку! И не хочешь, а как вкрутится в тебя бельмами — всю душу ему распояшешь.

Радищев растерялся. Очевидно, загадочный Морис находился здесь. Что он делает? Как добиться толку от Середовича?

— Слушай, приходи завтра. Алексис будет дома. Твой еще не приедет?

— В Могилев уехавши. А подручный с красного вина пьян. Приду беспременно, — кивнул Середович. — Барин, кормилец, Александр Николаевич, — просительно сказал он, — христа ради, изъясните, поедут ли Алексисушка за границу?

Середович встал, прижал к себе узел, затаился не дыша.

— Ну, это твердо могу сказать — не поедет вовсе. Алексис с прошлого года ведь в армии. Отличился в корпусе князя Долгорукова. Разбивал турок под Кирасу.

Ныне он здесь в кратковременном отпуску. Да что ты, Середович? — нагнулся Радищев к старику, который в заметном расстройстве, низко кланяясь, стал ретироваться к дверям.

— Недосуг мне! Подручный-то его отрезвится... Ужо́ завтра урвусь.

— Обожди, Середович, — еще раз попытался Радищев. — Почему Морис антихрист? Знаменье какое было тебе? Или какое поведение его особое?

— То-то что поведенье... — Середович оглянулся и прошептал: — Оборачивается он! То куафером главным у Елагина, всем очки втер, то вдруг в шелках, в орденах во дворец едет, к самой к фаворитовой персоне...

— А не врешь ты, Середович? Не с пьяных глаз?

— Когда б пьяному быть! — с чувством невозвратимой утраты сказал Середович. — Ныне вся моя судьба через то, может, и выйдет, что мы к персоне поехали. С казаком ведь я во дворце познакомился. Поджидал с шубой Мориску-то...

— С каким казаком?

Середович испугался, что проговорился, опять бухнул в ноги:

— Будьте здоровы, сударь, ужо́ выберусь, все скажу...

— Водки дадим, Середович, отведешь душу. Обязательно, завтра ж приди.

— Завтра, батюшка, премного благодарны вам.

Середович, выйдя на улицу, как человек, боящийся погони, почти бежал вдоль заборов, то и дело озираясь назад. Он держал путь к Ямской слободе, где небольшими группами остались жить казаки еще с семьдесят первого года.

С сотником Кирпичниковым во главе, депутаты «непослушной» стороны яицкого казацкого войска, снабженные от своих «верующим письмом», ходили Екатерине подавать челобитную на притеснения от чиновников.

С большими мытарствами прошение подать удалось. Но Военная комиссия через полицию дала приказ «изыскивать» казаков и на квартирах их не держать, «яко сущих злодеев». Шестерых поймали, обрили,

высекли плетьми и отправили во вторую армию против турок.

Однако новые казаки приходили с Яика и тайно селились все в той же Ямской слободе. Были у них во дворце кумовья в лейб-казаках. О делах государственных и придворных они осведомляли земляков не хуже, чем барон Гримм царицу о делах европейских.

С тех пор как разнеслась весть о самозванце, сношения между Ямской слободой и дворцом наладились посерьезней.

Середович бродил по задворкам, ища нужного дома. Он был огорчен и почти что плакал. Радищеву главной правды он не сказал: он приходил в самый последний раз — прощаться. Ему внезапно стало страшно от одного принятого решения, и надежда, что — неровен час — Алексис или Радищев едут снова в Германию, поманила его как самый желанный выход.

Но друзья не ехали. Оставался Середовичу один выход — яицкий человек Арефий. Середович удрал из дому, воспользовавшись минутой, когда «антихрист» его Мориска, он же маркиз де Муши, по специальным делам своего ордена должен был несколько дней провести в Могилеве, а доверенное лицо, некий Пьер Жоли, «подручный черт», напился.

Те самые тонкие вина, которые Середовичу были что квас, уложили Жоли.

«Похлипче нас эти французы», — думал Середович, выбирая из кармана Жоли ключ от тайного шкафчика, где, он знал, Морисом была спрятана его вольная.

Заодно с своей вольной Середович прихватил бриллианты и деньги Морисовы. На всякий случай, — не обернуться б им в навоз, — перекрестил их образком, покропил святою водой — ничего, не рассыпались.

Духов хороших у Мориса забрал — для французского обращения пригодятся. Две-три французские книжки с картинками похабного содержания.

Вот все это, вместе с одежонкой, и было в узле, с которым подошел он, наконец, к нужным воротам.

В одном из окошек домика внутренний ставень был неплотно прикрыт, и за ним теплился дрожащий огонь ночника. Середович постучал в ставень условным стуком. Донец, молодой и красивый, открыл двери.

Казак был в своей нарядной одежде: синий кафтан с польскими косыми рукавами, связанными на спине. Волосы носил коротко стриженные и холеные усы.

— Заждался тебя, — сказал недовольно казак, — мне спозаранку дежурить...

— Неужто Арефия еще нет? — прошептал Середович, оглядывая камору.

— А по-твоему, на всякий стук ему голову выставлять? Этак и без головы оказаться недолго.

Казак задвинул крепкий засов у дверей, притиснул ставень и, зайдя за огромную печь, открыл потайный лаз. Оттуда вышел рябоватый немолодой человек.

Не разобрать, что на нем было надето: одежда сливалась покраской с закопченной стеной, когда, приткнувшись на лавку, он к ней привалился небольшой седоватой головой.

После Морисовых наскоков, его черных горящих глаз человек этот понравился Середовичу. Был он не то что тихий, а притушенный. Так неостывшие угли в жаровне приглушат крышкой — они темны, а чуть дунуть — раскал и пыланье. Сила была в человеке, а разговора особого не было. Глаза были такие, что ровно их нет. Не колючи, как Морисовы сверла. Глаза, конечно, были, но взгляда не было. Потухшие, как весь человек, и больше вниз смотрели, как у начетчика. Звали рябоватого Арефий, был он прямо с Яика. С ним познакомил Середовича лейб-казак царицыной свиты Смоляков.

— Хвалит людей за аккуратность наш Надёжа, — сказал тихо Арефий, — ты это вперед запомни! У него когда сказано, тогда сделано. Еще, слыхать, хвастал ты, по-немецкому можешь? Нам, колонистам, язык нужен. Образованные нам нужны...

— Мы что ж... мы, конечно, не совсем лыком шиты, — сказал тоже севший на лавку с узлом Середович, — мы за границей бывали, в Лепцигове в городе. — Он вдруг распетушился и выставил грудь: — По-немецкому мы способны!

— А ну, доказывай, — уронил Арефий.

Середович набрал воздуху и одним махом выдохнул свою стародавнюю немецкую науку:

Катринхен, мейн либхен, вас костет пар шу?
Ейн талер цвей грошен унд кюссе дацу!

— Ишь, как чешет-то! — позавидовал лейб-казак. — И ведь это в точности по-немецкому. По-французскому более пережуркивать надо. Вроде водку из горлышка лить.

— В немецком силен — у колонистов пребудешь, — утвердил яицкий. — Ну, а каков ты, скажем, боец? Потому в листе его царском сказано... — Арефий закрыл веками тусклые глаза и наизусть, как дьячок, забубнил: «И мне служить кто будет, не щадя живота своего и души своя, принося на жертву и неприятелям моим супротивляясь, к пролитию крови при мне в готовности быть...»

Арефий поднял веки, впервой глянул остро в глаза Середовичу, тому Мориска вспомнился, только без крика: «Не парлè, Базилий!»

— Каков ты боец? В бой пойдешь?

— Почему ж не ходить, — равнодушием скрыв смущение, сказал Середович. — Обучат стрелять, так пойду.

— А врагам императора нашего мирволить не станешь? Не все же тебе по-немецкому фигурять! Когда и на сук кого вздернуть потребуется. Понимаешь — казнить?

— У нас в Лепцигове это дело звалось: «предать смертной казни через отсечение головы мечом». Видывали мы! — Середович сказал с таким пренебрежением, что придворный казак наполнился боязным уважением, а яицкий решил про себя: «Быть дураку у нас в палачах».

Особых, военных вопросов больше Арефий Середовичу не задавал. Стали пить водку. Смоляков принес стаканы, соленые огурцы. Молча всем наливал. Середович блаженствовал и пьянел.

— Опрокидывайте без меня, — сказал Смоляков, — мне обязательно во дворец. Хоть ребята на страже, не выдадут, а все может выйти проруха. Под утро вас божья старушка выпустит. На печи она. Глуховата, да верная. Ну, давай, што ль, письмо?

Яицкий достал из-за пазухи тряпицу, вынул серый конверт с пятью красными печатями, на коих вытиснена принадлежность — «графа Ивана Чернышева печать». Он торжественно, как в большом выходе дьякон евангелие, подняв пакет обеими руками, с приложением ко лбу, вручил Смолякову и сказал приказательно:

— В проходном покое перед царицыным ходом подбросишь. Беспременно, чтобы ей прочитать.

На конверте стояло:

«Супруге нашей отставленной, Катерине Лексеевне, в собственные руки».

Смоляков вышел. Середович потянулся было к фляге еще налить чарочку, но Арефий без разговоров взял из рук его водку и запрятал в свой походный мешок:

— Выпьем ужо, как отъедем от города. — И обидно добавил: — А ты на водку слабый, видать. С пустяков охмелел.

— Единственно с отвычки... — сконфуженно бормотал Середович. — Я, братец мой, пить — орел! А с поста и дьякон у нас сто яиц съел, так объелся...

Арефий приложил глаза к ставенному вырезу — нет, еще не светало. Он опять порылся за пазухой, вынул пугачевский лист.

— Слушай пока, поучайся!

Арефий, близко держа к себе лист, при свете ночника стал вполголоса читать грамоту Пугачева на церковный манер.

Середович всхлипнул. Водка его разбирала, и было чувствительно. Когда Арефий заканчивал нараспев, словно акафист Иисусу сладчайшему в первую неделю поста, то плакал Середович уже в три ручья.

Арефий выводил голосом тонким, хотя в обиходе был у него бас:

— «Заблудившие, изнурительные, в печале находящиеся, по мне скучившиеся, услыша мое имя, ко мне идти, у меня в подданстве и под моим повелением быть желающие!»

Наконец рассвело. Старушка божья и впрямь выползла. Без единого слова выпустила Арефия с мешком и Середовича с узлом. Они прошли верст пять за город. У корчмы ждал их парень с телегой.

Оба, усевшись в мягкое духовитое сено, прежде всего прикончили флягу. Середович тотчас захрапел. А когда протрезвился, уже были далеко, кругом лес и лес...

Середовичу стало вдруг боязно, и в мысль вошло — не сбежать ли, пока цел? Ведь этот ихний Петр Федорович, «анпиратор», — неровен час, — в самозванных пойдет?

Но вдали опять зачернела корчма. Арефий с парнем песню запели. Мысли приняли новый ход:

«Пусть и самозванный он... а все свой. Православный».

И, непонятно для спутников, заключил вслух Середович:

— А православным антихристу быть нельзя!

Казак Смоляков, когда подошел ему час идти на дежурство во дворец, надел парадную форму и прицепил по артикулу на свою шапку белый бант. Он неслышно прошагнул по паркету дворца в зеркальную проходную из покоев царицыных в залу. Обронил на середку серый пакет печатями кверху, чтобы повидней. Никем не замеченный, Смоляков стал на свой пост и стоял как статуй. Глаза выкатил, почитай не дышал.

Екатерина шла плавно с Потемкиным в аудиенц-залу. Приметив пакет, недовольно промолвила:

— Подметный лист!

Однако прочла, не моргнув, дала прочесть и Потемкину.

И сказала императрица:

— У нас, полагать надо, довольно найдется картечи?

Содержание письма, адресованного в «собственные руки», было таково:

«На литии поминать о здравии его императорского величества сицевым образом: Благочестивейшего, Самодержавнейшего, великого государя, императора Петра Федоровича и супругу его благоверную государыню императрицу Устинью Петровну и наследника его благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича...»

Через несколько дней дан был высочайший указ о сожжении всех воровских подметных листов, не читая и не объявляя народу содержания оных.

## *Глава восьмая*

Фонвизин был в ажитации. Он тяжело ходил по кабинету. Подбрасывая носом, рыл воздух и фыркал. Он совсем еще был молод, а уже при волнении покалывало сердце, и хотелось, открыв настежь окно, по-рыбьи расширить крупный рот и дышать глубоко.

«Скупо надлежит вам, сударь, жить. Скупо — в рассуждении вина и душевных волнений. Сердечко-то у вас не ахти!»

— Не ведомо, што ли, эскулапу, что в сей придворной клоаке износится вмиг и железное, не токмо что слабое человеческое сердце?

Только что был секретный разговор с Никитой Иванычем Паниным. Начальник перед Денисом без утайки. На возвращенье в повторный случай Сергея Васильчикова, столь дружественного пропозициям[1] «малого двора», надежды уж нет.

Тайным письмом императрицы вызванный из турецкой армии Потемкин пожалован ныне генерал-адъютантом.

Генерал-адъютант — особливое звание. Оно обозначает фавор.

От князя Щербатова для негласного обращения выдавался на сей случай титул иной — крепкого русского обозначения.

Остановившись на миг у конторки, Фонвизин дописал письмо Петру Панину, брату Никиты Ивановича. Скрепил печатью горькие мысли.

«Здесь, у двора, примечательно только то, что г. Васильчиков, фаворит, выслан из дворца и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником».

Денис Иванович опять зашагал по комнате, пофыркивал носом, высоко держа голову с лицом обиженного купидона, посаженную на короткую толстую шею.

И подумать только: с этим вот Потемкиным вместе учились. Директор И. И. Мелиссино выбрал с собой в Петербург из десяти лучших воспитанников гимназии при Московском университете Потемкина, Фонвизина и Я. Булгакова. Юноши представлены были куратору. Дениса куратор подвел к Ломоносову...

Ныне вся власть взята Григорием Вторым, — так в дружеской беседе титулован был фаворит, — взята и за ним останется. «Пока он ищет в Никите Панине против Орлова и чтобы смягчена была к нему ненависть от цесаревича — сказала как-то графиня Румянцева, —

---

[1] Предложениям *(франц.)*.

но стукнет час, и он отбоярит кого ни на есть». Истинно сказала: он жаден, когтист, говорят, влез уже во все дела. В раздачу вновь завоеванных земель и в очередную порку мундшенка. Всех и все зажмет в свой кулак!

Никита Панин хотел ограничить самодержавную власть Екатерины в пользу дворянства. Не успев помешать воцарению Екатерины, он составил с Тепловым проект об учреждении Императорского совета с сокровенной целью ограничить ее власть по шведским олигархическим образцам.

Недавно вторично, при совершеннолетии наследника, вместе с австрийским послом Сальдерном и женой Павла Натальей Алексеевной построили иной проект с цесаревичем во главе. Конституцию обещал Павел. И струсил несчастный, кинулся в ноги матери, все выболтал...

Можно ль полагаться на него после подобного? А Никита Иванович еще таит надежды и вновь твердит: «одна самовластвует, а он под спудом, — то ли было бы при перемене мест?»

То же самое, если не худшее...

Чего стоит одна «записка» собственного измышления цесаревича на предмет «рассуждения о государстве вообще»!

Записка обнаружила не качества государственного ума будущего императора, а прирожденного берейтора, пригодного только к дрессированию лошадей.

«Предписать надо всем, начиная от фельдмаршала и кончая рядовым, все то, что им должно делать, тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено».

Какая напряженность при дворе!.. Екатерина не верит Павлу, он — ей. И безумные его выходки в гневе. Намедни, в любимом своем блюде вареных сосисок найдя кусочек стекла, кинулся в покои царицы, кричал, что его замышляют убить. На малоумка надеется Панин...

Вошел слуга, доложил о Радищеве. Александру Фонвизин был рад. Сегодня так трудно носить светскую личину, а с ним можно жить без хитрости. Александр даже родня. Сестра Федосья Ивановна замужем за Васильем Алексеевичем Аргамаковым, и Радищева мать —

Аргамакова. Кроме того, что в одном семейном кругу вращались, нравился Радищев и сам по себе.

Самому Фонвизину таким вот быть надлежало, если бы не пошел на попятный... Оскалился крутой сатирой, да тут же и сробел. Как старший брат с малодушной биографией, гордился он этим младшим, его благороднейшей прямотой.

Пошел навстречу Александру, раскрыв объятия коротеньких рук, прижал его нежно к обтянутому под камзолом брюшку.

— Рад тебе, Александр, истинно рад!

Радищев принес с собой весенний воздух, как человек, долго гулявший пешком. Он исходил весь свой любимый Петровский остров с первой зеленью сквозистых берез и слаборозовой перелеской, кое-где белевшей крупными звездами на несмятых лугах.

Но лицо Радищева было хмуро. Его до конца очерченные дугообразные брови, несколько высоко поднятые над большими глазами, известными своей красотой, чернели угрожающе.

— Неприятность с Аннет? — догадался Фонвизин настолько деликатным тоном, что лишен был он всякой подчеркнутой женской пытливости. — Верно, мать заартачилась?

— Нет, согласье мы вырвали, назад ей нельзя. Но пытает Аннет укорами: жених не знатен и не богат! Откуда-то дозналась, что за мой перевод Мабли, коим столь гордится Аннет, получена скромная сумма — сорок один рубль.

— Ведь ей мечталось, старой дуре, кого-либо из царицыных отставных лейб... своей дочке сосватать! — рассердился Фонвизин. — Ну, это точно, — со средствами женихи. Добывали хоть не головой, как твоя милость, но зато крупными суммами. Вообрази: Орлову отступного дано десять тысяч душ, да сто пятьдесят тысяч ежегодной пенсии за былые труды, да сто тысяч на обзаведение дома. Все за то, что казенной квартиры ныне лишен. Впрочем, сервизы, мебель и прочее из оставленных покоев при нем, равно и право носить слугам дворцовую ливрею. — Фонвизин распалился: — Я намедни сестре написал и тебе, Александр, повторяю: развращенность здешняя имени не имеет! Ни в каком скаредном приказе

нет таких стряпческих дрязг, какие у нашего двора ежеминутно происходят. «Наказ» давным-давно положен под сукно, у самой одно легкомыслие и сплошной амурдон... Дивно мне, как мог почтенный Новиков за ее комедию «О, время!» посвятить ей «Живописца»?

Круглое лицо Фонвизина вытянулось, самый носик его, в профиль вырезанный как полумесяц, вдруг обвис. Станом же выше, чем был, скорбен и строг. И до того похож на совершенно ему противоположную фигуру знаменитого Николая Ивановича, что Радищев не мог не восхититься как художник чудесной работой Дениса. Смеясь, он сказал:

— Сколько раз ни видал — не уловлю, каким приемом вы себя в других претворяете?

Фонвизину легчало, когда он внутреннее раздражение выражал в шутовстве, в пересмешках.

— Итак: «Неизвестному автору комедии «О, время!» — повторил он, делая дамский придворный реверанс. — А что автор сей пьесы малосмыслен, твой Новиков не осведомлен? Хотя Козицкий и Храповицкий черновики царицыны правят, а белиберды предостаточно остается. В сей знаменитой, примерно, комедии служанка Мавра показывается столь просвещенна, что читает «Клеveланду» Прево и «Памелу» Ричардсона, коим на русском языке еще не имеется и перевода!

Денис Иванович захохотал во весь рот, завалившись грузным телом на диван. Его зубы, среди яркокрасных губ и налившихся кровью щек, были даже страшны своей белизной.

— Люблю ваш Рубенсов пиршественный дух, — сказал Радищев, любуясь взорвавшим Фонвизина смехом, — и не могу выразить, столь мне обидно, что вы наложили последнее время столь постную мину на ваш вольный язык. Сколь было едко начало ваших вопросов в «Былях и небылицах»! Наизусть помню: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?»

— Ты забываешь, мой друг, — пугливо вдруг оглянулся Фонвизин, приняв свое обычное осторожное обличье, — ты забываешь, что́ именно ответить изволила мне на сие матушка: «Сей вопрос родился от свободоязычия, коего предки наши не имели». Я, милый мой, стреляный

воробей, хорошо понял смысл ее слов. И память моя не плоха: привела мне перед очи ее указ «О молчании». Сей дан был по поводу дела Хитрова еще в первые годы восшествия. Хитров, если знаешь, находил, что всячески противодействовать надо вступлению матушки в брак с Орловым, ибо поговаривали о сем деле как о решенном. Угрозы в случае неисполнения указа, сиречь пересуды о персоне ее величества, пахли, братец, Сибирью. — Фонвизин с сердцем боднул головой: — Вот и пришлось мне написать свое покаянное: «Заготовленные иные вопросы отменяю, дабы не подать повод другим к дерзкому свободомыслию».

Фонвизин встал и прошел из угла в угол, припадая на ногу, — тяжелый купидон. Остановился, нижняя губа дрожала от волнения, обнаруживая, сколько детской, легко вспыхивающей чувствительности было в этом человеке.

— Да что указ «О молчании»! Намедни оброчный наш человек прибыл из Сибири, насмотрелся он «по милосердию» взысканных каторгой заместо смертной казни. Та же выходит казнь, токмо горшая! Полоумный брянский пехотный солдат, самозванец Петр Чернышев, к черту на кулички, в Мангазею сослан. Пред отправкой столь много порот, что в дороге скончался. Казенную шубу приказано было из-под него выбрать, расползлась шуба. «Стаяла от многого гною» — так ему в бумагу вписали. А что было вины на этом Чернышеве? Да ничего, окромя бессмысленной болтовни. Сила двора великая, где одинокому с ней бороться? Нет возможности, минуя двор, получить должность, подряд, награду. Фаворитизм — государственное учреждение, понял? Новая знать, всем обязанная «матушке», связана с людьми случая. И пойми тоже, сколь много мы положили надежд на наследника, мы, коренные дворяне, сыны отечества! Никита Панин и сейчас от него одного велит ждать освобождающих законов.

Радищев стремительно встал и сказал без запальчивости, с особливой серьезностью:

— Свободы ожидать у нас можно никак не от престола. Кто бы там ни сидел — мало различия. Свободы ожидать должно от самой тяжести порабощения!

— Дискобол! — вскрикнул, глядя на Александра, Фонвизин. — Давеча внизу, при входе ко мне, видал? Из Италии привезли. Молодой, напряженный, как конь пред прыжком. В руке диск. Коль метнет — попадет.

Радищев взял руку Дениса.

— Собрать бы нам воедино силы, широкий взять размах... Беда моя, не знаю пока, чем размахнуться и целить куда.

— На что Сумароков за царей распинается, — сказал Фонвизин, близорукими глазами глядя в брови Радищеву, — а и у него есть обмолвка. — И, понизив голос, он продекламировал:

Когда монарх насильно внемлет,
Он враг народу, а не царь...

— А по моему мнению, всякий царь и всегда враг народа, — ответил с твердостью Александр. — Не потому ли сейчас происходит у нас то великое бедствие, которое императрице благоугодно именовать «глупые казацкие гистории»? А на самом деле не бунт ли-то бедных против богатых? Холопей против господ? Мне сказывали: бар, одетых в крестьянское платье, пугачевцы узнают по рукам или же их заставляют исполнять крестьянские работы. Не умеющих взяться за цеп и косу убивают, приговаривая: «Не коси чужими руками, не живи чужим умом!»

— Александр, — остановил Фонвизин, — тебе изменяет разум. Твои слова: «свободы ожидать должно от самого порабощения» — слова безумца. Какое благородство может быть присуще вчерашним рабам? Не обернется ли их власть горшим видом нового порабощения?.. Однако волноваться впустую я не охотник.

Фонвизин вдруг рассердился на Радищева, что не поостерегся и вышел из себя. Выпил воды, уселся в вольтеровское кресло. Сказал своим наигранным голосом на стариковский насмешливый манер:

— Жизнь дает нам немало жестоких причин для волнения, чтобы мы еще сами себе добавляли. Довольно того, что моя прошедшая ночь протянулась без сна в дискуссии с Никитой Ивановичем, — нынешней ночью я желаю чудесно поспать. Как ученик Эпикура блюдя равновесие чувств, я намерен в памяти вызвать одни

легкие скоморошные впечатления. А посему, милый друг, перейдем на фривольный жанр. На днях я отменно веселился у одного светского друга из французского посольства. Вообрази, какие-то шалуны его затащили на полок в общую баню. Он тотчас обмер и, когда в перепуге друзей был ими окачен холодной водой, сообщил, придя в сознание, что обморок был не от жаркого пара, а от ужасов им лицезренных нагих персон обоего пола.

Денис Иванович уже развеселился сам и, непременно желая развеселить Александра, собрался было рассказать еще кое-что позабористей, как снова вошел лакей и подал записку от Панина.

Никита Иванович звал к себе немедленно своего секретаря, чтобы спешно выехать вместе в Петергоф. Императрица экстренно созывала Верховный совет.

— Вот и вторая бессонная ночь! — проворчал Фонвизин, приказав слуге собирать чемодан. — А свой небогатый запас нервной силы я уже растратил, поволновавшись с тобой, Александр.

— Не сетуйте, Денис Иванович... за дорогу наберете сторицей, — улыбнулся Радищев. — Вам светить будет луна, и в весенних дубровах защелкают соловьи. И то и другое расположит вас на амурные грезы.

— Ах, друг мой, — пофыркал носом Фонвизин, — а ведь я так и остался при своей «двойце». Не имею духу сказать Александре Ивановне о моем сватовстве к вдове Хлопковой.

Екатерине решительно не спалось. Несмотря на значительную уже полноту, она встала быстро и легко. Не беря в руки узорного колокольчика, чтобы вызвать дежурную камерфрау, сама облачилась в шелковый молдаван. Подошла к окну, не без усилия его распахнула. От непрестанных дождей рамы набухли.

Глянуло в комнату очень раннее утро, похожее тусклой желтизной на закат. Ленивые лучи пробирались сквозь ватный туман и, не стремясь идти дальше, уперлись в портрет Григория Орлова.

Красивое холеное лицо, с бровями, высоко очерченными, смотрело с удивленной надменностью.

Екатерина на минуту задумалась, разбирая, как незнакомый, стишок под портретом в отдельном золоченом ободке:

Чие ты зришь лицо?
Помощником был он
Спешащей истине
Спасти российский трон.

— То-то двенадцать лет я и терпела сего помощника... Нечего сказать — государственный ум!

У императрицы не проходила досада на Григория Орлова с недавнего Фокшанского конгресса. Как мальчишка, прервал мирные переговоры с турками, едва шептуны нашептали: его-де место не пустует, Васильчикова объявлен фавор.

— Вот и мой Алешка в него. И красавец и балбес...

И, как всегда при мысли о своем втором сыне — орловском, бастарде, получившем наименование «граф Бобринский», горечь проела сердце.

— Ему б на глазах, при дворе расти, ему б и наследовать мне.

Летом, когда Павел сильно болел, мысли у самой были и Орлов спьяну выкрикнул: «Умрет Павел, объявить должно Алексея!»

Павел выздоровел. Орлова больше мочи нет выносить. Последние порвались с ним душевные скрепы, а он, как дурной, все круче себя заявлять стал. Нет, не муж он. Насильный, кровью скрепленный был бы с ним брак, и хорошо, что Панин помешал...

А терпеть его до сей поры надо было. На кого было положиться ей, кроме Орловых?

Сын Павел, великий князь, болтун несчастный, сам же намедни и выдал все замыслы вражьи: убоялся, как бы не дозналась стороной о пропозициях, сделанных ему Сальдерном: заявить свои права на престол.

Правда, всячески выбелял наставника своего Никиту Панина, он-де оного Сальдерна не апробировал. Однакоже промолчал Панин. Хоть знал о прожектах дерзких, — не доложил. И как тут не подумать, что по той лишь причине Сальдернову затею не апробировал, что считал ее преждевременной?

С укором и болью глянула на профиль великого князя, висевший тут на стене: чухонский нос мягкой

пуговкой, с проваленным, как от дурной болезни, переносьем. То ли он недоумок, как отец, то ли какой-то остервенелый? В характере и уме точно черты имеются и ее, но до чего искажены, не приведены к ее силе, к ее выражению плавному!

Прав Корберон: все порывы цесаревича без твердой воли, без государственной дальновидности. Несчастный голштинский ублюдочный род!

Екатерина разволновалась. Тихо опустила на пол сонного сира Томаса, но он зарычал, и тогда, угрев его снова на руках, снесла на его собачью постель. Уложила белую тонкую морду на подушку, укрыла розовым стеганым одеяльцем.

Время двигалось медленно. Или оттого так казалось, что солнце не выходило из-за ватных белых облаков и невеселый, не летний дождь моросил в окно? Еще никто из дворцовых служащих не вставал. Только водовозы проехали с бочками, и шел пар из придворной пекарни, где пекли к кофею свежие сайки. Екатерина закрыла окно и стала ходить, неслышно ступая в плисовых котах, обшитых мехом.

Сегодняшний день — устрашительный. Надлежит собрать все свои силы для присутствия на тайном государственном совете.

Глянула на часы — шести еще не было. Решила: через час начнет думать об одном непременном решении, и надо, чтобы голова отдохнула на каком-нибудь чувстве любезном. Тогда мысли придут доходчивы, полны свежести.

В том одиночестве, на которое обрекла ее странная судьба, в том неослабном напряжении удержать трон у нее выработаны были проверенные опытом способы умного сохранения своих сил.

Однако, хоть разгар лета, как холодно в этом сыром Петергофском дворце! И собаки недовольны переездом. Вот сир Томас попискивает. И от сырости, что ли, фонтанов ноют ноги... Как это намедни столь забавно сказала Феклуша, истопникова жена: «Гудут ноги к погоде да к бабьему веку». Сорок лет — бабий век!

Екатерина несколько раз прошептала с сильным немецким акцентом:

— Сорок лет — бабй фэк!

Она гордилась, что на каждый случай жизни помнит русскую поговорку. Там, в Ярославле, в семьдесят первом году, чтобы отвлечь мысли от московской чумы, писала комедию «О, время!» И, как девчонка, зубрила пословицы для своей рассудительной Феклы и народные приметы и суеверия для г-жи Ханжахиной. Храповицкий, секретарь, сна лишился, черкая царицыны черновики.

— Ах, мейн гот, уж эти мне русские падежи!

И, как всегда, сама перед собой не трусливая, Екатерина вдруг выговорила до конца одну свою тайную мысль: «Мне сорок пять. Потемкину тридцать пять. Ровно на десять лет...»

Ну и что? Ну и хватит моего курцгалопа.

Взяла опять на руки пискуна сира Томаса, опять села в кресло, запахнула собачку полой молдавана и дала себе, наконец, волю. Думала о нем, сейчас пылко любимом и единой опоре.

Неприятно, что имя такое же, как у Орлова: Григорий.

Глянь со стороны, кто он? Мелкопоместный дворянин Смоленской губернии. Громаден, всех выше на голову, и хотя сердцу мил, а не может она не видеть трезвым глазом, как и все и всегда видит: нет, не орел, — раскормленный хищный кобчик этот владыка и шельма, как уже именуют его в тайных письмах.

Суворов почитает ум его гениальным, — перехватил, конечно. Однако то истина, что Потемкину не до одной своей вотчины дело. А верней сказать — своей вотчиной хотел бы назвать не воеводство какое — целый бы мир. Вот каковы мы с Гришифишенькой!

Придумала ему словечко на свою голову: писать-то его легче, чем выговорить.

Пятнадцать лет ему было, когда впервой увидел ее, еще великую княгиню. Божится, что в тот же час стрелой амуровой был уязвлен. А может, и тут перехват, и одно честолюбие привести может в движение его чувства. Что толку разбирать! Ведь если в остуду нонешний пыл перейдет, на пути государственном им идти рука об руку до конца полный профит. Столь сходствуют мнения, тот же полет, и, главное, вера есть: этот вот не продаст. С кем же сравнить его? Ужели с грубияном Орловым, тем паче с недавним Васильчиковым?

При мысли об этом мимолетном Васильчикове, красивом, спокойном, как мерин-водовозка, Екатерина усмехнулась: «Вот уж точно не угадать ему, где нашел себе заступника. У барона Гримма...»

Открыла маленькое бюро красного дерева, достала черновики писем, выбрала последнее к Гримму. Письмо было по-французски.

«...вы назвали меня флюгером. Бьюсь об заклад, оттого, что в вашу бытность здесь, на ваших глазах, я удалилась от некоего прекрасного, но очень скучного гражданина, который тотчас был замещен, — не знаю сама, как это случилось, — одним из самых забавных оригиналов нашего железного века».

А ведь про флюгер-то барон сморозил из собственного баронского расчету, — догадалась Екатерина, — это он дорожится, вымогает все новые заверения, что переписка с ним невесть какой важности.

Взяла карнетик[1] слоновой кости и, брезгливо сморщась, отметила: «Послать новую шубу барону Гримму».

— Должно, не накладнее моего сей барон обходится старому ироду Фридриху, коего он состоит платным агентом-корреспондентом.

Кладя аккуратно сложенные черновики обратно в бюро, Екатерина вспомнила иные бесчисленные листки — записки своей юности. Разыскать бы их на досуге — то-то забава! Еще великой княгиней додумалась до сей дипломатии или, верней сказать, необходимейшей жизненной тактики.

На вечеринках узнавала о здоровье именитых злоязычных старух. В памятные листки вписывала дни ангела, имена мосек, любимых дур, попугаев. При встречах осведомлялась, сопровождая улыбательным вниманием тягучие воспоминания стариков. Кое-что особливо лестное для славы их рода заносила особо. Не преминуть им же при случае выдвинуть.

И что же? Каково резюме из сего почти женского рукоделия?

Не прошло двух лет с ее приезда в Россию, как жаркая хвала уму ее побежала во все концы. И раньше чем незадачный супруг Петр Федорович утомил всех своей

---

[1] Записную книжку.

дуростью, общественное мнение, — сия всесильная мода, владеющая умами, — целиком было на ее стороне.

Да, за годы своей юности научилась она отменно хитрить. И еще научилась много и сильно хотеть. И в тот незабвенный день, давший ей царство, все вышло по ее хитрости и по ее хотению, сколько ни хвались Орлов, что это он ее посадил на трон, а дура Дашкова — что она.

В четвертом часу пополудни к деревянному дворцу приведены были войска и поставлены вдоль по Мойке от моста. Под барабанный бой двинулись сюда, в этот вот Петергоф...

Она впереди на белом коне, в преображенском мундире, в руке обнаженная шпага. Сейчас это уже история, это — замечательный портрет там, внизу, в первой зале дворца. Вчера еще, мимо того портрета выходя в сад на празднество в честь французского посла, остановилась, охваченная внезапными тревожными мыслями. Сказать, это было предчувствие той страшной вечерней реляции...

В том же зале супротив Петра Первого — ливонская крестьянка, вознесенная им на трон прямиком из лачуги, чернобровая тезка ее Екатерина I. Тут же Елизавета в своей молодой бабьей прелести блестит очами, улыбкой, бриллиантами. И тут же она, Екатерина II, в сапогах, белом мундире, на белой лошади, с веткой дуба на шляпе, как кругом у ближайших.

На всю жизнь она помнила, как горело лицо ее, как волосы, густые и длинные, распушенные поверх преображенского мундира, словно ветви хлестали ее по плечам. Помнила, как минутами воображение, уставшее от необычайности того, что свершалось, пугалось и меркло, и некий голос, глумяся, шептал: «Ой, сорвется игра!»

А вот и не сорвалась игра.

И торжествующая, сопровождаемая большой свитой, сошла она вчера в сад хвалиться послу высоко бьющими фонтанами не хуже версальских.

Позднее, переодевшись в платье алого бархата с малым шлейфом, с невеликой бриллиантовой короной на высоко взбитых волосах, она играла в ломбер с Чернышевым, Потемкиным и послом. С послом вела нужные французские разговоры, а уголком глаз наблюдала, как придворные шаркуны «махаются» с певицей Габриэль.

Оная Габриэльша, дочь повара, которой за талант ее князь Габриэль дал свое имя, мелкая чертами, дурная, но полная бесовской грации, всколыхнула всех шаркунов. И не только молодых — Иван Перфильич Елагин, — скажите, пожалуйста! — статс-секретарь и масон, едва заиграла музыка, пригласил Габриэльшу на танец. Вознамерился ногами выплести прехитрые модные штуки, для балетных танцев оказался тяжелым, и хитрой штуки Елагин не вывел, а потерял равновесие и рухнул грузным туловом на паркет. Двор много смеялся, пока не кинулись смотреть иллюминацию.

Две аркады против большого дворца, канал, который соединяется с заливом, усыпаны букетом огней. Лампионы заложены в зелени, — иначе светляки-великаны. Пирамиды, храмы, боскеты — все являет вид огнем воздвигнутых фигурных строений. Фонтаны, отражая огни, сыпали мелкой бриллиантовой пылью.

— Какая сказка, какие миракли! [1] — восторгался французский посол.

Вдруг черный дым ужасающей копотью, как на пожаре, потянул на зрителей. Копоть чернила светлые платья дам и, забираясь глубоко в ноздри, вызывала смехотворное чиханье.

— Я полагаю, матушка, сии миракли прокоптят нас, аки окорок. — И Левушка Нарышкин отдал приказ тушить плошки и факелы.

Окончилась сказка превеликим смрадом.

И тут вот как раз возвещен был гонец с той ужасной реляцией: город Казань разорен. Губернатор со всеми командами заперся в Кремле. Пугачев похваляется: сжег Казань, иду на Москву.

Уже два раза на волоске была власть Екатерины, ее свобода и сама жизнь. Было ей восемнадцать лет, когда обвинялась она в государственной измене, в сговоре с Пруссией через Бестужева. Фельдмаршала Апраксина Елизавета повелела судить за бесславную ретираду, за поддачу якобы Фридриху. Дескать, не подкуплен ли? И пусть даже Фермор показал, что причиной отступления Апраксина был недостаток людей и что лошадям субсистенции не хватало, вследствие чего лошади в совер-

---

[1] Чудеса (*франц.*).

шенную худобу пришли, так что невозможно было с желаемым успехом военных операций производить, — не помогало ничто.

Арестован Бестужев, канцлер, арестован и вот этот Елагин, тогда молодой адъютант Разумовского, и положение ее, великой княгини, было из рук вон — не ахтительно.

С послом Вильямсом разговоры не однажды велись. У посла Вильямса и расписочки были от великой княгини. Расписочки за полученные ею немалые суммы от английского короля. За что платил великой княгине английский король?

Редкую ночь не кричала в испуге: виделась камера убитого Ивана Антоновича. В камере шмыгали крысы, подымалась по горло вода, палили в крепости пушки.

Хотя Бестужев умудрился из-под стражи передать ей записку, чтобы не беспокоилась, — все-де бумаги, которые их обоих могли погубить, им начисто сожжены, — в такой пытке жила, в такой пытке ждала ежечасного ареста.

Наконец Елизаветой затребована была на два ночных свидания, вернее сказать, — на два допроса при свидетелях, скрытых ширмами. Одной собственной сметкой-умом выбралась. Пала в ноги Елизавете, просилась обратно домой в Ангальт-Цербст: «Если вам угодить не пришлось, лучше на свете не жить!»

Сделала вид Елизавета, что поверила, оставила дело. Была стара, чуя смерть, боялась хлопотни с престолонаследием. Самое же главное — не выдал Бестужев.

Второй раз искушение судьбы ее царской такой пышной победой окончилось, таким блеском, что и сейчас для борьбы с третьим искусом оттуда черпнуть надо мужества.

Такой был жаркий тот летний день, хотя почти на целый месяц раньше, чем сегодняшний. Тот день — 28 июня 1762 года. Давно было все заготовлено — и никак не решались. Арест гренадерской роты капитана Пассека двинул события. Началось — и пошло.

Семеновцы и измайловцы окружили дворец, преображенцы внутри... А если б полки не явились? Если б караулы не встали? Если б митрополит новгородский, согласно своему сану, держался бы за присягу, данную

императору Петру III, ее законному мужу, и отказался б давать присягу новую ей, мужней жене, посторонней немке, прав на российский престол не имеющей, — что тогда?

Привезенная на одноколке Орловым в тот особенный, яркий солнечный день, — в какие бы места отдаленные могла бы быть препровождена, ежели не лишена самой жизни?!

В этот второй раз смертельной опасности была она в цвете всех сил.

И вот сейчас, на двенадцатом году царствования, судьба в третий раз занесла меч. И стынет в сердце кровь от разметанных по деревням листов Пугачева.

«Сошлю ее... заточу... Пусть грехи замаливает!»

Из великой ектении ее вычеркнул — и нет ее царского имени. Не поминают за литургией послушные силе попы.

Екатерина больше не могла сдержать волнения. Не помогли хитрые расчеты, ни кровная немецкая дисциплина.

Как ни отдаляла минуту, инстинктом, как зверь защищаясь, копя силы перед страшной борьбой, прикидываясь пребывающей в благополучии, — минута пришла. Надлежало глянуть прямо в лицо новому бедствию, не токмо одному Пугачеву — пугачевщине. Вот тебе и «казацкие глупые гистории».

Еще недавно, неутомимо поддерживая свой престиж, писала знаменитому корреспонденту-философу с расчетом на всеевропейскую его сплетню про маркиза де Пугачева о том, что разбит он то ли восемь, то ли десять раз, так что бить его надоело.

Писала небрежно, с установленной буффонадой, которая, казалось ей, должна выдержать философское и просветительное ее превосходство.

Сейчас некуда было деваться от страха. Сейчас стояла перед большим зеркалом в серебряной раме с летящими амурами зеленая, с обрюзгшим от бессонной ночи лицом, растерянная пожилая немка.

Стояла, держа в руке звонок, и медлила звонить дежурную свою камерфрау, потому что ей никаким усилием воли не удавалось сделать лицо свое спокойным и царственным в обычном улыбательном ореоле. Словом, тем лицом, которому обучена была кисть живописца,

дабы внедрять в сознание верноподданных августейший образ российской Минервы.

В которой раз за эту ночь перебирала в мыслях, нет ли иного выхода из положения, как уступить ей сегодня на тайном совете предложению Никиты Панина, которое, знала она, непременно будет им сегодня сделано.

И предложение это — вот оно: вызвать из немилости брата его Петра Ивановича Панина и ему вручить полное командование против самозванца. Ей вызвать великого враля и персонального оскорбителя, который громко кричал на всю Москву: «Не баба, — мужчина должен быть на престоле, дабы иметь возможность предводительствовать войском».

А что если самой ей сделать попытку? Самой впереди войск? Ведь уж однажды верхом на коне, сабля наголо, взяла трон?

И ответила сама с горьким унынием: тогда шла против жалкого, безумного мужа, ненавистного всем, сейчас надлежит идти против сына, против Павла, о совершеннолетии коего шепчутся. И ослабела чуть не до обморока. Долго сидела усталая полная пожилая немка с узорным звонком, зажатым в руке, и, как обыкновенная измученная женщина, она вздыхала о муже, о помощи, о защитнике. Поговорить бы перед советом еще раз, в последний, с Григорием.

От одной мысли свидания с Потемкиным подобралась, тряхнула колокольчиком, встала и встретила вошедшую камерфрау своим обычным, одаряющим царским взором.

Парикмахера, ловко накинувшего на пышные ее плечи пудермантель, весело спросила о здоровье своих крестников, о дочке-невесте. Пока парикмахер гулял заячьей лапкой по баночкам с притираньями, румянами и белилами, пока оттягивал незримой машинкой височки, отморщинивал постаревшую кожу, Екатерина настраивала себя на любимый портрет Эриксона. Этот портрет ей, как певцу — камертон. Румяная, со взбитыми волосами, напудренной прической, как богиня, сияла она торжеством спокойной совести, яркими синими глазами и почти подавляла б величием, не догадайся художник смягчить его грацией, спустив ей с головы на грудь шаловливый локон, обвитый жемчужными нитями.

Наконец Екатерина встала и улыбнулась в зеркало своей особой улыбкой при сжатых губах, дающей ямочки на щеках. Она велела подать себе зеленый атласный молдаван. Она в домашнем обиходе уже несколько лет не почитала моды, а носила изобретенный ею костюм — платье с широким лифом, с длинными рукавами, скрывавшими ее полноту. Сверху надела соболью накидку. Пожаловалась, что непрестанно мерзнет здесь в Петергофе; сколько ни топят березой печи, все сыро и холодно; здесь словно дуют особые ветры, продувая все стены; сырость тут круглый год, невзирая на теплый сезон.

Доложили, что Потемкин просит аудиенции. Рванулось сердце от радости, как в самые юные дни, когда приходил Салтыков, но, не выдав себя, тем же ровным благоволительным голосом, каким только что велела передать садовнику о букетах для именинниц в сегодняшний день Марии Магдалины, велела принять в смежной гостиной. Всех отпустила кивком взбитой головы и не спеша вышла.

— Гришенок мой! Бесценни, милейши в свете! — проговорила она свое привычное в письмах к нему обращение с сильным немецким акцентом и перешла тотчас на французский язык.

Потемкин был хмур и не в духе. Он сказал отрывисто, как пролаял:

— Панин с Голицыным уже объявились в большом зале, все прочие — в биллиардной. Сейчас бы, не откладывая, и открыть совет.

Чего же мешкать?

Она еще несколько мгновений хотела побыть просто женщиной, любящей, нашедшей, наконец, опору и мужа.

— Что бы ни ждало меня, ты со мной? Не оставишь?.. Ну скажи мне, бесценни?

Потемкин отступил на шаг и глядел на Екатерину своим единственным, огненным и ярким глазом, еще более сильным оттого, что другой глаз был у него мертвый, из фарфора, как у куклы. Он резко сказал:

— Не бывать тому, матушка, чтобы ждало тебя что-либо тебе не угодное! И мысли допускать недозволительно.

Она чуть дрогнула бровью, вспыхнула, хотела тоже гневно сказать, что получше его знает, что надо ей делать, но что минуточку вот одну хотела вздохнуть. Но она ничего этого не сказала, подумала: к чему говорить, если и минуты такой ей не суждено.

Потемкин обнял Екатерину и подвел ее к окну, откуда далеко вперед, не загроможденное деревьями, синело и ширилось море.

— Гришенок, — сказала Екатерина обыкновенным деловым тоном. — Не люблю я Панина. Недаром у него лучшая в городе поварня, во всех делах честолюбия выше головы. Посадит он надо мной своего братца. Увидишь, потребует сделать его властителем с беспредельной властью над войском. Сначала якобы для поимки сего бездельника Пугачева, но кто мне поручится, что оба брата и вся ихняя клика не войдут окончательно во вкус? Во всяком случае, коль скоро войска в их руках, я остаюсь ни малейше не сбережена. Гришенок, а что ежели я сама лично отправлюсь супротив мятежников? Ты помнишь, однажды уже удалось.

— Предложить сие должно, но настаивать не резон, — сказал Потемкин.

И вдруг вспыхнул, побагровел лицом, сжал до боли маленькую ручку императрицы. С поднятием чувства и выспренним жаром, как актер на театре, одним махом Потемкин торжественно произнес:

— Да, вспомни тот день, когда тебе было или погибнуть, или проложить себе путь к престолу. О, сколь ты дивно предстала пред нами! Каждый был счастлив умереть за тебя.

— Говори, Гришенок, говори. Сегодня подобный же день, — прошептала она.

— Ужели ты будешь сегодня слабее? — Ярко сверкнул он одним глазом, в то время как другой из своей вдруг расширенной орбиты странно засинел мертвым белком. Потемкин все сильнее сжимал руку Екатерины. Он требовал, он наступал: — Разве ты дрогнула, когда узнала про заговор Мировича, про нахальство претендентки Таракановой? Почто же смущается твое сердце сегодня? Твой путь — львиный путь. В нем женской робости нету места. И ты должна быть сильнее тех лет. Тогда были одни обещания. Ныне выполнено тобою

немало. Слава России тебя охраняет, тобою горда. В краткие сроки независимой ты сделала нашу страну. В число первенствующих держав Европы включена тобою Россия, неисчислимы выгоды, которые ты доставила ей. Своим проницательным умом ты перехитрила Фридриха, ты добилась независимости Курляндии, ты разобьешь турок, ты возьмешь Крым. И, как у Александра Великого, не должно стать предела владениям твоим! Ты двинешься на восток... Древнюю Византию я вижу под скипетром твоим.

— И твоим, владыка мой! — докончила Екатерина в слезах. — Наконец-то я встретила не тирана, не раба, но супруга. Да, я сильна. Я сильнее, чем когда-либо.

Екатерина сделала несколько шагов, подняла голову, и уже не слабая, любящая женщина — императрица, владеющая собою в совершенстве, сказала Потемкину:

— Объявите всем собравшимся в зале, что я тотчас проследую.

Потемкин поклонился придворным поклоном и вышел. Вдруг Екатерина легко вскрикнула и схватилась за голову. Потемкин немедленно вернулся и кинулся к ней:

— Вам нездоровится, ваше величество?

— В волосах что-то бьется, живое.

Потемкин, смеясь, вынул из легких напудренных волос императрицы желтенькую в окно влетевшую бабочку.

— Мотилок! — воскликнула Екатерина, неспособная выговорить это трудное для немецкой речи русское слово.

— Мо-ты-лек, — поправил Потемкин.

— Мо-ти-лок, — повторила Екатерина и, поднявшись на цыпочки, крепко, по-бабьи, его обняла.

Члены тайного государственного совета сидели в бархатных креслах за круглым столом, покрытым немецкой суконной скатертью.

Тут был и князь Вяземский, генерал-прокурор, с лицом толстым, туго набитым, так что кожа, не поддаваясь пудре, лоснилась, как у вспотевшего. Был и Захар Григорьевич Чернышев, давний фаворит, ныне председатель Военной коллегии.

Чернышев, не желавший, против очевидности, признавать волнение народное, почитавший, что войску только и дела, что словить «вора Емельку», сидел ныне расстроенный. Густые черные брови его с беспомощным удивлением ерошились над тяжелым, несколько бабьим лицом.

Да и было чего испугаться: поднялись орды башкир, заводские крестьяне передавали заводы самозванцу, ему лили пушки.

В Европе помышляли нашей бедою воспользоваться...

— Европа принимает Пугачева за некое орудие турецкой политики, — сказал веско Панин, — и время не терпит... Сегодня надлежит до ее величества нам довести все резоны, угрожающие разрушением империи.

— Какие такие резоны? — отрубил Чернышев. — Зимовейской станицы беглый Емелька-казак — один резон всему.

— То-то что нет... — едва сдерживая горечь и гнев, сказал Панин. — Не кто-нибудь, сам Бибиков писал с глубоким знанием дела Фонвизину: «Пугачев только чучело в руках недовольных. Причина удачи его много глубже...»

Панин оборвал, а Чернышев не стал подымать разговора. Сидел он, трепетный, между двумя фаворитами — Григорием Орловым и Григорием Потемкиным — и не знал, как ему быть, чтобы не потерять по службе.

Григорий Орлов с презрительной миной смотрел по сторонам, намеренно не отличая людей от предметов. Он упражнялся, перенося взоры с картины на стене на сидящих за столом, нарочито не задерживаясь на лице Потемкина, как на чем-то крайне маловажном.

Потемкин сих орловских уничтожающих маневров не примечал. Сидел глубоко в креслах, огромный, одноглазый, и обихоживал свои ногти. То он их грыз, то, вынув стальную пилку, обтачивал.

Он взволновался, когда вошла Екатерина. Впрочем, едва на нее глянул, вставая и изгибаясь в поклоне, как успокоился: Екатерина была в своем полном параде, во всей непоколебимости власти.

— Я созвала вас сегодня на обсуждение общего блага, империи безопасности и самой целости оной...

Екатерина говорила длинно и торжественно, перечисляя всем известные события последнего времени. Дойдя до вчерашнего извещения об осаде Казани, она не совладала с волнением. Впрочем, по тексту речи чувствительность и слеза в голосе были у места.

— ...Сей осаждаемый злодеями город особливо мне дорог. Нет еще и полгода, как покойный Александр Иванович Бибиков своей умной речью столь одушевил казанских дворян, что они тут же создали легион из рекрутов собственного набора. В столь доблестной дворянской семье и мне пожелалось стать членом. Я с гордостью именую себя казанской помещицей.

И вот, судари мои, оная помещица, как в кровном своем деле, ищет заступничества тайного совета за злосчастный свой город. Что скажете? Каковы меры пресечения подлому вору и злодейской черни предложите?

Екатерина обвела сидящих за столом синими победительными глазами, и, привычно сопутствуя царственному взору, бодрящая подданных, благоволительная улыбка чуть обозначилась и застыла на тонких губах.

Панин сильно побледнел и, почтительно склонив голову, стал говорить.

Всем известная главная цель Панина была — настоять на вызове брата Петра Ивановича как единственного, после смерти Бибикова, достойного военачальника.

Старый дипломат, он начал не с него. Он не хотел упустить случай еще раз дать понять Екатерине, сколь неумно ей было после совершеннолетия наследника удерживать власть только для себя. У Панина был честный государственный ум и фамильное отвращение к «немке в штанах» на престоле, где должен быть «муж доблестный», который сейчас мог бы стать во главе войск. Панин был не так стар, но давно уже болел и чувствовал, что недолговечен. У него была своя тайная политическая линия.

Придворно изогнувшись в поклоне, — придворная жизнь — вторая природа, само тело чуяло, как ему быть, — Панин стал держать свою речь:

— Дабы удачно лечить тяжко больного, на консультацию зовут много врачей. Врачи исследуют купно болезнь с самых ее истоков, с самого возникновения оной. А посему разрешите вам поставить на вид, Захар Гри-

горьевич, — Панин сделал придворный поклон Чернышеву, — ежели бы вами досконально был выслушан Кар, у нас бы не вышло сегодняшнего конфуза, сиречь осажденной Казани.

Чернышев резко дернул грузным плечом.

— Сей трус по заслугам исключен из военного звания!

— Исключен, но не выслушан... — чуть улыбнулся Панин. — Не касаясь личных качеств Кара, надо сказать, что размеры бедствия им указаны правильно, и то, что вы почитаете лишь шайкой обыкновенных разбойников, было уже в самом начале восстанием народным. Судите сами, ваше величество. Я сделаю краткую экспозицию событий...

«Ну и беспардонная баба», — промелькнуло у Панина при взгляде на Екатерину, у которой для контенансу[1] уже водворена была на губах ее обычная портретная улыбка.

Ему захотелось ужаснуть ее, обрушив ей на плечи ответ перед страной, перед историей. И голос его, утратив мягкую дипломатическую выучку, стал говорить с жестокой отчетливостью приговора:

— Едва прошло две недели, что Пугачев появился под Яицким городком с горстью бунтовщиков, как он уже имел три тысячи пехоты, конницу, двадцать пушек. Вскорости взято им семь крепостей. Как? Почему взято? Потому, государи мои... — На миг у Панина не хватило дыхания, он строго, немигающими глазами уставился на Орлова, сидевшего с пренебрежительным видом, говорившим: вы меня отставили, так выбирайтесь теперь сами, как знаете... — Потому, государи мои, — отчеканил Панин, — что господские крестьяне явно привержены самозванцу, а крестьяне заводские ему отлили пушки, качеством превосходящие наши.

Екатерина приблизила к раздувшимся ноздрям табакерку, понюхала, скрыла гнев и сказала успокоительно:

— Не те, граф, обстоятельства именуете, кои благоприятствовали мятежу. Я сама вам напомню. — И, загибая пальцы, покрытые кольцами, Екатерина перечислила: — Наши войска отвлечены победами в Турции.

[1] Приличия (*франц.*).

Строгие меры супротив чумы растревожили население. Внимание наше к Польше опять-таки потребовало военных сил...

— Прибавьте в таком случае, ваше величество, хотя бы новый рекрутский набор, — подчеркнул голосом Панин. — Ваше величество только дополнили, но отнюдь не зачеркнули мной сказанного.

Екатерина тотчас отметила в мыслях упоминание про новый рекрутский набор. Вот оно налицо, влияние на Павла. Не из своей, чай, слабой головы болтает наследник, что Россия-де нуждается лишь в войнах оборонительных, а не матушкиных «славолюбных». Вся отсюда зараза!

Панин с новой желчью заговорил о другом бездарном полководце, в столь особых обстоятельствах заменившем Кара.

— Новая оплошность, государи мои, — сей Рейнсдорп, не чующий русской природы. Смехотворно, как дура, он налгал в объявлениях и приказах, будто на лице самозванца имеются каторжные клейма. Хотел опозорить Пугачева — опозорился сам.

— Сие не позор, а токмо недальновидность, — процедил нехотя Вяземский.

— Казнить за подобное мало! — вспыхнул Панин. — Невозможно упускать из виду, что едва люди начальством указанных знаков на самозванце не обретут, они тотчас ему предадутся. Дошли слухи: торжество в стане мятежников по сему поводу было немалое.

Минуя бездействие власти и пагубное для дела состояние наших войск, — продолжал Панин, — довожу до слуха вашего величества лишь самые последние события, о коих мы оповещены вчерашним гонцом. — И, переживая горестно каждое слово, Панин стал говорить о гибели Казани. — На заре от станицы Царицыно по Арскому полю Пугачев выстроился против главной батареи города. Он не пошел на нее. С правого крыла изменник Минеев двинул толпы заводских крестьян. Дом губернатора захвачен пугачевцами, и левое их крыло двинулось к Суконной слободе.

— Суконщики! Кулачные бойцы ужель не отбили? — спросил Чернышев.

— Суконщики бежали, — отрезал Панин. — Мятежники ворвались в город. Слобода горела. В огненном море грабил, кто мог. Мятежники бросали пленных в огонь и топили в реке Казанке. Казань — груда углей. Из двух тысяч восьмисот домов сгорело две тысячи шестьсот. Сии цифры, ваше величество, суть точные. Если б не Михельсон с войском, все живота бы решились...

— Но ведь Михельсон отогнал Пугачева! — с нескрываемым гневом на Панина воскликнула Екатерина. Из всего, что она узнала, самое втайне ужасное было ей свидетельство очевидца, допрошенного Потемкиным, о том, что в войсках Пугачева развевалось голштинское знамя. И под белилами лицо Екатерины все пошло красными пятнами.

— Михельсон отогнал мятежников нынче, а назавтра что ждет? Пугачев перешел Волгу... — упавшим голосом кончал истомленный болезнью и горестью Панин. — Ведь вся западная сторона ему предалась. Крестьяне до единого... иноверцы и новокрещенные избили пастырей, воеводы бежали из городов, дворяне из поместий. Необходимей всего отметить, — повысил голос Панин, — чем именно берет людей Пугачев? Он обещает всем вольность...

Панин с поклоном императрице опустился в кресло. Чернышев думал о том, сколь хитроумны его приятели иезуиты, когда толкуют о власти церковной, направляющей чернь. Хоть запугали бы адом... а наши попы сами первые несут хлеб-соль самозванцу.

Сладким голосом, в уважение к волнению Екатерины, сказал генерал-прокурор Вяземский:

— Спешу довести до сведения вашего императорского величества: я составил тут приказ, каким полкам маршировать к Москве, ежели соизволено будет. Угодно будет вашему величеству рассмотреть?

Екатерина обрадовалась, что можно сделать оттяжку конечному разговору с Паниным о назначении его брата главнокомандующим войсками против мятежников. Она закрыла на сегодня совет, предложив для последних решений обождать румянцевского курьера с заключением мира с турками. Все откланялись. Екатерина занялась приказом Вяземского.

Всеми силами желая сохранить контенанс, после придворного обеда на тридцать пять персон императрица села было играть в любимый свой ломбер, но доложили о приезде нового гонца из Москвы, от князя Волконского, генерал-губернатора.

Генерал-поручик Ступишин ему доносил, что участь Казани ожидает Нижний и что он не отвечает и за... Москву.

Завидев Никиту Ивановича Панина, который шел к ней решительным шагом, Екатерина сама ему двинулась навстречу. Под люстрой зала, горевшей как солнце, они мгновение стояли, ненавидя друг друга. Императрица первая, боясь, чтобы Панин не потребовал во имя спасения империи назначения своего брата на пост главнокомандующего, сама предложила с благоволительной улыбкой, послушно вспорхнувшей на побледневшее досиня лицо:

— Никто лучше вашего брата Петра Ивановича наше возлюбленное отечество ныне спасти не может! Пишите ему немедля от моего имени пропозицию стать во главе армии. Я с чувствительной радостью его назначаю на сей пост.

Поздно ночью, потрясенная событиями, разбитая бессонницей и состоянием, близким к отчаянию, Екатерина писала в Париж длинное письмо госпоже Жоффрен.

Салон этой умной женщины обладал таким весом, что сам Гельвеций сказал своим друзьям после выхода в свет книги своей «De l'esprit»: [1] «Посмотрим, как примет меня г-жа Жоффрен. Я лишь тогда узнаю наверное об успехе моего сочинения, когда справлюсь с этим термометром».

Вот этой Жоффренше, как именовала перед Брюсшей Екатерина нужную ей даму, сейчас закончила она последнюю страничку невозмутимого по спокойствию духа письма:

«Вы интересуетесь, мадам, моим обычным деловым днем? Извольте же узнать: встаю аккуратно в шесть утра, читаю и пишу одна до восьми. Потом приходят мне читать разные дела, всякий, кому нужно говорить

---

[1] «Об уме» (*франц.*).

со мной, входит поочередно, один за другим. Так до одиннадцати, потом я одеваюсь.

По воскресеньям и праздникам иду к обедне, в другие же дни выхожу в приемную залу, где обыкновенно дожидается меня множество народа. Поговорив полчаса или три четверти, я сажусь за стол. По выходе из-за стола является Бецкий («гадкий генерал»), чтобы читать мне наставления. Он берет книгу, а я свою работу. Чтение наше, если его не прерывают пакеты с письмами и другие помехи, длится до пяти часов вечера. Потом: или я еду в театр, или играю в карты, или болтаю с кем-нибудь. В одиннадцать — ужин. Ложусь и на другой день повторяю то же самое, как по нотам».

Екатерина запечатала письмо сургучом, положила его, чтобы не забыть, на видное место. Потом она выпрямилась, как безмерно уставший человек, заломила руки и прошептала с отчаянием по-немецки:

— От чумы спас мороз, кто спасет от сего домашнего врага?

## *Глава девятая*

Слухи об успехах Пугачева из тайных заседаний царицына совета чрез придворные круги, канцелярии и лакейские просочились во все концы города и привели население в трепет.

И было чего пугаться: Пугачев перешел Волгу.

Вся западная сторона с городами, покинутыми воеводами, ему подчинилась. Выходившие с хлебом-солью господские крестьяне ежедневно множили войско, и без того значительное.

Пугачев объявил вольность и требовал избиения дворян. После разорения города Цивильска он разделил свое войско на две части и, заняв ими алатырскую и нижегородскую дороги, лишил сообщения Казань с Нижним. Вот тогда и написал генерал-поручик Ступишин, губернатор нижегородский, московскому главнокомандующему, что участь Казани грозит Нижнему и отвечать за Москву он не может.

— Возможно ли Пугачу быть в Москве? — жители вопрошали друг друга и тут же сами решали: невоз-

можного в нашей стране нет ничего, ежели граф Петр Панин, покоритель Бендер, войной двинулся против кого же? Против казака Емельки, безвестно служившего в его же войсках.

Вести сменялись с удивительной быстротой, одна другой устрашительней, и вот уже Пугачев перешел реку Суру, и офицеры инвалидной команды, кроме одного, ему присягнули.

Встреча самозванца с колокольным звоном стала в обычай. И валил к нему сейчас не один только черный народ, — примыкало купечество, и царем Петром Третьим его славило духовенство.

В ответ на плоты с повешенными его приспешниками, пущенные вниз по Волге, Пугачев дал приказ вздернуть на деревья больше трех сотен дворян и, неуловимый, среди орды инородцев стремительно двинулся к Пензе.

Только и было передышки в столице в тот день, когда долгожданный гонец от Румянцева привез обстоятельное донесение о заключении мира с турками. Императрица не упустила предлога поразить воображение народное своей не дрогнувшей перед бедами самодержавной мощью.

На торжественное молебствие в Казанский собор Екатерина прибыла в сопровождении несметных дворцовых карет, под пальбу пушек и пение архиерейских хоров «Тебе бога хвалим!»

У Аничкова моста, перед сенатом, коллегиями и прочими важными столичными местами окруженные конной гвардией, сверкавшей золотом, вестники мира с нарочито воздвигнутых пьедесталов вещали жителям о победе русского оружия. Сии вестники имели поверх мундиров через плечо перевязь белого атласа, обложенную золотым кружевом, а в правой руке пук лаврового ветвия.

В эти тревожные и торжественные дни Николай Иванович Новиков еще раз пошел гостем на заседание масонской ложи Урании. На востоке, сиречь на председательском стуле, был почтенный брат Лунин; прочие братья по местам. Из старых знакомых метнулся в глаза один лишь Челищев Петр Николаевич, прапорщик Измайловского полка, брат Сергея, который с Радищевым учился в Лейпциге.

При взгляде на быструю его фигуру, наблюдая склонность его затянутой воротником шеи к мгновенному покраснению и раздражительный разговор с соседним братом, Новикову досадно встало в памяти, что сей Челищев, имевший церковный хор из собственных крестьян, тотчас нарушал усердную молитву, едва кто-либо из певчих голосом давал козла. Подбежав к виновнику, Челищев его размашисто заушал и, отбыв на место, столь же истово погружался в прерванную делом молитву.

Новиков отогнал суетные мысли. Настроиться хотел особливо серьезно. От сегодняшнего собрания ждал необыкновенных речей. Ведь, несмотря на царицын парад, на лавровое ветвие вестников мира, незабываемая опасность от мужицкого царя угрожала империи.

Ждал Новиков: вот брат Лунин встанет во весь свой крупный рост, стукнет молотком и, прервав вялое течение заседания, предложит всем братьям высказаться как истым «сынам отечества». И главнейшее — брат Лунин откроет всем особое, тайное, масонское мнение о том, как можно успешней пресечь великое народное бедствие.

Но брат Лунин вел собрание обычно, как полагалось по ритуалу. Он заученным приказом послал почтенного брата оратора в «черную камеру» узнать, не взывает ли из тьмы чья-либо душа, стремясь к свету «луча масонского».

Брат оратор высморкался, спрятал платок под свой расшитый масонский таблиер и отправился в черную камеру через коридор. Вскорости он привел из тьмы внешней непосвященного брата — флотского офицера майора Мякотина. Многие братья майора сего «подкрепили». Майора баллотировали в члены. Приняли. Сидел майор весьма багровый, распотелый и улыбался, как именинник. Так и написано было на круглом его лице, что отныне по службе он живо успеет.

Еще брат Коппе предлагал брата Назимова. Подкрепляли братья. Еще собирали деньги на бедных. Отдали негусто собранное почтенному мастеру ложи для каких-то ему ведомых бедняков. Определенные в комитет для празднования дня св. Иоанна, патрона ордена, объявили, что назначено праздновать тот день у «провинциального мастера» брата Елагина.

Долго спорили братья, сколько платить им с персоны в день праздника за парадный ужин, пока не столковались, что с членов по три рубля, а с гостей, ими приведенных, по четыре. В перерыве пили пунш по двадцать копеек за два стакана, и брат брата потчевал шампанским.

По делам хозяйственным единогласно было решено: «К провождению членов ложи завести в одном покое нанятого дома биллиард. За употребление оного платить: за ординарную партию пять копеек, за карамболь по десять с партии, за лагерре по пять с каждого играющего, с тем чтобы во время священных работ никто из братьев не играл под штрафом платежа десять рублей».

Еще постановлено: «Картошная игра таким же образом, и штраф на таком же основании, как выше сего биллиардной положено, — дозволяется. Но только коммерческие игры, а газардных ни под каким видом не играть».

Брату-эконому выработали инструкцию: должен он держать напитки в полубутылках. На место прежнего выбрали нового эконома, бывшего «паришных дел мастера».

На концерт и ужин Новиков оставаться не захотел.

Отпрощавшись, с ссылкой на недомоганье, Новиков расписался в своем присутствии в книге удлиненной, вроде приходо-расходной. Бросился ему в глаза неумный почерк брата фон Эссена. Сокращенно, для чего-то с титлом вверху и с росчерком кольцами, вроде дым из трубы, как рисуют дети, подписывал этот брат свою нерусскую фамилию.

Ну каков, спрашивается, подлинный может быть толк от сего ордена при столь великом разнобое почтенных его членов? Тут вольтерьянцы и церковники вроде Челищева, искатели фортуны и чинов и просто гуляки, не вылезающие из столовых лож.

Полный докучливых мыслей и осуждения, Новиков при самом выходе столкнулся с Елагиным, подъехавшим в карете. Вельможа раскрыл объятия.

— А я сюда нарочито сегодня для встречи с вами, любезный Николай Иванович, уж извольте, дорогой мой, обратно оглобельки повернуть!

Елагин крепкой маленькой рукой в перчатке тащил за собой Новикова.

— Полчаса разговора в одном из кабинетов есть решительная необходимость ежели не для вас лично, то для блага всеобщего, коего вы немалый ревнитель!

Изнеженное полное лицо вельможи было столь нежданно растроганно, что Новиков согласился вернуться. Перед Елагиным, как перед хозяином, раскрылись всегда запертые двери нижнего кабинета. Вельможа увлек спутника за собой через анфиладу слабо освещенных комнат при совершенно пустых, но диковинно декорированных знаками Зодиака и чертежными фигурами стенах. Пройдя под арками галерейки, по куриной витой лесенке, где шли в одиночку, поднялись чуть ли не под самую крышу. Елагин неотступно держал Новикова за обшлаг рукава, по временам оборачиваясь к нему всем лицом, выражающим дружество и ласку. От этой интимности обращения обычное расстояние между двумя персонами, столь отличными по придворной табели о рангах, изгладилось. Отставной поручик незнаменитого рода, книгоиздатель — и первейший сановник вдруг стали ровня.

При нажатии Елагиным боковой скрытой пружины дверь открылась, и, пригибая голову, можно было войти в просторную храмину.

Палата была невысока, но столь обширна, что углы ее терялись в темноте. В лепном камине пылали ярко дрова. Между двумя креслами стоял невеликий, отменно сервированный стол. На столе заедки всякого сорта и тонкой марки вино. Все было заранее приготовлено по данному кем-то приказу для уединенной беседы друзей. Но единственное окно, плотно закрытое ставнями, и задрапированные черным бархатом стены рождали мрачные представления и делали уютность пылающего камина, изысканную сервировку стола случайной затеей.

Вельможа пригласил спутника сесть. Выпили по бокалу. Елагин откинулся тучным телом на спинку кресла.

От каминного пламени и без того яркие шелка его одеяний и нарядные туфли, сверкавшие бриллиантами, заиграли сильнее. Елагин сделал ораторский жест,

макпм открывал собрания, своей дамской рукой и сказал торжественным тоном:

— Без ненужных предисловий, со всем уважением к вашей достойной деятельности и благородному характеру вашему, от имени пока неизвестных вам братий предлагается вам принять высшую ступень голубого иоанновского масонства — третью. Пред вами будут раскрыты без потрясающих церемоний, вам нелюбезных, все тайны наших масонских устремлений. Но, приняв сие предложение, не скрою от вас, вы должны будете отдаться всецело служению священного ордена.

Елагин встал, легко подымая свое тучное тело, и развел обе руки, как бы возлагая издали, через стол с яствами, какие-то незримые регалии на сидящего Новикова.

— Отдайтесь сему служению! — внушающе вымолвил он, тряхнув пудреным париком, отчего легкой дымкой пыхнула с локонов пудра. — Отдайтесь!.. Дорогой брат мой, после неизбежного искуса вы получите власть управлять ложею «яко Адонирам распределять рабочих»! По всему миру ветвь акации откроет вам доступ во все три ступени...

Глаза Елагина сияли уже не обычным придворным радушием, — вдохновение исповедующего свою истину адепта было в них. Огромный навык человека, проведшего годы, упражняясь действовать на воображение других, управлял его жестом и словом.

— Дорогой брат мой, вникните в предлагаемое. — Он попытался поймать взор Новикова, но тот, склонив свое длинное старообразное и некрасивое лицо на руку, сидел недвижимо и смотрел вниз на причудливые шашки паркета. Не поймав глаз собеседника, Елагин только усилил убедительность голоса. — Дорогой брат, велики следствия полномочия, вам предлагаемого. Насколько знаем мы вас, они соответствуют чистейшим вашим желаниям — готовности служить просвещению дорогого отечества нашего всею силой ваших даров!

И, выждав паузу, подойдя близко, с тихой лаской спросил:

— Какие еще сомнения держат вас в нерешимости?

Наконец Новиков в ответ на горячую атаку Елагина встал. Тот взял его тотчас под руку, и оба некоторое

время безмолвно и тихо шагали в ногу по мягкому ковру, устилавшему во всю длину масонскую храмину. Новиков продолжал безмолвствовать. Елагин заговорил снова с той пленительной естественностью, которую порождает либо взаимное влечение друзей, или отменное воспитание очень умного человека.

— Я слыхал, ваши чувства оскорбляются неизбежным ритуалом, коим насаждаются в грубом мозгу апрантифов и прочих малосмысленных профанов наши бессмертные и глубокие истины. Но ведь этим людям даже дар обобщений неведом: как накормишь твердою пищей не имеющего зубов? К тому же не секрет, что собрания, где вы были гостем уже не однажды, равно как и братские ужины с усердным возлиянием одному Вакху, под рев песнопений, предназначены всего лишь для внешней жизни лож. Собрания и ужины дают возможность свершать необходимый отбор в ложу внутреннюю.

Блистающая, пламенеющая звезда, дорогой брат, единый справедливый компас всякой иерархии, она одна — точный расценщик людей. Что же знаменует она? Жизненную волю и мощь ума, присущие человеку.

Только по количеству и качеству сих воли и мощи делятся братья на градусы. Отсюда правильно, что братья внешних лож не вправе ведать то, что известно братьям, стоящим внутри. Путь же к власти открыт каждому. Пусть только запомнят, что чем выше градус знания, тем больше ответ.

Я не буду спорить с вами, что расчертить в символах совершенную ложу, как это сделано на масонском нашем «тапи»,[1] много легче, нежели построить таковую в жизни. Но достойно ли будет вам умыть руки, отойти в сторону от нас, где непочатый край всякой работы, просвещающей не одну нашу родину, а весь мир.

Елагин широко округлил правую руку, знаменуя ею обхват земного шара, потом обнял крепко Новикова и закончил с отеческой лаской:

— Сколь ни плохи вам кажемся, мы все же по праву поем:

Чувство истины живое нас в священный храм влекло.
О стремление святое, сколь ты чисто, сколь светло!

---

[1] Ковре *(франц.)*.

Такова голубая иоаннова ложа, цвета лазури неба. Но не говорите мне ни радостного да, ни горестного нет, — заторопился вельможа, оправляя на груди кружево, смятое объятиями. — Выдержим некий срок!

Елагин подошел к стене, повозился, нажимая то тут, то там в одном из знаков Зодиака, пока не раскрылись дверцы шкафика, из коего он достал рукописную тетрадь. Трижды облобызал это орденское cahier[1] и передал Новикову. Выпрямившись во весь рост, слегка поклонившись, торжественно и придворно, Елагин сказал:

— Вступите в наш орден, дорогой брат, и тотчас увидите сами, где ваше дело лежит!

Новиков раскрыл было тетрадь — Елагин тотчас остановил, зажав дружески руками в перстнях и ниспадающих кружевах его сухую руку в строгом темном рукаве.

— Вы подробно рассмотрите дома. Оставшись ныне наедине, до раскрытия сей тетради и углубления в смысл оной, вы пересмотрите, дорогой брат, всю деятельность вашу, столь всеми чтимую. Увы, ни для кого не секрет, что угроза, помещенная в журнале императрицы, в том, что в нашем отечестве умеют сатирику «рога обломать», приведена на вас в прискорбное исполнение. Отечество наше явных умников не выносит, — подчеркнул Елагин, — и вот вопрос: что же таковым остается? Либо ума своего отместись, либо второе — умнику явному стать умником тайным. Итак, раздумывайте и решайте...

До четырнадцати лет Новиков жил в родительском селе Авдотьине, Московской губернии. Жизнь текла, как спокойная речка: в благочестии дедовских правил, с невинным разнообразием выездов на коломенскую ярмарку.

При Петре отец служил во флоте, потом перешел в гражданскую и при Елизавете умер статским советником. Состояние скопил изрядное: двум дочкам в приданое и подспорье сыновьям — старшему, Николаю, и Алеше.

---

[1] Тетрадь (*франц.*); в данном случае символ веры.

По пятнадцатому году свезли Николая в обученье в Москву. В дворянской гимназии при университете он пробыл во французском классе три года. Преподавание здесь велось не знаменито. Отданный в ту же гимназию Фонвизин любил рассказывать, как он получил медаль за то, что, спрошенный, куда впадает Волга, чистосердечно ответствовал: «Я не знаю». Экзаменованные же перед ним ученики пренахально направили Волгу один в Черное, другой в Белое море. Немудрено, что в подобной гимназии Новиков учился без усердия. Наконец он исключен был за нехождение в классы и леность, о чем и пропечатано было в номере тридцать четвертом «Московских ведомостей» того года.

По решению университетской конференции имена ленивых учеников предавались гласности, дабы исправлять нерадивцев позором. Новиков был пропечатан на странице «Ведомостей».

Григорий Потемкин учился с ним вместе. Странно — бок о бок и столь разная пошла их судьба в дальнейшем.

В знаменитом перевороте, возведшем на престол Екатерину, оба товарища принимали участие. Новиков, рядовой Измайловского полка, стоял на часах у подъемного моста, перекинутого через ров, окружавший казармы, когда туда подъехала Екатерина в сопровождении Алексея Орлова. Измайловцы приняли присягу и получили много наград. Новиков произведен из рядовых в унтер-офицеры.

Участие Потемкина было значительнее. Он состоял в «секрете» вместе со Ржевским, Дурново и Несвицким и подымал на сторону императрицы солдат. Он же конвоировал из Ораниенбаума в Петергоф карету, увозившую только что бывшего императором Петра III.

Он же был персонально в тот день царицей навеки отмечен еще за то, что смело подал ей свой темляк, сорвав его с сабли. Екатерина была в форме Измайловского полка, но темляка у нее впопыхах прицеплено не было.

По сему поводу, усмехаясь, говорили иные:

— Потемкин — хитрец, уже при первом шаге поспел с матушкой в ногу. Темляком началось — империей кончится...

По иной линии пошли встречи с царицей у Новикова: попав на службу в гвардию, Николай Иванович очень скоро утомился светским времяпровождением, безумием кутежей, роскошью.

Большая перемена произошла в гвардейской службе против петровского времени. Служебного рачения не было, одна лишь забота о празднествах, пышности и каретах. Бедные, разоряясь вконец, принуждены были тужиться поспевать за богатыми. Считалось зазорным не иметь для выезда хотя бы четверки коней.

Зато заслуги господ офицеров были велики...

Новиков, углубившийся в книги, пополнял с жадностью свое небольшое образование. Скоро утвердилось о нем мнение, как о самом ученом среди измайловцев. Посему, когда стали делать отбор молодых гвардейцев в Москву для письмоводства в Комиссии, снаряжен был Новиков.

В Москве он вел журнал общего собрания депутатов для составления Нового уложения и записки седьмого отделения о «среднем роде людей». Читал их лично самой императрице.

— Свобода — душа всего на свете! Без тебя все мертво! — любила в те дни восклицать Екатерина, наполняя восхищенной надеждою сердце, призванное, как у Новикова, к одному служению благу всеобщему.

И можно ль было поверить, если б кто заглянувший вперед рассказал, что монархиня, именуемая «Минервой на троне», всего через короткий срок времени, при назначении хотя бы Вяземского генерал-прокурором сената, с такою же обворожающей улыбкой скажет: «Российская империя столь обширна, что, кроме государя самодержавного, всякая иная форма правления ей просто вред».

Обнаружилась подобная же двойца и в самом главном — в вопросе о крепостных. С одной стороны, говорено было: «противно христианской религии и самой простой справедливости делать людей, кои родятся все свободными, рабами кого бы то ни было». С другой стороны, почти не сходя с места, — «устроить крутой переворот, сиречь освободить крестьян, есть плохой способ заслужить любовь землевладельцев».

Но благодаря работе в Комиссии открылось Новикову все разнообразие жизни российской: ее лихоимное судопроизводство, бесправие гражданское, пропасть между знатью и чернью. И великой скорбью пробужденная, его честная воля двинулась на борьбу.

Новиков вышел в отставку. Ему было всего двадцать четыре года. Именьице Авдотьино, дом в Москве дали возможность заняться журналом, ибо для борьбы с лицемерием и невежеством он выбрал «умаляющую пороки сатиру».

С первых же листов своих новиковский журнал «Трутень» начал единоборство со «Всякой всячиной» — так окрестила императрица журнал свой, издаваемый под ее руководством Козицким.

«И не чает небось, какая решающая гиря положена ею на чашку весов моей судьбы!» — с горечью думал Новиков про Екатерину в эти бессонные ночи, перед тем как взять решенье, вступить ли ему в третью степень голубого Иоаннова масонства.

Сейчас, поздно вечером, ходил он большими шагами по своей библиотеке и, невольно повинуясь совету Елагина, пересматривал свою жизнь.

— Пожалуй, права та масонская книга, что давеча принес Кутузов, где говорится о групповых судьбах людей. Как некий микрокосм — малый мир, — в любое десятилетие рождаются связанные своими судьбами души. И будут их линии пересекаться, взаимно уничтожаясь или помогая друг другу расти. Все же вместе определенным соцветием они дадут в истории свой плод.

Признать должно, попался, как мальчик, на посулы вольности, исходившие от сей «Минервы на троне». Не помогли и предупреждения природной острой приметливости. Не однажды ведь, приходя к императрице с вопиющими о праве протоколами безобразнейших дел, бывал поражен ее бездушным расчетом, ее лишенными огня, повелевающими взорами синих глаз. Не раз мелькала догадка, что голова ее — одна бесовская память, мешок пустой с цитатами ансиклопедистов. Слова вольности у нее сами по себе, а власть самодержицы жадна и с вольнодумием не слиянна. Проведение слов в дело ничуть ее не пленяет, и она ответа до странности ни за что не несет. Правду сказать, и учитель ее Вольтер, как

бес, изощрялся ей подсказывать свою дрянную, двуличную мудрость. Осуждая строго войны, к ним сам же толкал Екатерину, укрепляя ее в мысли, что она творит «войну ради мира». Писал акафист, величая ее — «пресвятая владычица снеговая», в честь которой он, «старая тварь», слагает гимны.

— Ну можно ли было поверить всерьез, что понравится ей сатира, глядящая в корень?

«Беспокойный поручик», — сказала о Новикове своей Брюсше Екатерина, и мнение при дворе, неблагоприятное для дела его жизни, утвердилось. А чуть перехватил — не замедлили «поручика сего» одернуть и прихлопнуть журнал.

Началось с сущих пустяков: продернул «Трутень» светскую некую барыню за то, что та польстилась стянуть в лавке материю. Купец постеснялся срамить даму на людях и явился к ней за материей на дом, она же велела его избить.

Обличение светской дамы при дворе не понравилось.

«Всякая всячина» заговорила о снисхождении и человеколюбии. «Трутень» едко высмеял «Всячину»: из человеколюбия она-де «сшила порокам кафтан»...

Журнальный поединок с императрицей обострялся с каждым номером. Новиков отстаивал сатиру на лица, а Екатерина находила, что задевание особ, — по-чужестранному «персоналитет» называется, — показывает невежливость и злость того, который пишет.

«Так некие дурные шмели прожужжали мне о мнимом неправосудии судебных мест...»

«Хорошо мнимое», — с особливой горечью подумал Новиков, стиснув пальцы до хруста.

Длинное некрасивое лицо его пылало. Глубокой скорбью смотрели в невские просторы, на редкие огоньки барж его внимательные черные глаза. Парика он не носил и в своем ненарядном кафтане с белым батистовым жабо, с большим носом среди дрябловатых щек походил всего более на некоего лютеранского проповедника.

«Что такое вольтерьянство в стране столь невежественной, как наша? Вот и поняли как снятие всех препон! Усугубилось токмо невежество, и прибавились доселе неведомые пороки».

Он опять заметался по библиотеке, обставленной полками и шкафами. Давно не отпускающая дума, встречая препоны к осуществлению законному, в нем превратилась в съедающую страсть того высокого порядка, которая знакома основателям новых учений и всем работникам жизни, призванным на дело не личное, а всеобщее:

«Продвинуть отечество к просвещению! Указать лучшую, разумную базу морали, основать ее не только на вере, по-дедовски, а на прочном, имеющем суждение разуме. О, сколь важно не быть в одиночестве для подобного дела».

Мысли Новикова остановились с любовью на Радищеве: сей юный шагнул дальше всех. От его «Деревни Разоренной» как на раскаленной сковородке караси себя ощущали помещики. А матушка императрица, — так из дворца передавали, — ужимая губы, промолвила своей Брюсше:

— Беспокойный поручик опять отличился!

— Можно б поручика и посократить, — отозвалась Брюсша.

И точно сократили: «Издатель — человек с злым сердцем и вреден молодым», — написала Екатерина в своей «Всякой всячине».

Ненадолго помогло и полное лести посвящение: «Неизвестному г. сочинителю комедии «О, время!», чье перо «достойно будет равенства с Молиеровым». Как первый журнал «Трутень», был и журнал второй — «Живописец» — захлопнут.

Ныне правожительствует одна безрогая «Древняя российская вивлиофика». Ее при дворе одобряют, императрица одна подписалась на десять экземпляров. Зато подписчиков вольных — свищи! Вот она вся на полу... сия домашняя куча.

Новиков с горькой усмешкой взял с пола одну из груды наставленных друг на друга книжек «Древней российской вивлиофики», развернул ее: описание чина патриаршего шествия на осляти, шествия посольств иностранных...

Но что ж, и то не без цены. Однакоже не про одну древность нам мыслить. Живы мы и живого участия в жизни желаем.

Справедливо сказал Елагин: «Явных умников отечество наше не выносит». Что же, и впрямь соделаться ему же на пользу — тайным?

Новиков взял одну из древних книг масонских в кожаном переплете, снял со свечей нагар, сел в свое рабочее кресло.

«Цель нашего ордена — сохранить и передать некое важное таинство, от самых древнейших веков, даже от первого человека до нас дошедшее. От сего таинства, может быть, судьба всего человеческого рода зависит...»

— Однако кому может быть ведом сей «первый человек»? — усмехнулся Новиков. — Ох, не вышло б и тут, как в Большой комиссии: наговорено пышно, а делов не видать.

В дверь постучали. Лакей Софроныч, седобородый, в домотканном архалуке, ворчливо сказал:

— Тут к вам, барин, молодые господа пришедши. Коль задержутся, опять вам работать до петухов! Сказать им, может, что вы почиваете?

— Проси, Софроныч, обязательно проси! — И Новиков сам вышел в прихожую навстречу Кутузову и Радищеву.

— Михайло Матвеевич занемог, и в нашем разговоре, к прискорбию, он не участник, — сказал Кутузов. — Однако обязательно настоял, чтобы нам с Александром быть нынче у вас.

Кутузов многозначительно и неуклюже пожал руку Новикова. У него было тайное поручение от Хераскова: убедить Радищева начать посещения ложи Урании в качестве гостя. При растущей удаче Пугачева слишком опасно было умонастроение Радищева, и друзья забеспокоились отвести его хоть силой в «тайный канал».

Кутузов, до поры хранивший про себя некое важное происшествие, которым одним хотел он в присутствии Новикова сразить упрямство Радищева, с церемонностью указывая на друга, вымолвил:

— Вот удалось-таки отвлечь мне его от суетных забот и, как вы того желали, привести к вам.

Радищев расхохотался:

— Можно подумать, что почтенный Николай Иванович уже есть мастер стула, а ты, Алексис, — брат оратор, извлекший меня из тьмы «черной камеры». Шалишь,

братец, я с большей охотой предпочту просидеть у трактирщика Демута, нежели в ваших сборищах постного чина.

Голос Радищева был весел, лицо мужественное, при заметной ныне о нем светской заботе — картинно прекрасно. Тугие, твердо означенные брови были подвижны над яркими, большой жизненной силы глазами. Движения вольны, и все тело его, закаленное в свободные от занятий часы фехтованием, прогулками, греблей, охотой, являло полную контрастность с хлипким высоким Кутузовым, хотя сей последний был в военной форме, а Радищев в скромном темнозеленом кафтане.

Кутузов, как фанатик, увлеченный изучением «натуры вещей», обычного людям страха не ведал и, будучи недавно в распоряжении Румянцева, стяжал от него заслуженную похвалу в своей храбрости. Сейчас он был в отпуску перед грядущей отставкой и поворотом всех своих сил к его увлекавшим кабинетным занятиям. Вся мимолетная военная выправка, как на время надетый маскарадный костюм, с него то и дело слетала.

Светлорусый, со взором отсутствующим, движениями вялыми, он пребывал в отрешенности от здешнего мира. Только и ждал — укрыться б ему в некую лабораторию алхимиста.

— Друзья мои, — сказал радушно Новиков, усаживая обоих гостей в такие же старые кожаные кресла из зеленой кожи, как его рабочее. — Не будем терять время на предварительное охаживание друг друга и маскировку цели, с коей Херасков, Кутузов и я решили к вам иметь разговор, Александр Николаевич! Я ваше дарование столь много ценю, что с вами хитрить не желаю.

Радищев не однажды задавался мыслью, что́ именно заставляет его так глубоко почитать доверием скромного Новикова. Он не имел блеска талантов. Почти безобразен, не речист. Но этого примечательного издателя книг нечто положительно отслаивало от прочих людей.

В долгих разговорах по журнальным делам, тускловато, не радуя остроумием, как Фонвизин, не обогащая образованием, как Херасков, Николай Иванович Новиков давал глубже и больше, чем они. Не выказываясь сам, как некое незримое солнце, он в другом умел вызывать его лучший цвет.

Все люди оставляли что-нибудь только для себя, — Новиков ничего. Его необычная, лишенная малейшего себялюбия огромная воля служить человечеству и была отличная от прочих, иная природа.

— Дорогой друг Александр Николаевич, намедни в большом разговоре с Херасковым уполномочен я вам передать его слезную просьбу — соделаться вам долгожданным гостем ложи Урании. Я сам новичок в изучении масонства, его твердой защиты пред вами вести не могу, но почитаю разумным исследовать и сей умственный канал, поскольку, им пользуясь, можно оказать услуги просвещению отечества... От себя ж самого, как сыну отец, я должен прибавить: пятый лист «Живописца» с вашим отрывком, посвященным горестям деревни Разоренной, ныне у всех на устах. Цитуют его при дворе как весьма опасное ваше умонастроение в виду все растущего страха от подметных листов Пугачева. Помимо того, недавнее ваше примечание в изданном мною Мабли, — я разумею ваше вольное разъяснение слова «самодержавство», — по всей видимости надолго пресечет наше с вами свободомыслие в печати.

Новиков прикрыл глаза и умолк, как бы собираясь с новыми мыслями. Все помолчали. Подымая на Радищева темные внимательные глаза, кладя ему руки на плечи, вопросительно и задушевно Новиков сказал:

— Ежели нельзя служить родине через сатиру, умаляющую пороки, как мы с вами сердечно хотели, Александр Николаевич, не попробовать ли нам стать нужными сынами отечества через «тайный канал»?

— Алексей Михайлович, — повернулся Новиков к Кутузову, — что можете вы нам поведать для расширения наших знаний о цели вашего ордена?

— Алексис, я в свою очередь о том же прошу, — сказал без обычной насмешки Радищев, — мой же ответ будет потом.

Кутузов, боясь вскочить и забегать по комнате в ажитации, впился длинными пальцами в ручки зеленого кресла и, как полководец, устремив взор перед собой, глядя на некий вдали предстоящий бой, стал стремительно излагать заветную мысль:

— Цель нашего ордена на каждое время бывает особая. Ныне главнейшее — испытание натуры вещей и

через то приобретение новой силы и власти всем посвященным к исправлению рода человеческого. Найти философский камень и панацею — вот священная цель.

— Просим, Алексис, сделать усилие, мы тут собрались не для детской игры... — нахмурился Радищев. — Простыми, понятными словами разъясни извергнутые тобою энигмы.

— Я изъясню.

Голубые глаза Кутузова наполнились радостью.

— Ежели отбросить мудреные латинские и еврейские наименования, то суть дела может быть трактована так: алхимики утверждали, что металлы, равно как и все созданное, стремятся к своему усовершенствованию. Известно превращение одного металла в другой посредством примеси недостающего. И что есть для неблагородного металла совершенство? Оно в том, чтобы стать ему з о л о т о м. Отсюда положение: ежели в природе металлы при благоприятных к тому условиях могут оказаться золотом, то нет для человека задачи достойнейшей — научиться создавать сии условия по собственному произволу. Алхимист должен похитить тайну природы и в короткое время произвесть то, что в недрах земли образуется веками.

При помощи уже найденного философского камня, превратителя камней в золото, найти будет нам возможно и панацею. В теле человека наличествует жизненная сила, коей имя — архей. Все болезни, несмотря на разнообразие оных, производят одинаковое ослабление всей центральной силы организма. И ежели в нужное время будем знать, как усилить ее, сия сила жизни, сиречь архей, поглотит все болезни. Она сама собой сохранит в экилибре силы человека, создаст вечное здоровье...

Итак, найти философический меркурий и панацею — вот священная цель наших работ. Получив сверхчеловеческую власть, я смогу, ежели на то моя воля, облагодетельствовать все человечество! А потому я вам предлагаю...

— Довольно, Алексис... — прервал Радищев. — Пути наши окончательно разные. Ты хочешь быть благодетелем человечества, а я хочу только его видеть свободным! Не образ гордых, одиноких братьев, достигших над

людьми божеской власти, прельщает меня — я озабочен самими людьми.

Радищев подошел к Алексису и, вразумляя, как малого, с невольным укором сказал:

— Разберись честно, мой друг! Намного ль продвинется благо всего человечества, если власть одиночек достигнет предела? Ведь всех-то людей философским камнем и панацеей одарять вы не станете? Ну какие представишь ты мне доказательства, что, научившись столь прочно владеть другими, неизвестные братья свою власть вдруг уступят? Эх, милый друг, как с освобождением обездоленных крестьян, им все будет казаться, что рано... Чем сильней власть немногих, тем у них меньше желания способствовать освобождению всех.

Радищев, как лев, зашагал по библиотеке.

— Алексис, опомнись! Сидеть взаперти в подземелье, вытягивать золото из дерьма... Когда у нас в зале сената даже статую нагой истины генерал-прокурор приказал символически экзекутору поплотнее прикрыть! Знаем мы с вами, почтенный Николай Иванович, как лицеприятный и насквозь лихоимный наш суд сию истину не только прикрывает — распинает с утра и до вечера. Разве сравнимы наказания, коим подвергаются крестьяне за бунт против нестерпимых истязаний помещиков, и то легкое церковное покаяние, на котором в монастырях отъедаются помещики пирогами? Навеки помню жестокие случаи сенатских дел. Спать ложусь, стоят передо мной все они, измордованные, не отмщенные...

Вот и ты б, Алексис, вместо всяких пентаклей и фигур чужеземных припомнил бы... Вместе с тобой ведь по должности в сенате в подобные дела углублялись. Поражаюсь, каким это манером они тебя в алхимическую каменоломню занесли? Ярославского дворянина помнишь? По отдельным пальцам рубил своим крепостным руки и ноги. Супруги Савины, фон Этингер, генеральша Гордеева? Все сии — маркиз де Садовы приспешники. Пороли крестьян до смерти, с издевкою, солеными таловыми прутьями. Императрица же сим дамам тюрьму заменила инструкцией ихним мужьям: «Наблюдать, дабы не впали жены в суровость», а мужьям строгий выговор: «Впредь не запарывать!» Что ж ты думаешь:

не впадают в «суровость»? Не запарывают пуще прежнего? Кому про это кричать? У кого правды искать?

Нет, сударь мой, не панацея с камнями, хотя б философскими, — одно лишь неслыханное притеснение породить может в людях спасительное для них искупление. Не алхимиста — освободителя Спартака ждут порабощенные.

И оно, косное ваше масонство, не имеет просветительного движения вперед, у вас знатное происхождение все еще в цене выше, чем образованность.

— Остановись, Александр!.. — в свою очередь вне себя вскричал Кутузов. — В сем пункте ты даешь совершенно маху! Не далее как вчера в ложе Муз у Елагина произошло некоторое событие, уничтожающее твой упрек. Больше того, сие событие меня нынче двигает, в присутствии столь почитаемого тобою Николая Ивановича, умолять именно тебя, Александр, быть непременным гостем наших собраний.

— Повествуй о событии, Алексис...

— Ты сейчас опрометчиво утвердил, что просветительные идеи масонству чужды, так вот же тебе, Александр: красней и бери свои слова обратно! Намедни перед собранием в ложе Муз француз-куафер, служивший по найму у Елагина, явился перед братьями и потребовал, чтобы его допустили в присутствие. Он предъявил свои грамоты, правильные и достаточные, из коих следовало, что он рыцарь высокой степени.

— Весьма заинтересован ответным поведением на сие заявление Ивана Перфильевича Елагина, — взволновавшись, сказал Новиков.

Глаза Радищева горели нескрываемой насмешкой, и только желание выслушать до конца удерживало его заявить одно, мгновенно пришедшее, смехотворное соображение.

Кутузов же, впервые чувствуя себя в учительном положении относительно пересмешника-друга, начальнически сказал:

— То, что Елагин не оказался на высоте, дает новую власть в руки наши. Мы, впитавшие просвещение ансиклопедистов, будем насаждать в ордене равенство. Тем более нам важно объединиться, идти рука об руку...

— Говори, Алексис, по порядку, — оборвал Радищев, — как именно повел себя вельможа в ответ на заявление оного необыкновенного, высших ступеней куафера?

— Как повел себя Елагин? — привстал Новиков с кресла.

— Сей вельможа был весьма недоволен. Не скрываясь нимало, он тут же публично стал обвинять французские высшие ступени посвящения, к которым без разбора допускаются всякого звания люди.

— Неужто Иван Перфильевич таков? — с огорчением вырвалось у Новикова. — Не через него, видать, идет путь к истинному масонству.

— Теперь выслушай меня, Алексис, — сказал строго Радищев. — Заявляю твоему легковерию, что сей паришных дел мастер, носитель высших рыцарских степеней не кто иной, как наш старый знакомый по Лейпцигу — куафер Морис. Этот загадочный персонаж, игравший неказистую роль в совращении нашего бедного Середовича разыграть тень покойного бюргермейстера Романуса, мне не внушает никакого доверия. За отсутствием встречи с тобой, в моих разъездах по случаю сватовства, я не удосужился тебе рассказать о внезапном посещении Середовича.

Радищев рассказал подробно о Власе, и Кутузов так горячо принял к сердцу плен старого дядьки, что тут же поклялся непременно его разыскать и разоблачить все козни Мориса, если действительно окажется, что парикмахер Елагина и он — одно и то же лицо.

— На сегодня экилибр моего духа нарушен, и дурная бесконечность начал хаотических затмила ясность суждения. Я прощусь с вами, друзья мои...

На пороге Кутузов, вдруг побледневши, мрачно прибавил:

— Но весьма возможно и то, что елагинский куафер и парикмахер Морис — всего лишь фикции, выставленные духами зла, дабы воспрепятствовать вашим ясным умам, дорогие друзья, служить делу нашего ордена. Ради вас буду бодрствовать и поститься.

— Несчастный Алексис, — с горечью вымолвил Радищев, — от природы меланхолический и склонный к мрачности нрав его околдовался до потери здравого

смысла. Быть может, есть какое-нибудь иное, правильное масонство, служащее подлинно возвышенным целям улучшения человека и жизни, но во всяком случае это не то, куда зовут меня Алексис и Елагин быть гостем. Здесь отсутствует всякий дух истины. Доказательство налицо — гибель бедного Алексиса. Прощайте, дорогой Николай Иванович, я уезжаю в Саратовскую губернию, где ныне развернулись кровавые события. В имении отца моего — пугачевцы. Защита младших братьев, изучение на месте правдивых причин, почему беглый казак, заведомый самозванец, поднял вокруг себя города и селения, — мой неотлагательный и священный долг.

Новиков горячо обнял Радищева и, оставшись один, еще долго ходил взад и вперед по громадной своей библиотеке. Ему с полок мелькали знакомые обложки им изданных книг и журналов, и домашней кучей лежали неубранные кипы «Древней российской вивлиофики» на полу.

— Да, пообломали сатирику рога! И в масонство подлинное тоже, видать, не пробраться...

## *Глава десятая*

Через десять лет после восшествия на престол Екатерины были присоединены воеводства — Полоцкое, Витебское и Смоленское.

Иезуиты, повсеместно изгнанные, нашли себе радушный прием в России. Екатерина, не сносясь с Римом, самовольно назначила епископом латинских церквей в Белоруссии Сестренцевича. Литвин по рождению, реформат, принявший католичество и поэтому отнюдь не фанатик, Сестренцевич отмечен и выделен был императрицей после великолепно им сказанной проповеди по поводу неудавшегося покушения на короля Станислава Понятовского. Покушение организовано было патриотами, недовольными этим «московским ставленником», бывшим фаворитом Екатерины. Назначая Сестренцевича, Екатерина давала понять самому папе, что латинская церковь в ее владениях обойтись может без его участия.

И когда наступил для иезуитов ими названный «адский год», когда появилось бревэ[1] папы Климента о закрытии их ордена, Екатерина не допустила обнародовать это постановление в России, не желая позволять Риму распоряжаться в ее владениях.

Политический шаг был очень умен: иезуитов на русской земле со времен Батория оказался целый миллион, и все их сердца были ею завоеваны.

Двум крупным лисицам оказалось выгоднее быть в союзе, чем во вражде. Иезуитский орден стал опорою нового трона.

Лейпцигский куафер Морис, елагинский парикмахер с дипломом высшего рыцарского посвящения, он же подручный кардинала Анджолини, посланный в Россию по делам иезуитского ордена, к Потемкину ехал с волнением.

Благодаря принцу де Линь, давшему блестящую характеристику временщика, он знал, что фаворит представляет собою какое-то собрание противоположностей, где качества драгоценные и безобразные взаимно парализуются. Европейски организованный вкус маркиза де Муши боялся встретить грубость, не подчиняющуюся никаким привычным нормам.

О Потемкине уже ходило много россказней и анекдотов, из которых явствовало, что он человек минуты и произвола. Присутствовало в этой оценке и предположение, что вся разглашаемая стоустой молвой его капризность — лишь ловкая форма, прикрывающая ум расчетливый и дальновидный, а по утверждению Суворова — гениальный.

Цинизм ничего не уважающего человека и привычка русских к своеволию правящих заставили Потемкина, издеваясь над собеседниками, с генералами быть богословом, с попами и архиереями говорить о войне. Будучи внезапно щедрым, своих карточных долгов он не платил. Безумно храбрился в опасности и скучал при удаче. Разочарованный во всем, коль скоро достигал удачи, он уже ею томился и шел с озорством на какую угодно новинку.

---

[1] Грамота *(франц.)*.

«Очевидно, это какой-то скифский Карл Двенадцатый», — снисходительно решил де Муши. Прибегнув к вносящей в его чувства порядок классификации, он успокоился.

Однако никакой Карл Двенадцатый не подошел к тому образу и виду, в каком француз увидал фаворита, когда, передав чопорному слуге в придворной ливрее свою карточку, почтительно был приглашен переступить порог спальни, по роскоши равной спальням Версаля.

Перед Потемкиным лежал последний пугачевский манифест. Опять он сулил спокойную жизнь до века. Помимо креста и бороды, одарял землями лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями без налога и оброка. А дворянам — смерть!

Потемкин сидел лишь в одном шелковом персидском халате и в туфлях на босу ногу. Богатырская грудь его была вся раскрыта и поражала мохнатостью зверя. На восточном низком столике, среди зеркал и великолепных картин, на блюде лежали яблоки, морковь и репа гигантских размеров. Очистки валялись тут же на текинском ковре. Вокруг столика батареей стояли на полу пустые бутылки из-под кваса.

Потемкин пребывал в меланхолии: ежели Пугачев двинется на Москву — конец всякой фортуне.

Когда казачок Филиппка, один к нему вхожий во время черной хандры, передал взятую им от лакея карточку маркиза де Муши, Потемкин спросил Филиппку:

— Как думаешь, принимать мне сего обезьяньего сына?

Дрессированный, как пудель, казачок, зная свое дело, застыл столбом и молчал.

— А гони ты его в шею...

Филиппка кинулся к дверям.

— Стой! — заорал Потемкин. — Маркиза просить вели с обхождением. Французишки, братец мой, знают только слова предпоследние, а мы тут завернем ему по-русскому, по-последнему. Пусть другой раз со своей мамзелью в Парижах смирно сидит да к нам зря не шатается!

Потемкин едва кивнул в ответ на изысканный поклон де Муши и тотчас рявкнул на Филиппку:

— Открой квас поигристей!

Казачок кинулся открывать бутылку, но чуть ее тронул, пробка вылетела сама с треском, и квас фонтаном стрельнул вверх и залил обитую шелком стену. Толстые разбухшие изюмины застряли в густых волосах казачонка.

Потемкин захохотал во всю могучую глотку, глядя, как Филиппка мотает головой, тщетно силясь вытряхнуть изюм из волос.

Он схватил Филиппкину голову, пригнул ее себе на колени и, как большая обезьяна у своего детеныша, стал искаться в его густых волосах.

— Ваше превосходительство... — с задетым достоинством сказал де Муши, так и не приглашенный Потемкиным сесть, — быть может, я не во-время... Быть может, я мешаю вашим государственным занятиям?

— А мне нечем и заниматься-то, — сказал хорошим французским языком Потемкин, вдруг с веселой наивностью поглядев на Муши и намеренно пропуская мимо ушей его едкое замечание. — У Филиппки вшей не оказалось, а изюминка, вот она последняя!

И Потемкин, раздавив пальцами, бросил куда ни попало изюм. Вдруг, подражая изысканным жестам придворного, он привстал и пригласил де Муши сесть на атласное канапе.

— Русского квасу не смею вам предложить, сей квас хорош только для наших желудков!

Не изменяя своей любезности, и маркиз де Муши сообщил, что русский квас он уже пробовал у Елагина, от него заболел и что справедливо, по его мнению, окрестил этот квас один из иностранных путешественников, дав ему наименование «лимонад для свиней».

— Ваши желудки, как и весь ваш состав, весьма субтильны, сие давно нам известно, — сказал, скребя грудь пятернею, Потемкин. — То-то мой предок, Петр Иванович, русский посол в Париже, в свое время заставил вашего короля, коего величали вы «король-солнце», свою шляпу снимать при упоминании титула царского... А у датского короля, простертого в болезни, тот же мой предок, дабы не ронять представительства, на аудиенции потребовал себе диван и растянулся с ним рядом. Но что в наших потребностях домашних и в частной жизни

мы — свиньи, замечание ваше близко к истине. Однако запомните, сударь, в любую минуту сия свинья превратиться может в орла. А сейчас, — закончил Потемкин уже деловым голосом, — прошу вас, любезный маркиз, расскажите мне подробно про могилевские ваши дела. Мне помнится, вы только что оттуда? Готов слушать вас с полным комфортом, ибо санкцию на свинское поведение от вас уже получил.

И Потемкин вытянул длинные голые ноги и уперся босыми ступнями в атласные подушки дивана. Пугая Филиппку, он внезапно вытащил свой вставной фарфоровый глаз и опустил его в стакан с водой. Глаз этот, огромный и пристальный, сквозь воду, странно живой, смотрел на маркиза. И было так, что Потемкин отправил представительствовать маркизу вместо себя свой фарфоровый глаз.

Маркиз принял вызов нарочитой дерзости Потемкина и захотел отпарировать тем же. Насилуя свою благовоспитанность, ставшую ему второю натурой, вместо того чтобы сделать вид, что ничего не приметил, он иронически спросил:

— В каких боях, осмелюсь спросить ваше превосходительство, потерять изволили глаз?

— А ни в каких боях, — ответил просто Потемкин. — Вскочил ячмень, а бабка присоветовала припарки, чего горячей не стерпеть. Я в те поры на докторов осердился, послушал бабку, глаз прикинулся и пропал. Однакоже нет худа без добра: благодаря двухлетней болезни столько одним глазом книг прочитал, что двумя во всю жизнь удосужиться не мог. И работу большую пришлось подымать, — ничего, и с одноглазием поднял.

Потемкин растопырил пятерню с ужасными обкусанными ногтями и стал загибать пальцы.

— В синоде помощником обер-прокурора — раз, командовал ротой — два, наблюдал за шитьем мундиров, работал в Большой комиссии по составлению уложения, и черт его знает чего не переделал. Не токмо ручных, ножных пальцев не хватит считать.

— Вы умолчали о самом доблестном — ваши отличия на поле брани! Под Хотином вы поразили великого визиря, при Фокшанах и Браилове — турок...

— Как же, портки растрясли, бежав от Рябой Могилы, — лениво усмехнулся Потемкин то ли с насмешкой, то ли хвастаясь. — Я из поручиков живо перемахнул в генералы. Ныне числюсь член Государственного совета. А турок надо совсем вон из Европы! — внезапно гаркнул Потемкин и встал в креслах. Глаз его вспыхнул и разгорелся. В лицо хлынуло оживление, но тут же потухло, и, осев глубже в кресло, он еще выше и задорнее задрал свои ноги. Неотступная все эти дни мысль, произведшая настоящую тяжкую меланхолию, захлестнула всякий азарт: а ну как Пугачев двинет свои орды на Москву!

И грубо рявкнул на оторопевшего маркиза де Муши:

— Я жду, сударь, доклада о могилевских делах.

— Разрешите прежде всего о делах нашего ордена.

Потемкин утвердительно махнул рукой и, обернувшись к Филиппке, страшно выругался русскими словами.

Развалившись в кресле, Потемкин взял в руки раскрашенную таблицу с изображением российской войсковой амуниции всех частей. Сообщением де Муши он интересовался и потому сделал вид безразличия.

Потемкин догадался, что де Муши и есть представитель враждебной Сестренцевичу истово-католической партии, а значит явился к нему с камнем за пазухой против врага Сестренцевича. Предположение оправдалось.

— Наш епископ убедил ее величество, что надлежит ей наложить запрет на ношение членами ордена Иисуса особого, ему издревле присвоенного одеяния.

Де Муши говорил с печальной вкрадчивостью, опустив глаза. Потемкин, обмерив его стремительным глазом, отметил целиком в своей памяти и, уже не интересуясь им больше, углубился в таблицу войсковых амуниций.

— Я доверюсь только вам, ваше превосходительство, — выдавил голосом де Муши, — епископ Сестренцевич есть тайный враг нашего ордена. Но прошу вас отметить: желая вредить ордену, он посягает одновременно и на умаление власти ее величества императрицы. Его недозволение носить иезуитам сутану и заключает в себе начало запрещения самого ордена. Иными словами, епископ Сестренцевич хочет самовольно запретить то, что самодержавием уже допущено.

— Чай, неудобный костюм при амурных делах сия сутана? — не оборачиваясь от своих таблиц, бросил Потемкин. — И для чести мужчины, пожалуй, обидный.

— Возможно, что для лицемерия профанов сутана не совсем приятна, — слегка улыбнулся маркиз, — но амурным делам, я вас смею уверить, она не мешает нимало. — Значительным тоном подчеркивая важность дальнейшего разговора, де Муши продолжал: — Форма одежды, присвоенная ордену, целесообразна. Она освящена временем и значительностью влияния на умы. Она символ особой корпорации. Мантия, скипетр и корона, атрибуты вашей императорской власти, как и все внешние знаки, ведь также могут показаться излишними. Но политикам известно, что воздействие идеи тем обширнее, смысл ее тем жизненней, чем полней она вылита в форму.

Внезапно Потемкин, обращаясь к одному Филиппке, продолжавшему, как столб, стоять у дверей, бурно выбросил:

— А на кой черт мне знать, в штанах или в сутане гулять будет иезуитская шайка, коль скоро Пугачев может двинуться на Москву?!

Де Муши понял, что сказано вельможей что-то грубое по его адресу, и с поджатыми губами, потеряв терпение, встал, чтобы откланяться. Потемкин схватил его быстро за руки, пригнул обратно к дивану и, положив перед ним раскрашенную таблицу войсковых амуниций, любезно и быстро заговорил по-французски:

— Долг платежом красен, по нашей пословице; я внимательно слушал, как одеваются ваши, а вам не угодно ль прослушать о наших: штаны у нас в коннице лосиные, им срок положен весьма долог, так что, их сберегая, солдат должен на свои деньги себе делать пару суконных. Убыток несносный, и требовать с него сию трату несправедливо. Притом, сударь, обмозгуйте-ка всю трудность надевания лосиных штанов! Зимой от сих лосин холодно, а летом прежарко. В старину употребляли железные латы, а так как лосина могла больше вытерпеть, нежели сукно, то ему и предпочиталась. Вот, — крикнул Филиппке Потемкин, — француз меня донял сутанами, а я его донимаю лосинами!

Слуга в парадной ливрее, чуть приоткрыв дверь, поманил Филиппку.

— Эй, что там еще? — крикнул Потемкин. — Выходи сам, докладывай!

— Ваше превосходительство, гонец от государыни, — крикнул Филиппка.

Лакей раскрыл двери и впустил лейб-казака в парадной форме с пакетом в руках.

Потемкин, побагровев всем лицом от волнения, разорвал мигом конверт и прочел:

— «О мой Барбар, скиф, бели медведь, драгоценни Гришифишенька! Злодей Пугачев есть пойман, предан. Поспешай во дворец».

— Парадный мундир, кавалерию! — приказал Потемкин.

И, не извиняясь перед маркизом, совершенно о нем позабыв, Потемкин сбросил с плеч свой персидский халат. Он стоял среди комнаты совершенно голый, смуглый, похожий на чугунный памятник. Камердинер накидывал ловко на огромное его тело батистовую сорочку, кружевом и золотом по всем швам расшитый кафтан. В орденах и бриллиантах, высоко вздернув голову в горделивом парике, Потемкин вынул из стакана свой фарфоровый глаз и ловко загнал его под опавшее веко.

— Карету, черт побери!

— Но, ваше превосходительство... — вне себя от обиды, простонал де Муши.

— А, вы все еще здесь? — И, подойдя к маркизу, Потемкин, не боясь смять регалии и кружева, его внезапно обнял с большой чувствительностью. — Отныне вы желанный гость мой, де Муши, и принимать вас прикажу без доклада. Учение вашего ордена об иерархии мне сейчас будет на руку!

Повернувшись к лакеям, Потемкин сказал:

— Везти тотчас француза куда ему надо, хоть к чертовой бабушке! Доставить лучшими лошадьми и со всеми онёрами. Итак, будем знакомы, маркиз.

Потемкин сделал ручкой де Муши и умчался.

Только неубранное в комнате свинство, развернутая на страницах Екклезиаста библия, разбросанные по ковру бутылки, огромное темное пятно кваса на шелковых обоях одни свидетельствовали о только что бывшей черной меланхолии временщика.

Меланхолия сменилась бурным триумфом.

Маркиз де Муши понял, что пришедший от царицы гонец принес весть о поимке Пугачева. И еще понял он, что сейчас настал час власти и блеска сего капризного русского вельможи.

Несмотря на любезный посул Потемкина и разрешение приходить без доклада, поздно ночью маркиз де Муши писал своему начальнику, кардиналу Анджолини, слезную мольбу отозвать его из варварской этой страны для каких угодно труднейших поручений в землях Европы. Де Муши жаловался, что характер русских ему совершенно непонятен, ибо он основан совсем не на логике, которой подчиняются не только тела земные, но и тела небесные, как правильно утверждал Аристотель.

## *Глава одиннадцатая*

Еще в октябре на заседании Государственного совета слова манифеста, где Пугачев для вящего позора сравнен был с Гришкой-расстригой, были опущены.

Не стоящим раздутия, «скаредным явлением» показалось вдруг и Совету и царице нарождение очередного самозванного казака.

Давно ли, допрежь него, на том же деле были пороты два беглых солдата? Их пороли в тех самых местах, где они себя объявили «Петрами», и навеки сослали в Сибирь.

Самый же манифест, предназначенный вразумить население, решено было отпечатать всего лишь в количестве двухсот публикаций. Для обольщенных злодеевой лестью, предполагалось, достаточно будет и сего «всематерного» увещания, чтобы войти в разум и покаяться. Ясно было, что для прочей империи российской, помимо мест, зараженных «казацкими глупыми гисториями», никакого касательства это новое самозванство иметь не может.

Между тем Пугачев, выступивший всего месяц назад со своим воззванием «встать всем в защиту отечества», уже беспрепятственно занял ряд крепостей и в самой из них сильной — Татищевой — взял тринадцать орудий и гарнизон в тысячу человек. Кроме этой последней крепости, все подносили хлеб-соль, во всех — ворота

настежь, трезвон и присяга батюшке-государю Петру Третьему.

Оглянуться не успели, как Пугачев предерзостно осадил Оренбург. А войск скопил больше двух тысяч, орудий же около ста.

И вот возмущеньем охвачен уже Урал. Встают рабочие люди — мастеровые, приписные. Крестьяне оброчные, дворовые, беглые без числа. Несметны сибирские орды башкирцев...

И что зазорней всего, как то и дело доносили депеши: «из войск, противоставленных бунтовщикам, целые отряды переходят к злодею».

Генерал Кар, опасавшийся, что Пугачев от него в страхе уйдет, не приняв даже боя, был сам Пугачевым разбит.

Однако даже поражение Кара пребывало для столицы все еще обстоятельством частным — посрамлением не слишком храброго генерала. Позорное «Карово дело» приказано было «замолчать». Сам же Кар ни допрошен, ни выслушан не был. И матушка, осердясь на непристойность сего события, повелела:

— Ежели в Москве от приезда Кара болтание умножится — обновить из сената указ старый «о молчании».

Нужно было, чтобы полковник Чернышев захвачен был под Оренбургом со своими солдатами количеством более тысячи человек, да взят с легкостью самозванцем город Самара, да осажден Чикой-Зарубиным, злодейским «графом Чернышевым», город Уфа, чтобы заставить царицу дать второй манифест, где Пугачев уже был приравнен к Отрепьеву.

Наконец пробил час, — не на шутку струхнули... Перестали жалеть для усмирения лучшие войска. Во главе их поставили полководцев, богатых воинской славой. Беду нельзя было уже замолчать. Беду принялись разъяснять.

На защиту своей опоры — дворян — и страха ради за собственный трон инструкция Бибикову дана была царицей без личин, без придворной утайки. Начистоту.

«Поручаем вам созвать дворянство. Изобразить живыми красками, что в пресечении опасного и поносного бунта заинтересованы их семьи и собственная их без-

опасность личная, безопасность их имений и самая цельность дворянского корпуса».

Личности, имению, дворянскому корпусу угрожал Пугачев. С кем же он шел? Кто были его приспешнички?

Доносит секретная комиссия, шлют гонцов генералы: помимо своих яицких, оренбургских, илецких казаков, прельщены злодеевой лестью дворовые и оброчные крепостные, заводские приписные и мастеровые. Прельщены все беглые, все кочевые народы — башкирцы, киргизы, калмыки...

Есть, кроме того, перебежчики из регулярного войска, есть поляки и сами дворяне, ума развращенного, как некий Шванвич, злодейский командир над полком пленных солдат.

Страшней всего, кроме казаков, из всей сволочи прочих людей — заводские мастеровые. Ни земли у них, как у приписных, ни домишка. Те, хоть и за триста верст у них дом, а к себе разбегутся. Мастеровых же взять нечем. Не работой ли от зари до зари, когда чуть что — в колодку, на цепь и под кнут?

Вот донскую казачью старшину чем можно купить — подкупили, а «худые» казаки столь запуганы только что бывшим у них усмирением, что сейчас и сами в бой не пойдут.

Если же дать им к тому же с турками спешное замирение — и сам черт их из хаты от бабы не выдерет.

Голь заводскую и крестьянскую — этих чем взять? Велика и тяжка забота. Можно попробовать хоть ближним рабочим от смуты мыслишки отвлечь, хоть тульским заводам заказов дать года на четыре вперед. Можно прекратить постройку дворцов, починку дорог, дабы рабочий люд скопом не жил...

Однако сама знает матушка: худой плотиной реки не унять. А если из реки уж сейчас океан?

Если поднялись не только буйные «худые» казаки, а восстали рабы подъяремные — крепостные? Если заводские рабочие по своему почину против нее пушки льют из наилучшей стали? Если ее генералы доносят, что чернь вся заразою дышит, сбирается в изрядные скопища для истребления дворянства? Если поднялись кочевые народы? Если от Зауралья к самой Москве катят волны великого возмущения?

«Истреблять дворян надо, ребятушки! Истреблять компанейщиков, судей, мздоимцев! Быть крестьянам свободными от дворян. Отобрать у них все угодья!

Коль не отымете их силу, не вздохнуть вам вовек под работой, обидой и податью».

На барщине — шесть дней, себе — один день, воскресный. Дворяне как на земле, так и на фабрике — без милосердия. Суконные, полотняные, винокуренные заводы — все у них. И везде те же розги, кнут, неволя.

Барин девок позорит, барыня матерям велит щенят вместо суки грудями кормить. И вольны каждый миг запороть, искалечить, вовсе жизни решить. В Сибирь сослать могут, лоб забрить не в черед... а подать жалобу некому. По указу недавнему, кто на своих господ подаст жалобу, к ним же обратно будет отдан на суд, сиречь на смертный убой.

Помещик ныне на французский манер хочет одеться, по-французскому тоньше жить. Коль не хватит оброчных, он не чихнет, всю деревню продаст. Хорошо ежели семьями, а не то и всех вразброс, в одиночку. Рядом с продажным скотом и публикацию даст о людишках.

Был крепостному один свет в окошке — бежать. И бежали в Сибирь, Польшу, на Дон.

И вот ныне есть иное спасенье голому люду — примкнуть к «Петру Федоровичу», справедливому «ампиратору», обещавшему крестьянам в своем манифесте: «землю, рыбные ловли, леса, борти, бобровые гоны и прочие угодья, также и вольность».

Всем идти с Петром Федоровичем супротив бояр — на самую Москву.

А вокруг голи народной, заводских, приписных, беглых тьмы-тем степных воинов, с колчанами и пиками, с визгом и гиком на мелконогих, быстрых как вихри, конях. Накалены биться за землю, за пастбища, за самую жизнь, — все у них взято, им терять нечего.

Вся орда управляется из «дворца государева», что в Берде. У входа денно и нощно стоит почетный караул, на стене персона висит цесаревича, сына — Павла Петровича. К Надёже-государю не идут без любимца его Якима Данилина. Много трудов поднять должен Надёжа, а врагов у него сила. Во дворце у него не от гордости —

от нужды караул. Раньше срока победного чтобы враг его не решил...

Идет батюшка Петр Федорович мстителем за горькое дело народное, за права сына родного. А полками командуют у него славные атаманы: Хлопуша Рваные ноздри — заводским людом, рабочими, Чумаков — артиллерией, Иван Наумович Зарубин — «граф Чернышев», во всех делах рьяный, из первых признавших Надёжу величеством, Иван Творогов — казачьего полка Илецкого командир, Мусса Алиев татарами ведает, Кинсля Арсланов — башкирцами, царицын офицер Шванвич — солдатскими пленными, Белобородов с самим Надёжей направляет все движение.

Хороши атаманы, хороши и детушки, да беда — долгих сроков они не выдерживают.

Многоснежна зима, мало хлеба, и к своему какому ни на есть жилью тянет обратно крестьян... Да они ж и не воины! Им ли устоять против натиска регулярных, обученных, снабженных амуницией и конями царицыных войск? И не устояли.

Взял Муффель зимой Самару, а ранней весной взял Татищеву крепость Голицын. Сам батюшка ее укреплял, сам расставил орудия, а судьбы не было.

И пошли вместо побед поражения.

Через два денька разбил Михельсон Чику-Зарубина, под Уфой потерпел поражение на уральских заводах Белобородов. А за поражениями пошло повальное бегство из Берды, дезертирство в войсках.

Вероломно преданы были три главных соратника атамана изменившей старшинской верхушкой: Хлопушу выследил на кратком свиданье с женой каргалинский старшина и, связав его, свез в Оренбург; атаман Торнов доставлен был Михельсону башкирским старшиной Кидрясом. И «граф Чернышев» — едва узнали про поражение войск Петра Федоровича — закован был в кандалы казачьим есаулом.

Совещание сорока старшин послало повинную Михельсону...

Пугачев не имел силы идти на Москву, где его одни ждали, другие боялись. Где, несмотря на пушки перед домом генерал-губернатора, усиленный дозор и разъезды

стражи по городу, нет-нет, а пробежит вдруг, как мощное пламя, озорной крик: «Да здравствует Пугачев!»

Не имея иного выхода, Пугачев отступил к югу на Дон, на погибель. На краткий миг, — как пламя большого костра, перед тем как ему угаснуть совсем, — две удачи осветили его мятежный закат.

Неутомимый Белобородов поднял заводы. Башкирские манифесты Пугачева вдохновили башкирцев, кинули их орды на пехоту царицы, и «буйство сего народа было великое».

Расстроив все планы враждебных генералов, Пугачев опять победителем въехал в крепость Осу и взял Казань.

С Пугачевым были крестьяне, рабочий люд, простые жители городов. С царицей — дворянство.

Домашнее дело яицких казаков превратилось в борьбу за права всех народов необъятной страны, в борьбу против государственной власти, полагавшей смысл и значение самодержавия единственно в выгодах личности, имения, всего корпуса дворян, в борьбу против самодержицы, ставшей только казанской помещицей.

Пугачев был разбит в трех боях и начал свое знаменитое отступление на юг, которое походило скорей на триумфальное шествие завоевателя. Восставшие крестьяне кинулись к нему в такой силе, что дан был приказ принимать в войско одних конных. Так велика была эта крестьянская сила, что сам граф Панин о ней написал: «Не так важно истребить и поймать самого Пугачева, как укротить дух возмущения в народе».

Царицын был первый город на Волге, не пустивший пугачевцев. Капитан Цыплетев отбил первое нападение. Приготовились сделать ночью повторное, но, получив известие о большой подмоге правительственным войскам, Пугачев заторопился к Черному Яру. Как грозный поток, пронеслись пугачевцы по линиям оренбургской и уральской и, сметя все заслоны, ордами залили страну. Но регулярное войско, богатое оружием, амуницией, фуражом, не могло не стать победителем и пресечь бег народной волны.

Поражение порождает предателей. Предавать начнут дело народное не черносошные и оброчные, не рабочий люд, а верхушка старшинская и с ней те, кто, отъевшись сам, порвал с горем мирским, кому уж оно не болит.

Сел корабль на мель, крысы первые...

В Царицыне было управление всей царицынской линии, соединявшей Дон с Волгой и состоявшей из земляного вала, который тянется от Качалинской станицы. Вот на этом валу и произошел намедни великий конфуз. И не просто конфуз, а вроде всей судьбы Надёжиной поворот.

На валу там расставлены «маяки». Высокие шесты с наверченным пуком соломы. Зажженная солома давала знать об опасности. Содержание вала и разъездов было заботою донских казаков. Для этого дела при особом атамане в год ставило войско донское более тысячи человек.

Пугачевцы подошли вплотную к валам.

Потрясая под ветром косматой громадой, разгорелся огонь маяка. Вдруг под ним на валу во весь рост встал верзила и богатырским криком пустил вниз пугачевцам:

— Здорово, казак наш донской Емельян Иванович, здорово пожаловать!

Мало ль, бывало, кто лаял самозванцем, кровопийцей-злодеем, антихристом, — на вороту брань не висла. А тут и не обидно сказано, да к месту — и вышел зарез без ножа.

Судьба, видно, пришла, и пошатнулась головушка. Когда донские казаки, из тех, что передались только что Пугачеву, поближе рассмотреть его захотели, он, вспомнив тот нарочито дерзостный выкрик из-под маяка — «здорово, Емельян», — отворотил с досадой лицо.

Шепотки побежали по лагерю.

— Донской, бают, ихний казак, хорунжим в прусской кампании хаживал!

— От своих харю воротит, чтобы вдругорядь не обознали. Ему некий с валу уж выкрикнул.

Новые сподвижники еще пуще смутились, когда один по одному донцы принялись покидать лагерь, и в стане Пугачева не осталось вскорости ни одного. За донцами отставать пошли и другие. Оставшиеся собирались кучками то тут, то там и тайком почитывали занесенную в лагерь правительственную столичную публикацию:

«Ее императорского величества, государыни императрицы и самодержицы всероссийской, и генерала

и кавалера графа Панина, определенного для пресечения мятежа».

В бумаге давалось точное обозначение «злодея, именующего себя здравствующим императором Петром Третьим».

«...он есть бежавший со службы донской казак. Знают его все донские казаки, ибо он служил с ними в Польше в начале турецкой войны, ныне прекратившейся. Женат он на казачьей дочери».

Приказал Надёжа секретарю своему написать казакам войска донского грамоту позазывней да поуветливей. К их земле подходили...

Секретарь Пугачева Иван Трофимов, склонив набок голову, прищуря один глаз, выводил посланье: «Вы уже довольно и обстоятельно знаете, что под скипетр и корону нашу почти уже вся Россия добропорядочным образом прежней своей присяги склонилась».

Секретарь поднял было руку взять росчерк, а Иван Творогов, близко к бумаге пригнувшись, глумливо сказал:

— Было дело, да сплыло!

И, ровно клещами зажав руку секретаря сильными пальцами, стал его высмехать:

— Ай, дурак... оскорбление величеству сотворяешь! Именные указы во всем мире подписывать полагается государю самолично, а не секретарю! Неси тотчас к Надёже!

— Держи карман шире, — ухмыльнулся и секретарь, — не дюже Надёжа горазд пером баловаться-то. Намедни всю бумажку исчиркал и с важностью мне при чужих подает: — Это я по-немецкому вспоминаю, на днях в Сарепту войдем.

Я одну немочку разыскал:

— По-какому, — говорю, — тут напутано? Можешь понимать, что по-твоему?

И руками отмахнулась.

— Очень просто, что твоя немка по-немецки читать не обучена, — пряча в бороду лукавство, сказал Творогов. — А ты умей понимать, когда дело тебе говорят. Ужель все разжуй да в рот положи? Небось сейчас высочайший прием? Чай, немало из тех, что в него, как в бога... куй, пока горячо, — пословицу знаешь? Как он

есть царь Петр Федорович, то по-немецкому, равно и по-русскому пребегло должен писать. Так аль нет? Не каракулям, чай, царей обучают?

— Ну и черт ты, Иван... — раздумчиво вымолвил секретарь. — Ведь только случился урон его званию, а мы с тобой еще поддадим? Он и то подозрителен стал. Своим яицким менее верит, к сброду пришлому более жмется.

— Коли дуб зашатался — валить его надо! Сам упадет, когда не ждешь, — зашибить может и насмерть...

Ничего больше не добавил Творогов, вышел вон, а секретарь в великом колебании, хоть знал бумагу свою наизусть, — чтоб перед самим собой протянуть время решения, быть ли ему с Твороговым заодно, либо против, — упер глаза в последние строки послания:

«...и будет вам награждение, древнего святых отец предания, крестом и молитвою, бородами и головами. А в случае непокорства за зверские ваши стремления — погибель».

— Гибнем сами, а гибелью грозим! Ин быть так, поддадим жару! — ответил, наконец, секретарь согласием на невысказанное предложение хитрого Творогова и, держа перед собой бумагу, пошел к узорной палатке Пугачева.

— Тайное государственное совещание, — остановил секретаря ординарец. — Ноне будет экстренный большой выход. После выхода и подашь.

«Что ж, — подумал секретарь, — больше народу — больше будет и конфуз».

Из палатки Пугачева все женщины были высланы. На ковре сидели вкруг, по-турецки поджав ноги и посасывая трубки, одни ближние товарищи — Чумаков Федор Федотович, яицкий богатый казак, и Арефий.

Чумаков командовал артиллерией и носил звание «граф Орлов». Присоединился к войску Пугачева после взятия Илецкого города и сейчас последними неудачами был весьма мрачен и о своем спасении озабочен.

— Ну что ж, — сказал он с хрипотцой, поглядывая на Арефия, по обычаю своему прикрывшего глаза веками, ровно в дреме, — все мы тут ровные, над всеми один занесен московский топор.. Можно ль сказать без огляда, без утайки?

— Говори, Федотыч, послушаем, — лениво вымолвил Пугачев.

— Не хватает у тебя, что ли, форсу пред донцами? Исконфузил ты нас! — сказал со сдержанной злобой Чумаков. — Заместо того чтобы дело скорее замять, ты еще масла подлил в огонь... от своих, от донецких, глаза отвернул. Разговоры пошли...

— А мне что ж для них, мономахову шапку одеть? — осердился Пугачев. — Сами, чай, знаете, на Москву за ней сходить надобно.

— Знать, оно, может, и знаем, — процедил Арефий, — но только пока ты с нами в величествах ходишь, мы тебя в чести видеть желаем. И кобыла своего жеребя бережет не за то, что пригож, а за то, что сама его родила. Не сдавать себя должно, вот что! Коль назвался грибом — сиди в кузове. Никакое слово не должно тебя ушибить. А ноне ты ровно девка...

— Устал я, — сказал нехотя Пугачев. — Перезимовать бы в Яицке да весной враз ударить. А то силы вышли неравные. Михельсон не прежним трусам чета, и все новых войск шлют ему, и все тесней вокруг нас их кольцо. К весне бы свой сброд и мы подтянули, мастеровыми пополнили б.

— Про войска особый будет разговор, — обрезал Чумаков, — в момент требуется твое величество п о н о в и т ь! У нас какой ни на есть сейчас сброд, назавтра с ним новый город брать надо. Некий без роду-племени ими уважен не будет. Безотлагательно, тебе говорю, поновить тебя следует. Устрой выход царский и досмотр всем к нам приставшим заметным людям.

— Что ж, это дело, — согласился Пугачев, — обряжайте меня.

В этот вечер Середович впервые увидал Пугачева. Давно понял он, еще дорогой на Волгу, что Арефий, выходит, один из тайных важных приспешников государя. И потому он нимало не удивился, когда тот сейчас вместе с ближайшими вышел из государевой узорной палатки.

— Ну, радуйся, старичок, — сказал Арефий, — завтра и на твоей улице будет праздник. Спрос на язык твой немецкий имеется. Мотри, не ударь лицом в грязь. Я Надёже про тебя доложил, — интересуется.

Середович испугался. От сарептских взаправдашних немцев Минкиным четверостишием уже не отбояриться. Окончательно душа ушла в пятки, когда его потребовали к государю.

Весь штаб Пугачева облекся в парадную форму. Яицкие казаки были нарядны: бешметы бирюзовые, малиновые и желтые, у кого из сукна, у кого из шелка. Кругом низких воротников и по борту шел золотой галун. У старшин пошире, у простых победней. На бешмете другой кафтан до пояса расстегнут, с длинными рукавами, завязанными на спине. Кушаки в серебре, азиатские сабли через плечо. Шаровары широкие — в сапоги, и шапки лихо заломлены.

Пугачев вышел, поддерживаемый с двух сторон смазливыми, ладными девками. А по бокам у него два казака — один с топором, другой с булавой.

На Пугачеве была парчевая бекеша, сапоги красные. На голове шапка из покровов православно-церковных.

«Должно, раскольники поднесли», — подумал Середович.

Особо важным Надёжа ему не показался. Был он среднего роста, широковатый в плечах, узок в бедре, как татары. Лик имел худощавый, с чернявой бородкой. Глаза то тихие, то вдруг острые, с прожелтью, не иначе ястребиные. И по-птичьему зыркануд — туда, сюда.

«А царю негоже б так зыркать, — не одобрил про себя Середович, — царю надлежит не мельтешить глазами, а их упирать с твердостью и, сказать, не мигать вовсе. И не держи его девки — он, почитай, сам к тебе дробью подкатится. Степенности нет!»

— По какому делу? Откуда пристал?

И, не дослушав толком ответа, Пугачев уже кинулся к Середовичу, на коего, нечто пошепча, указал пальцем Арефий.

— Это ладно, что по-немецкому можешь. Значит — толмачом тебя жалуем при нашей персоне. А удача выйдет, в Сарепте губернатором сядешь.

— Да я, ваше императорское...

Куда там! И говорить не дал и рукой отмахнул:

— Свою прыть на деле покажешь! Екзамен нам делать некогда. Вполне доверяемся нашим министрам, — указал на Арефия. Сам на других глаза перевел.

А ведь Арефия нипочем не признать в полной парадной форме! Кафтан в галунах, барашков маленьких шапка высоченная, а сабля на боку кривая.

Только что по своему обычаю и тут хочет мысли свои утаить. Вперед всех стоит ровно, веками взоры прикрыл, сказать — дремлет стоя, как конь. Лукав человек!

За Надёжей знамена веяли: собственного устава белое с алым, полковые — тоже алые да желтые, и самое знатное — голштинское. Знамя, о коем столь много беспокоилась царица. Говорили, что с одним верным человеком то знамя прислал отцу сын родной — цесаревич.

Пугачев был сегодня взволнован и плохо собою владел. Выработанную плавную речь он то и дело сменял своей привычной скороговоркой. Впрочем, тотчас спохватывался, и лицо его, некрупное в чертах, худощавое, с поднятой кверху бородой, раздувалось и тяжелело от важности.

Прием был недолог, заметных людей не много прибавилось. Густой толпой стояли недавно примкнувшие крестьяне, почитавшие батюшку истинно Петром Третьим. Впереди стояли невеликой кучкой перешедшие из правительственных войск вместе с есаулом Крапивиным, преклонившим перед Надёжей хорунгу.

Эти слушали всех внимательней разговор из-за подписи на указе, посылаемом ныне к донцам.

Змея Творогов, выбрав минутку, подтолкнул-таки секретаря Ивана Трофимова, и тот вышел скромненько с походной чернильницей и пером прямо к Надёже. Под лист подписной секретарь собственный локоть в желтом бешмете, как кирпич, подложил.

И змея Творогов, поклонясь, вымолвил:

— К именному, батюшко, полагается завсегда твоя, государева, подпись.

Вспыхнул Пугачев, в упор взглядом ожег Творогова,— знаю, мол, твою цену продажную,— и ответствовал с гордостью:

— Пока не возьму Москвы, своей подписи ставить не буду. Некий самозванный может найтись — неровен час ее подделает. А на взятье Москвы, ребятушки, — поднял голову Пугачев и широко оглянул всю толпу, — все надежды нам есть, что возьмем! И что именно подает нам надежды? А то именно, что распалился народ наш, что

терпеть ему стало довольно. Сам враг про нас в донесениях своих вот как объявляет: нет им сопротивления, нет им препятствий! Намедни в городе Инсаре крестьянин некий назвал себя царским нашим именем — и что же? К нему тотчас примкнули тысячи, а воевода бежал... И весь город сему самозванцу покорился. Нашего собственного величества от сего дела нимало не убыло, а пример мы на нем получили: сколь велико есть доверие у народа к одному имени нашему. Чует народ, что идем мы за дело его, за справедливое.

Пугачев охвачен был вдохновением, его глаза с пламенем и восторгом в себя вбирали толпу. Он верил в то, что он говорил. И его слушали в величайшей тишине. Уже не природной скороговоркой и не с наметанной, рассчитанной важностью — он сейчас говорил с искренней силой, созданной большим чувством. И как меткие стрелы, вонзались слова его в сердца окружавших.

— Мы, Петр Третий, отеческим нашим попечением наградим всех истязуемых в подданстве у помещиков, наградим свободой вечной и вольностью. Мы не потребуем рекрутских тяжких наборов, ни подушных, ни прочих каких отягощениев. Мы всем возжелаем спокойной в свете жизни. Всем, кроме дворян... С дворянами же поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили, ребятушки, с вами!

Пугачев шагнул, подняв обе руки, как дающий отпуст и благословение пастырь.

— И восчувствуем мы, ребятушки, тишину по истреблении всех народа обидчиков, супротивников. Спокой и радость пребудут с нами вовеки! Так идем же вперед!

— Идем, батюшко, за тобою, идем! — заревела толпа.

В это время, минуя устав, без доклада прорвались сквозь толпу мужики. Они стали перед Пугачевым на колени и сказали:

— С челобитной к тебе, батюшко, от трех деревенек. Примыкать желательно к твоей силе.

— Сколько же будет вас? — спросил Пугачев, сделав знак, чтобы подняли челобитчиков.

— Да тыщонка сыщется. А еще идут к твоей милости все суседские...

Пугачев подозвал Творогова и, торжествуя еще одну свою победу, ему приказал:

— Распорядись, Иван, принимать. Да запомни: сейчас нам с руки одни только лошадные.

— Вот, ребятушки, — указал на челобитчиков Пугачев, — новые тысячи к нам идут, да беда — по походному делу приходится брать одних конных.

И, кивнув на все стороны головой, Пугачев простился с войском и ушел в свой шатер.

Вступила на небо ночь, и развели костры в лагере. Полегли казаки вокруг костров. Разношерстно Надёжино войско: тут калмыки с колчанами и диковинными шестами, где, на приклад бунчуков, на конце словно начесаны гривы на конскую голову. Они в полосатых сине-белых халатах, в высоких шляпах войлочных, изузоренных тесьмой. У самых знатных башкир на шапке кисть золотая, как куполом, покрывает шапку до круглых краев. Рабочий люд в домотканщине, подпоясаны кушаками.

Вооружены — кто чем: пистолеты, ружья, у мужиков — косы, а то штыки приделаны к рукояткам. Составили казаки вместе пики и, не снимая шапок с красным верхом, придвинулись близко к огню, чутко слушая за собой храп стреноженных лошадей.

У Пугачева еще немало было людей, когда залег он на этот ночлег пред Сарептой, городом немецких колонистов. Но дорожил он по-настоящему одними своими казаками, ядром боевым: яицкими, оренбургскими, илецкими да вот донскими, что быть — были, да все выбыли. Прочих, за исключением заводских мастеровых, не считал даже войском.

— Не ядро они — народ присыпной. Сегодня есть, назавтра по своим хатам рассыпались... пустых щей хлебать.

Затихло в лагере. Полная светит луна ровно, белым светом, как над мертвыми полями битвы. Прохладна августовская ночь. Укрутились воины во что ни попало: в конские попоны и в пустые мешки фуража. Слышней возятся кони, дергая из торб сено, громко жуют. Калмыки и башкирцы зубами скрипят или вдруг взвизгнут — им бой и во сне чудится.

То тут, то там взметнет снопом искры головешка костра — не иначе казак-великан пыхнет трубкою. И держит холодная черная степь боевой лагерь Надёжи на своей широкой груди столь равнодушно, как многородящая

утомленная мать, когда она уже не радуется своим детям, а лишь отбывает повинность кормления.

А над степью ночь темносиняя, и ее исколотый звездами купол с таким же равнодушием покрывает разномастное войско Пугачева, как и казенный лучший дом в городе Шацке. Там граф Петр Панин сидит у письменного стола в сером атласном шлафроке, украсив свою лысеющую голову французским высоким колпаком с розовыми лентами. Далеко отводя от бумаги, по причине дальнозоркости старческих глаз, свое лицо, коротконосое и ставшее от розовых бантов и серых атласов совсем бабьим, доблестный вождь выводил свою реляцию о положении края, подпавшего лести злодейской:

«Уже за двумя реками, Медведицею и Хопром, коменданты трепещут в крепостях, от отнятия у них крестьянами оных. Губернаторы рассылают денно и нощно курьеров, чтобы генералы с пехотою поспевали через четыреста верст таких комендантов избавлять.

А так называемые полевые команды с осмью пушками отдают себя казакам и крестьянам в полон...

По моему же повелению виселицы, колеса и глаголи расставлены при селениях на казнь».

Письмо это докончив и надписав адрес родному брату своему Никите в город Санкт-Петербург, Петр Иванович перешел к начертанию ордера, где некие строки имели отношение к защитнику Царицына Цыплетеву.

Сей капитан, как уже графа известили старатели, осмелился самоуправно послать извещение в Петербург об отбитии нападения на Царицын, минуя его, главнокомандующего.

И столь внедрен был военный артикул в почтенного графа, что, несмотря на волнение, охватившее целый край, несмотря на колеса, глаголи и виселицы, которыми он себя сам утруждал, дабы сие волнение пресечь, — он нашел время еще измыслить Цыплетеву в отместку за то, что он ему, графу, «манкировал», ядовитые строки:

«...как донесение ваше отправлено прямо в Петербург, то воздаяние и одобрение столь великих ваших заслуг надлежит вам ждать оттуда же».

Вот и подождет награды теперь Цыплетев. А ты в другой раз не манкируй, не посылай реляции без доклада и апробации прямого начальника!

Не спится Пугачеву. Он смотрит в степь в драное полотнище палатки, — по шву оно разошлось. Жрут девки, спят, а зачинить не могут.

Сна нет, и встать неохота. Вот так: побыть без речей, глядеть в степь звездную, как, бывало, в многих странствованиях по степи этак-то глядывал до зари.

Вот он весь тут: среднего роста чернявый казак. Мало ль в станицах таких? Сам знает, что много. Больше того, знает: за то и цена ему, что свой он во всем, от волос в кружок стриженных, от смольевой раскольничьей бороды... То-то вся сила казацкая, весь их гнев за отнятую вольность, вся их дерзость правду искать без единой препоны могут влиться в него!

И потому, что не одинок он, легко взял на себя имя царское. Не испугался ни бога, ни черта, ни адских мук, иже «уготованы аггелам его»...

Около раскольников рос, сам, почитай, ихнего толку. А ведь они про земную-то власть разъясняют помудрее попов.

«Несть власти аще не от бога»... — а ее, царицына, власть от кого?

Немка пришлая, без всяких правов на престол российский. Царя Петра, законного, не моргнув, отпятила от престола, убила. Возрастного сына на помочах водит. Кабы вовсе со свету не сжила! То ли это от бога?

Коль бог справедливость имеет, любезней ему должен быть он, как бы там ни назывался, который, когда Москву возьмет, народу все вольности даст и сына своего не оставит в черном теле...

Пугачев расчувствовался. Уже и про себя, один на один, он привык чувствовать, что и впрямь Павел — сын ему. А сам он всему народу отец. Ни рекрутчины, ни налогов, соль раздаст даром. За Павла ж ответ сама царица перед богом снимет, — из дворца добежали небось шепоты: боится Павел отравы матери.

Ответ остается ему пред людьми, — пред какими, спросить?

Ежели пред своими, перед ровней, мужиками, служивыми, заводскими — так вот не угодно ль: еще на днях из Воронежа челобитчики приходили. От всего мира сельского челом, бумагою били — «хотим под твоей отцовой рукой быть!»

А ставропольские, оренбургские калмыки при занятии генералом Мансуровым Яицкого городка к кому перешли? Шестьсот кибиток с детьми и женами. Все к нему!

— Отеческое твое попечение сим людям, видать, более по душе, нежели царицына всематерняя милость, — сказал тогда Овчинников, делая в том указе экстренное сообщение.

Вздремнул малость Пугачев и тотчас сон увидел, будто все донские казаки ему присягнули, а он их кармазинными халатами с крупным золотым галуном жалует. Дрогнул, снова проснулся, последнее время чуток стал сон...

Принялся думать о любезных и лестных вещах: генерал Ступишин, губернатор нижегородский, шутка ли, из-за него ярмарку закрыть приказал. А Москве какого страху нагнал, будучи еще за тридевять земель от нее!

В Касимов из Воронежа два гусарских полка да два пикинерных двинули. Из Новгорода на подводах лейб-гвардии кирасирский полк привезли. Уставил пред своим домом всю площадь пушками сам генерал-губернатор Москвы князь Волконский. Приказал полиции зорко следить за каждым бродяжкой.

Вот как страшились, что двинется на Москву! И почему в самом деле не двинуться, почему?

Дробно застукало сердце, стало тяжко дышать, — откинул входную полу палатки. Спали все в лагере — и войско и стража его.

Вот они — тысячи: сами к нему пришли, сами его хотят. Люд крестьянский, рабочий, солдатчина бессрочная — иногородцы. Да мало ли тут с ними слез, пота кровавого? И не все ль им равно, кто поведет, было б кому вести!

Эх, уж завоеван был целый край, уж арьергард обеспечен, на Москву только двинуться оставалось. Из рук взято дело. Теперь начинай все с начала. Пошатнулась головушка...

Нет, не донской это давеча был казак на земляном валу. Не он выкликнул его имя крещеное. Это сама судьба его одернула:

— Стой, Емельян! Ни шагу дале...

Неудачи ноне пойдут — это чуяла душенька с того самого дня, как он свою «Черную бороду» потерял —

орден на лазоревой ленте, который возлагал на себя в наиважнейших оказиях. Сам его выдумал, сам так назвал. Сам же сказал себе: отныне это мой талисман. Поколь при мне будет, не оставит меня счастье в боях.

В бога то ли верил, то ли нет, а уж вот в приговор-заговор, в талисман как не верить? И тот орден счастливый был.

Как налагал он ту ленту голубую на свой алый кафтан, при нем одна баба была, очень ему нравная. Она же, та баба, дуро́м и воскликнула:

— Ой, батюшко, твоя смольевая бородушка что солнце на лазоревом поле!

А тут енералы:

— Как прикажешь твой новый орден назвать?

Был в веселом духе, сказал:

— Чай, нам не гербовники тормошить. «Черная борода» — вот мой орден.

Так с тех пор и пошло...

Потерялась эта «борода» вместе с шкатулкой, полной других регалий, аккурат после разгрома под Троицкой и бегства по линии. И в самый тот день, как столь лестную похвалу от самого Михельсона привелось получить.

Близ деревни Лягушиной Михельсон, выйдя из леса, увидал на поляне в пяти верстах тысячи две его войска. И что же? Ведь обознался — за регулярный Декалонгова генерала корпус принял. Разведчик перехваченный рассказал. То-то было потехи!

Со зла как буря Михельсон налетел. На него же киргизы ответно. Сразу было подмяли, однако не в добрый час молодцы к орудиям кинулись. Их тут сам Михельсон с изюмскими гусарами да на свежих лошадях и настиг.

Сытно воспользовался Михельсон. Оставили у него последнюю пушку, шестьсот убитыми да четыреста взятыми в плен. И вот тогда-то утратилась и «Черная борода».

«Мой был талисман, нонче, видать, суждено, чтобы еще чей иной! У казаков наших мало ли черных бород?»

Уже донцы поотстали — на что он им, коли стал неудачлив? Ужель и яицкие свои не тверды? Обидно...

Вот Иван Творогов напирать вздумал, чтобы сам указ подписал, а тогда, при удаче, небось и пикнуть не смели. И грамотой не пеняли, пока его сила была.

Казак Иван Шундеев да Григорий Туманов от его имени какие приказы писали башкирским старшинам! О наборе людей, лошадей, о немедленном их представлении. И представляли. А подмахивал именные кто? Да все Иван Творогов. Сам только печатью тискал с царской персоной на сургуче: дескать, «нашей короной укрепить соизволили».

«Оно, конечно, от своей судьбы не уйдешь. Однако, может, еще не судьба погибать-то? Может, еще выскочу? То ли бывало?»

Из Берды бежал с горсточкой и под Сакмарским городком, почитай, голый, а была судьба — и собрал в Башкирии новую силу.

Припоминать стал особо удачные дни на Авзяно-Петровских заводах и Белорецком. Вот если б там сейчас отдохнуть — да со свежими силами. Бывали дела: всю святую неделю там просидел, чтобы Щербатова с Михельсоном со следов сбить, — и ведь сбил. Кроме того, впридачу Башкирию поднял!

Как снежный ком, что с горы катится и сам собой в гору растет, табун за табуном скопились наездники. Свои следы пожарищем намечали, чтобы врагам было нечем разжиться, мастеровых с собой брали, и становились они первыми воинами у Хлопуши.

В Магнитной пробыл два дня. Усилен был приходом Белобородова с новым скопом и Овчинникова с своими яицкими.

А команды царицыны нипочем настичь не могли. И невдомек им, почему у них кони с ног валятся, а мы всё на рысях впереди. А разгадка-то вся в мужичках. В каждом селении нам свежие кони готовы, и не силком, от своей воли люди готовили — так-то! А царицыным ни за кнут, ни за плату нету коней! Под кем, значит, люди-то быть хотят? Под ее высокоматерней милостью, то ли под нашим справедливым, под отеческим попечением?

А верстах в двух от Троицкой ведь чуть было не погиб! От кого? От некоего поручика Петра Беницкого. Опять пришлось с пятеркой своих от Декалонгова генерала бежать. Поручик тот горячий — в погоню... уж вот он шагах в десяти. И морда коня вороного вся в пене, храпит конь, а сам поручик — как на картинах рисуют — белый, ровно мел, рот открыл и визжит, очень ему живьем

схватить хочется. Шалишь! В тот час судьбы еще не было, чтобы схватить.

А какие полководцы супротив меня воевали?

Князь Федор Щербатов — он крепости брал в Крыму: Керчь, Еникуль; князь Голицын, Фрейман-генерал, что донцов усмирял. Еще Декалонгов, сейчас вот Михельсон. А над Михельсоном — граф Петр Панин, и с фронта вызван сам Суворов.

Больше всех нравился Михельсон. И любил просматривать его стратегию.

— Учусь я у сего полководца, ребятушки, как царь Петр у шведов учился!

Нет, решительно не спалось в эту ночь. Звезды, что ли, мешали? Словно любопытные соглядатаи, гвоздили они сверху его и с боков, где разъехались швы дорожной палатки. То ли беспокоило, что «язык», словленный вечером, сказывал, будто пуста Сарепта-колония — все ее немцы выехали в Астрахань.

Для отдыха от зловредных мыслей стал прошлый путь Михельсонов просматривать. Все места ведь в памяти как на ладони. А диспозиция больно занятная была такова:

На Симском заводе Салават, с ним три тысячи башкирцев. Неподалеку, на Салткинском заводе, атаман Белобородов, «безногий енерал», со своей тысячей и шестью орудиями. Михельсону, хоть убей, помешать надо их встрече. А чтоб помешать — кроме Уфы, перейти ему через реку Сим. А там полсотни мостов водой снесено. Ну, работы понтонерам! Да что фуражу с собой надо брать, словом — мешкотное дело! От худой дороги артиллерия поломалась. И главное — все мужички с работы бежали. Куда? К кому бежали?

А прямехонько в наши войска. К нам бежали.

Однако Михельсон взял-таки Симский завод. Вот какого воителя супротив выслали!

И ведь почти так же лестно было сейчас вспомнить, что побил тогда Михельсон, как если б своя была удача. Есть поражение к чести, есть к бесчестию.

Понатерли солдаты портянками ноги. Из-за кого? Из-за «злодея, донского казака»?

Нет, покруче замешана каша

Не как стадо тупое, не вслепую поднялись люди. Сами знают, чего им добыть себе надо. А что сегодня один поведет, а назавтра другой — не в поводыре теперь сила.

Тихо в степи. Смотрят звезды в палатку — молчат. И пред необъятной степью необъятна и гордость в душе.

Что б дальше ни было, уже не забудут люди его. В целом мире знать будут. Царь Иван Грозный под Казанью семь лет простоял, а у него Казань в три часа пеплом покрылась! Какую силу поднял! Какая сила за ним пошла!

И в случае даже теперь будет конец? Так не делу ж народному. Что ж до имени, то имя взятое, как до него брали, и после возьмут.

Но делу конца быть не может: сырые дрова вовек не раздуть, а в сухостой искру кинь — и готово. На пожар все готовы: рабочий люд и крестьянский. Про степных речи нет. Только гикни — пять, десять тысяч коней двинут в бой! У них и старшинам и голи — всем под царицей петля.

И вспомнив, как только что потрясли ребятушки лагерь дружным криком: «Веди нас!» — Пугачев почувствовал прилив силы необыкновенной.

— Повоюем еще!

А снесут голову, а уймут черную бороду, — мало ль найдется новых черных бород!

Хоть и не спал, а ровно в реке искупался, — успокоила степь. Необъятная и широкая, и над ней купол велик густой ночной синевы.

«Да что тут загадывать? Хоть день — да мой!»

Дрема смежать стала очи, и Пугачев зашептал не «вотчу», не «богородицу», а понравилось — еще мальчишкой был — дьячок в церкви непонятно некое читал. От тех слов океян вставал волнами. Катились мерно, одна за одной, тяжелые, ровные: «Многочастно... многообразно...»

А что именно, дальше Пугачев никогда и узнать не пытался. Заснул он крепко и снов не видал.

А тем временем в дальнем углу лагерей, за кибитками и палатками, в укромном месте, под огонек небольшого костра велось своим чередом заседание.

Один из перешедших в Алатыре солдат, с недавно остриженными, мукой пудренными пуклями, уже не бритый, но и не поспевший запустить казацкую бороду,

держал в руках недавно выпущенное воззвание святейшего синода. Вокруг солдата сидели фигуры, сказать — набранные из театров. Кто в свитке и барских лаковых сапогах, кто в дворянской бекеше и лаптях, третьи, хоть одеты правильно, по-казацки, однако морды, как у читавшего солдата, в мелкой щетине, выдавали таких же недавних приверженцев регулярных царицыных войск. Озираясь по сторонам и снизив голос до шепота, солдат стал читать по-дьячковски нараспев:

«Православные всероссийския церкви архимандритам, игумнам, пресвитерам, дьяконам, монашествующим и всему причту.

Видите вы, что дьявол нападает на стадо христово и нашел свое оружие — злодейственного разбойника, врага отечества и церкви, донского казака Емельку Пугачева, который попрал своими делами веру, закон и отечество, дерзнул присвоить священнейшее имя государя и приобщается последователям антихриста.

...Мы с сожалением взираем на некоторых, что они, приобщась оного злодея клятвопреступлениям, навлекли на себя погибель вечную, уготованную сатане.

Страшно есть впасть в руце бога живого. Страшно услышать голос: отыдите от меня, проклятии, в огонь вечный, уготованный дьяволу и аггелам его. Не верьте ж ему!..»

— Ой, братцы, точно, не верьте ему!

Солдат воскликнул вдруг, вне себя, в полный голос. Но тотчас он, устрашась, пригнул голову и дошептал трепетно:

— Братцы, ниспровергнуть сего злодея надобно!

— Вот истинно, — сказал один, — как бы с ним и нам оными проклятыми не оказаться.

— И точно... в столицах нас не похвалят, — подхватил печальный некий в бекеше, — а Надёже здешнему да как бы не вышел скорый конец.

— Генералы царицыны его со всех сторон теснят, — зашептал тот солдат, что читал синодское воззвание. — Сам Суворов, слыхать, в свои руки дело берет. Кто, братцы, устоять может супротив Суворова? И опять рассудить: ужели все, как один, генералы и сам граф Панин на законного государя Петра Третьего подняться могут?

— Вся повадка царя здешнего, — загнусил вроде бабы некий обвязанный, не по своей воле приставший из торгового ряда, — вся, говорю, повадка обличает, что он миропомазанных родителей никак не имел. А предал свой живот ослушным яицким казакам. Он на них озирается, ихней воле супротивиться не может. Хочет сам на Москву, они тянут его на Яик! И главное дело — петляет он, ровно заяц, от царицыных генералов. А куда допетляет — неведомо. До конца дело его дойдет, небось не нас — себя одного спасать станет. Вот и надо б самим о себе схлопотать...

— Да вот, к примеру, у нас назавтра город Сарепта, — перемигнувшись с торговорядским, сказал солдат. — Она, слыхать, колония, и жители в ней немцы. Непьющие все, хозяева — первый сорт. Вот хоть бы к ним в батраки стать. Что у них садов, что бахчей! С горчицей на сотни десятин развернулись, самим уже не справиться — наймают. Из семени масло жмут, из жмыхов горчичных муку мелят. Которые семя обрушивают, у тех мука желтая, что песок. Горчицей славятся.

Середович был у костра. С ужасом осмыслил он наконец, куда и к кому попал с пьяных глаз и что в будущем его ожидает.

И порешил тут же твердо: от Пугачева отпятиться, остаться в Сарепте. Тем более что из-за Минны ему теперь все немцы стали родней.

Занятый своей мыслью, Середович уже в пол-уха слыхал, как один из сидящих, внезапный защитник Пугачева, вдруг вымолвил:

— А генерала Бибикова конец? — начал он нерешительно. — Это понимать, братцы, надо... Так сплеча не рубайте. Не царского, дескать, корня. Что чеснок с солью батюшка уважает более дворянских всех разносолов, так у него это обычай от плохой жизни остался! Мало ль претерпевал... от врагов скрывался? А чем он вам не царской повадки, когда в красном кафтане с енералами выйдет, на коня своего сядет, а не то артиллерию наводить примется?

— Чего раскудахтался? — прервал солдат. — Коль начал про Бибика-генерала, кончай, кака така смерть ему вышла.

— А такая, что как съехался с батюшкой он вплотную, как узрел точную персону цареву, так и познал, что он есть точное величество. Потому покойного императора этот Бибик еще живьем видал. Устрашился Бибиков, поднес к устам своим пуговицу с крепким зельем и тут же помер.

— Чего ж это Михельсон не устрашится твоей царской персоны и как поближе подойдет, тотчас ее и побьет? — насмешливо спросил голос.

— А Михельсон — немец, ему православный царь — что антихристу, — упорствовал защитник в домотканном кафтане.

— Да ведь сам-то твой Петр Федорович немец был!

— Ну уж за это тебе и по харе смазать не грех! — обиженно сказал кафтан. — Православными немцы вовек не бывают.

Шестого сентября переправился через Волгу Суворов, и, преследуемый, вернее — окруженный со всех сторон правительственными войсками, Пугачев попал в западню. Суворов, противоположно медленной пышности Панина, двигался стремительно, налегке, в походной простой одежде, и уже одна эта устремленность действовала как победа.

Суворов поставил семь гусарских эскадронов охранять переправу через Волгу, стянул к Красному Яру полевые команды. Дундукову с его калмыками приказ дан был разъездами охватить всю степь до Эльтонского озера.

Куда было бежать? Куда было податься?

«Обнимайте бдением вашим, — писал Багратиону Суворов, — Кубань, Дон и калмыков, воображая себе побег Пугачева могущим быть и к Тамани».

Насколько власти недооценивали силу движения вначале, настолько сейчас, при конце его, проявили военный азарт. Отрезанные от передового отряда, войска Пугачева, как вода, пролитая в песок, всасывались обратно в гущу народную, предоставляя «пятого» или «десятого» — где как постановлено было начальством — виселице, глаголю, кнуту графа Панина.

И к Тамани Пугачев не бежал. Он отступал к Узеням. Голова его оценена была в пять тысяч рублей, доставка живьем — в двадцать пять.

Пугачева собственные приспешники-енералы, спасая свою шкуру, вот-вот возьмут голыми руками и передадут властям: только и будет труда генералам в поднявшейся сваре, что определить, кому принадлежит честь первая в низложении «злодея».

Пугачев горевал об утрате своего ближайшего войскового атамана Андрея Овчинникова.

Приближенные утешали его, как умели: ведь это мы тебя государем нашли, ведь это мы тебя возвели!

— А эдаких Овчинниковых и в глазах не было...

— Овчинников позднее явился. Когда его и черт не знал, были мы.

Обижались казаки, что полюбил Надёжа Овчинникова и с собой за стол сразу вздумал сажать.

Жалел Пугачев и о том, что под Черным Яром весь утратил обоз и двух дочерей малолетних. Ехали они за ним следом в коляске, где в хитрых тайниках вся его казна и все драгоценности были заделаны.

На косогоре перевернулась коляска, так и осталась лежать, не до нее было. Всяк спасал свой живот.

Сейчас вот таскались по холодным, на зиму ставшим степям. Почитай без воды и без хлеба, и томились смертельно.

Ночью сделали совещание. Пугачев было встряхнулся. Как бывало, орлом предложил:

— А ну, детушки, в Запорожье? В Сибирь? К калмыкам? Не наберем, што ль, людей? Не впервой нам...

Казаки были хмуры... Сидели молча, уставя очи в брады. Как дикие кабаны, наготовя тайно клыки, протвердили одно:

— Нет нашей воли идти!

— Переменились, выходит, местами, — усмехнулся Пугачев, — поводыри ноне вы, а я — замиренный медведь. Ин ладно, куда поведете, туда и пойду.

Казаки упрямо сказали:

— Нам желательно только вверх, к Узеням.

Оглянул всех Пугачев:

— Мало ль вместе городов брали, пиров правили, знали дни красные и превратные?

Не смотрят казаки в глаза.

Бесконечная тянется степь. Снег повыпал.

Степной снег был без жалости и — под недобрым ветром — колюч. Снег обидно заплющивал очи и седоку и коню. И роптание слышал Пугачев среди спутников на несносное сие мучительство.

На ночлеге в Узенях, когда ушли многие поохотиться на сайгаков, впал он в какое-то отупение. Планов больше не строил, хотя нет на завтра ни боевой цели, ни коням фуражу, ни убежища воинам.

Перебирал в одной не изменявшей ему военной памяти, как именно произошло посрамление под Сальниковым заводом, где, сразу после разгрома Сарепты, его нагнал Михельсон.

Еще пьяный немецкими настойками, но отдохнувший и полный прежней удали, Пугачев прибег к способу нападения, ему не однажды приносившему победу над войском царицы. Он открыл сразу орудийный огонь по всей линии и вдруг двинул пехоту.

Но изменники народному делу, донские казаки и чугуевцы, с самим Михельсоном ударили в контратаку столь стремительно и удачно, что растерялись пугачевские молодцы и, сколько он их лично ни улещал, все бежали.

Двадцать четыре орудия взял Михельсон и преследовал сорок верст. Пугачев потерял войско, двух дочерей и казну. И погиб друг, Андрей Овчинников. Сейчас у него всего-навсего двести человек вместе с яицкими. И горько ему, что из этих двухсот доверять он может только чужим, а не им, бывшим ближайшим, своим яицким казакам.

Если не мог точно знать, то чувствовал, что они, боевые товарищи, не только неверны — они умышляют против него.

И действительно: казаки Иван Творогов и Федор Чумаков уговаривали всех прочих Пугачева выдать властям. Чтобы раскалить себя, поминали его вины важные и пустые: не мог, дескать, подписать бегло указ, да взятый им сан уронил в глазах войска женитьбою на простой казачке Устинье Петровне, да и мало ли что...

Чтобы остаться им только в своем яицком кругу, заговорщики потребовали от всех прочих спутников Пуга-

чева сдачи коней. Насильно спешенных ими людей они пустили идти на все четыре стороны. И осталась от могучей и страшной орды едва ли дюжина.

Наконец наступил последний день не то что власти — самой свободы Емельяна Пугачева, императора Петра Третьего.

Казаки, пошедшие на охоту, нашли неких старцев в землянках, а при них огород и бахчу спелых дынь. Пугачев пригласил товарищей ехать к тем старцам за пищей.

И, как часто бывает как с палачом, так и с жертвой, когда уже оба знают — одному гибнуть надо, другому его погубить, — они в самый последний миг испытуют судьбу: авось пройдет еще мимо!

Пугачев, бывало, устраивал состязания башкирцев и калмыков на лучших отборных конях, чтобы в свою конюшню отобрать победителя, и хранил как зеницу коня-молнию на последний свой день, для последнего бега.

И вот почему сейчас он же сам, уже ведая про измену казаков, велел оседлать себе коня наихудшего?

Ведь знал, что идет не с подручными, а с врагами, идет в такое пустынное место, где им всего легче его будет взять.

А почему это Иван Творогов, решивший твердо недавнего друга, сейчас уж «злодея», выдать властям, дабы миновать для своей головы смертной плахи, — почему, вопреки своей выгоде, превежливо стал упрашивать Пугачева взять себе коня л у ч ш е г о?

— Вы такую худую лошадь под себя берете? Неравно что случится, было бы на чем вам бежать!

И Пугачев Творогову:

— Берегу хорошую впредь!

А что хорошего ждало его впредь? Измена, арест, четвертованье в Москве на Болоте?

Подъехали к старцам: Творогов на отличном коне, Пугачев на плохом. Старцы свои души спасали. Они развели чудесные дыни и отказа в них ближнему дать не могли. Повели казаков брать на выбор. Осталось вокруг Пугачева меньше народу, чем в те начальные решающие дни, когда он впервые сказал, распахнув грудь и указуя на рубцы от ран: «Вот они, мои царские знаки!»

И спросил его Чумаков, в последний раз применив к нему царский титул:

— Что же, ваше величество, куда думаешь дальше?

Екнуло сердце вещее. Ведь только что порешили — куда, и снова чинится допрос. И зная, что не дело спрошено, а по умыслу, сказал с неохотой:

— Идем к Гурьеву городку. Перезимуем там — и айда за Каспийское море, подымем орду...

Перебили казаки:

— Хватит нам под тобой воевать! Безмолвные, что ли, мы?

Понял тут: совсем это конец. Отработала на мирской пай его черная борода...

Подошедший сзади казак схватил его вдруг крепко за руку выше локтя. Он не удивился, когда казаки крикнули:

— Отдай свое оружие Бурнову!

— Не дорос Бурнов, ему бесчестно мне отдавать, — сказал с гордостью Пугачев. — Я отдам своему полковнику Федульеву.

И Федульеву, сняв с себя сам, отдал шашку, пороховницу и большой нож.

Посадили казаки Пугачева на его худую лошадь и повели ее под уздцы. Творогов же поехал рядом на своем, на лихом коне.

Зажглись глаза у Пугачева и, глядя в упор на былого друга, он сказал:

— Иван, отъедем-ка в сторону, сказать тебе слово хочу!

Отъехали.

— Что пользы тебе меня потерять и самому погибнуть?

Твердо знал былой друг — сам-то он, ежели предаст, не погибнет.

И, не моргнув, выговорил Надёже смертный его приговор:

— Как задумали против тебя, так тому быть.

Рванул Пугачев коня, ушел в степь...

Эх, если б того коня-молнию, что оставлен им про запас!

Ведь вот он... наступил бег последний. И плоха под ним лошадь.

Догнали. Связали.

И бранили его тут, сколько кому на память пришло...

Так показал в секретной комиссии Иван Александров, сын Творогов, любимец Пугачева, полковник и судья военной коллегии.

И спросить: где были верные, те, что не стали б предателями?

Казнены. Пали в боях. Пропали без вести.

Каждый из генералов, одновременно прибывших в Яицк для принятия преданного казаками Пугачева, хотел первым послать весть верховным властям.

Разогнали курьеров с депешами, и каждому было сказано:

— Коль хочешь успеть по службе, обгони всех других.

А за обладание самим Пугачевым поднялся превеликий спор.

Председатель секретной комиссии, двоюродный брат фаворита и однофамилец Павел Потемкин, хотел вырвать злодея из рук Суворова. А главнокомандующий, граф Петр Панин, страдавший от лагерной жизни сугубыми подагрическими коликами, почитал за собой одним сие право. Пользуясь своей почти неограниченной властью, он приказал, неусыпно следя за пленным, доставить его в свою штаб-квартиру в Симбирск.

Был придуман надежный способ доставки — большая, отменно крепкая клетка. Так перевозят диких зверей, к которым был Пугачев приравнен.

Пугачева повезли степью. Двигались медленно. Путь освещали смоляными факелами.

Предваряя картину своего предстоящего эшафота, вознесенного высоко над толпой, Пугачев, далече видный, ехал в своей огромной звериной клетке, сооруженной на телеге о четырех колесах.

В промежутке крепких жердей клетки сверкали под красным огнем факелов два черных с прожелтью глаза на исхудавшем, нестрашном, обыкновенном казацком лице. И блестела застывшей смолью неподстриженная черная борода.

Пленника окружал конвой из двух рот пехоты, двух сотен казаков и двух орудий, вывезенных из Яицкого городка.

## *Глава двенадцатая*

Граф Панин получил извещение о поимке Пугачева, еще будучи в Пензе. Он в тот же день отправил своего внука, князя Лобанова, радостным курьером к Екатерине.

Матушка возликовала. Лобанов награжден был переводом в лейб-гвардии Измайловский полк.

Панин гордился, что Пугачев пойман был во время его командования. Придворная знать и дворянство торжествовали, что, наконец, казнен будет тот, кто, по словам сумароковской оды:

Забыв и правду и себя
И только сатану любя,
О боге мыслил без боязни
И шел противу естества...

Желая скорее заглушить неприятный интерес к персоне злодея, царица запретила его везти через Казань, а повелела устроить там лишь торжество сожжения злодейской «хари», сиречь портрета, с него писанного живописцем.

На площадь выведены были в кандалах пугачевцы и вторая супруга Емельяна — царица Устинья Петровна, несмотря на горестный поворот ее диковинной судьбы все еще прекрасная лицом и станом.

На малом эшафоте стоял палач при живописном портрете, изображающем чернобородого казака, сметливого взором, стриженного в круг по обычаю.

Чиновник из суда прочел грамоту:

«Секретная комиссия, по силе и власти, вверенной от ее императорского величества, определила: сию мерзкую харю сжечь под виселицей, на площади и объявить, что сам злодей примет казнь мучительную в царствующем городе — Москве».

По сожжении портрета под виселицей, Устинья Петровна, бледная, краше в гроб кладут, громогласно, якобы без всякой понуки, возопила, что сожженная харя есть точное изображение ее мужа — второженца, изверга, самозванца.

Творогов и Федульев, казаки, предавшие Пугачева, каялись публично в содеянных беззакониях и объявили народу, что они есть те самые, кои во искупление своих злодейств выдали своего главаря-самозванца властям.

Им тут же обещана была от имени царицы замена смертной казни ссылкой в Сибирь.

А в царствующем городе Москве на смертную казнь на Болото повезли Надёжу на высоком помосте на санях. Рядом с ним сидел Афанасий Перфильев. Изо всех приспешников он один пошел вместе до плахи. Невеликий ростом, сутулый, отчего сдавался еще меньше, он был рябой и, как определили при снятии допроса, «свирепо-виден».

Выше всех несметных голов, всей Москвы, собравшейся поглазеть на лютую казнь, был этот помост на санях. Пугачев на нем виден был в подробности.

Был он в нагольном тулупе овчинном, бородка смольевая не расчесана, и волосы не приглажены.

Глазами по своему обычаю он стрекал на народ и ему кланялся низко. С возвышения видать ему было, сколь многие в народе о нем плакали. И хотя казенные чиновники грозились заплаканных к ответу привлечь, однако, не скрываясь, вслух сожалели людишки Емельяна Ивановича, полагая, что он муки идет принимать за мирское дело, за волю мужицкую.

А в руках у Надёжи были две восковые свечи воску желтого. Колебалось легонько пламя, освещая снизу его лицо, оплывал желтый воск ему на руки, — он не слышал.

Полицеймейстер Архаров верхом на коне распоряжался зрелищем. Смотрел, чтобы генерал-губернаторское постановление соблюдено было в точности.

Эшафот непроходным частоколом окружили войска. Одних чиновных бояр приказано было без препятствий пропускать. Дворянам законно увидеть поближе, как будет муку терпеть их заклятый враг и обидчик.

Ну, а подлый народ пропусти — неровен час, может глупостей накричать. Недаром по Москве вечерами неведомых смутьянов крик пробегал: «Да здравствует Емельян Иваныч!»

Черному люду было мало важности, что он имя царское на себя принимал. Не по принятому, по его крещеному имечку вызывали — Емельян.

Эшафот был построен высотой четыре аршина. Обшит он был тесом и заборчиком окружен, ровно в саду городском для музыки.

Вокруг главного места наставлено было со всех сторон плах и виселиц. С их перекладин спускались веревки с петлями. К ним приставлены лесенки, у каждой — ей предназначенный висельник и его палач.

Другие преступники, помельче, кои привезены были только для вразумительного посрамления, повержены были в оковах у подножия эшафота.

Вот подъехали сани с Перфильевым и Пугачевым. Палачи схватили Пугачева за рукава тулупа и поволокли по ступеням наверх. И стал он у своей плахи недвижим, затихший.

Кроме заготовленных висельников, вслед за Надёжей натащили еще немало народу из его близких единовольников. Их, как и его, приставили близехонько к ихним плахам, последнему земному достоянию. И за спиной у каждого, как ангел-хранитель, — палач.

Для казни Емельяна Ивановича, как на большие царские праздники, составлен был нарочитый церемониал.

Надлежало: отрубить ему правую руку, левую ногу; помедлить; отрубить левую руку и правую ногу; напоследок — голову. И в тот же самый миг, как почнут кончать Пугачева, предписано поднять стукотню и на прочих всех плахах.

Одновременность казни надумана в назидание: вместе злодействовали — вместе держите ответ!

Заморил сенатский секретарь чтением долгой сентенции. Верхом на лошади, полицеймейстер Архаров уж и посадку свою ястребиную утратил, сидел курицей, притомился работой за последние-то деньки! И тут и там опасайся, за все про все отвечай!

Знал он: подлый народ — что греха таить — сожалел Пугачева. Ни анафемы митрополичьи, ни царицыны, позорящие злодейское имя, публикации — не помогало ничто.

Кабы сейчас чего не вышло, когда стоит Емельян Иванович на своем эшафоте еще выше над всеми, чем когда ехал на санях, и ждет своей казни!

Чует ли он, как далеко за фронтовой цепью солдат грозятся в народной толпе пустить за него по дворцам и поместьям красного петуха? Чует ли, как ему шлют благословенья умильные, как шепчут губы замученных неволей людей: «За нас, батюшко, муку принимаешь!»

Донесли полицеймейстеру Архарову, что болтовня идет по народу: помилования ожидают злодею. Только сего и желают. Кабы не кинулись отбивать его!

Встряхнулся Архаров, колесом выпятил грудь. Сейчас кончать будут свое дело заплечные мастера, и никому жертвы у них не отбить. Приказ дан — приказ выполнят.

Глянул вкось на царя самозванного: где тут царь? Несметны тысячи таких, как он, на Дону. И чем только взял? Ни осанки, ни росту, ни зверообразного какого обличия! Совсем еще не старый, обычный чернявенький казачишко!

Пугачев один стоял на эшафоте с открытым лицом. Прочим, возведенным ему в компанию, понадевали на голову тюрики — мешки смертные.

Пугачев был покоен, окончив свой бурный жизненный бег.

Архаров подал знак последний — шагнул старший палач и стал. Бросились подручные старшего палача, как стервятники, на свою жертву — на Емельяна. Сорвали с него белый бараний тулуп, схватили за рукав шелкового малинового полукафтанья.

Последним взором обвел Пугачев несметных людей, и горячо загорелись глаза. Тряхнул головой. Торжеством пронеслось:

«Всех не переказнишь — будут черные бороды!..»

На старшем палаче один миг задержался глазами. Как своему, как мужик мужику, Пугачев ему глянул прямо в упор...

Встряхнулся полицеймейстер Архаров, — слава те господи! Последний момент. Приказ свыше дан — приказ выполнят.

Размахнулся палач. Сверкнул на морозном солнце наостренный топор и скосил вмиг Емельянову злодейскую голову.

Архаров в ярости дернул коня. Вспрянул конь на дыбы. Обрушил конь со звоном передние ноги на камни мостовой. Изругался в бешенстве полицеймейстер.

Приказ дан, да не выполнен.

К измывательской, к мучительной казни — четвертованию — приговорен был сенатским определением Пугачев, а палач ни минуточки ему не дал помучиться. Палач

одним махом снес ему голову, а про четвертование словно забыл.

Нет, не потешил палач чувства мести дворянской. Казнь Пугачева была без издевки, в самый чуточный миг.

Как зверь изругался Архаров, словно кнутом, полоснул своей бранью чиновников. И вскричал старшему палачу судейский:

— Ах, сукин сын, что это ты сделал? Рубай скорей руки и ноги!

И старший палач отрубил их уже мертвому Пугачеву.

На железную спицу поверх двух столбов насадили голову Емельяна Ивановича.

И, не закрывая век, смотрел Пугачев на Москву, где, если б ему на нее только во-время двинуться, мог бы не на плахе лежать — на троне в Грановитой палате сидеть.

В миг казни Пугачева выбиты были со своих скамеек все висельники с тюриками на головах. Чуть качаясь, повисли они, как большие дворцовые люстры в белых, на лето надетых чехлах.

И отметил в своей памяти для потомков очевидец: гул аханья и превеликие восклицания жалости пошли по всей площади.

А старшего палача, заменившего сенатское постановление о позорном четвертовании злодея Пугачева легким и мгновенным отсекновением его головы, Степан Иванович Шешковский, сам первейший в империи заплечных дел мастер, тихонько допрашивал о причинах его предерзкого ослушания.

По своему обычаю, Шешковский ласково окликнул приведенного к нему палача. Осведомился об его имени-отчестве. Засим, подойдя легко, шажочками, вдруг что силы поддал ему в нижнюю челюсть. Таково ловко умел поддавать, что свои зубы вместо ответа на пол сплевывал опрошенный. И кулачком-то хватил господским, не дюже великим, а видать, по какому-то заграничному способу был учен.

— Да как это только, голубчик мой, ты посмел? Ручки-ножки злодеевы пожалел? Раньше сроку головку оттяпал? По какому такому резону?

И, не трогаясь с места, отвечал палач:

— Ошибочка вышла.

— Хороша ошибочка — две руки, две ноги! А ну-тка поближе!

Судьба пощадила оставшиеся зубы старшего палача. Прибыл экстренный курьер с секретной эстафетой Потемкина: «Допроса палачу не чинить, зане акт милосердия свершен по воле самой императрицы. Сего разглашать не следует, но дело прекратить».

С неохотой Шешковский отпустил палача, и язвительный домысел о царице скривил его тонкие губы:

— Сама, чай, первая с домашним философом своим разгласит по Европе о своем милосердии. Ну и ловка же наша матушка — старшего палача, и того обобрала.

С казнью Пугачева, хоть и пришло донесение от секретной комиссии, что наступила в крае «вожделенная тишина», башкирцы не успокаивались. Напрасны были увещевания с посулами милостей и угроз. Салават и отец его Юлай продолжали волновать население. Наконец и вожди башкирские были пойманы, были биты кнутом и с рваными ноздрями сосланы навек в суровый Рогервик.

Потемкин, председатель секретной комиссии, послал царице подданнически и с усердием свое поздравление о спокойствии внутреннем:

«Настало нам время, в которое премудрость вашего величества, блаженство России, счастие подданных великой Екатерины взойдет на горнюю степень».

Премудрость ее величества и вправду решила шагнуть на впредь недосягаемую народным злодейским бунтом высоту. И надежней опоры, чем Гришифишенька, где ей сыскать? Может, и венчаться решила с ним, как тетка Елизавета с Разумовским, только велено настрого: знать про то, да никому не поминать, одним своим ближайшим да протоиерею от Самсония.

С Гришенькой вместе сейчас одна мысль, заветная: оплот такой надо создать, чтобы навек неповаден был подобный пугачевскому усмиренному бунт, и навек забыть страх бессонный, что любым злодеем отнята может быть царская власть, если народ власти захочет.

Потрясло ее пуще всего, что сей неугомонный «враг внутренний» с такой легкостью пошел против. А сорвался однажды с цепи, — кто поручится, не сорвется ль еще? Заковать его, запереть на запоры, а дворянам — ключи. Другого выхода нет, как идти впредь рука об руку

с новым дворянством, во главе коего он — бели медведь, Гришифишенька.

И не перелистывать уж отныне не токмо не любезного сердцу Руссо, даже приятельские Вольтеровы вольнодумства. И забыть все девичьи мечтанья о вольности...

На его, фаворитовой, родине, в Смоленской губернии, предположено впервые открыть новые учреждения. Ими преобразовано будет местное управление и до предела усилена власть помещиков.

Через новые сии учреждения от самого трона до последних глухих углов империи протянуты будут тончайшие щупальцы правительственных канцелярий.

Звено к звену будут подогнаны столь крепкие цепи надзорные, что не токмо самовольству не будет места, а никакой мысли, не любезной властям.

И Паниных честолюбивые замыслы и враждебность родовитых домов — все будет той цепью обмотано.

В долгие ночи с Гришифишенькой, между любовных забав, строится вот какое, государственной важности охранение самодержавной империи.

«Князь тьмы» — именуют Гришеньку Панины и все иже с ними. Еще бы: провалился навек их прожект о воцарении Павла и себе власть прихватить.

Новые дворяне, новые полицейские чиновники защитят не за страх, за совесть. Защитят ради себя самих ее самодержавнейший трон.

Было время одно — из просветительной философии жали сок, ныне время иное, ныне одна поддержка трону — дворяне. С ними, значит, и счеты. Гришенька — скиф, он говорить любит одними простыми русскими словами: дворянам нужны деньги, нужны земли и рабочие руки, сиречь мужики.

Гришенька прям, как истый солдат: чтобы в казне были деньги, потребны новые войны! Ну и нечего церемониться ни с Польшей, ни с Турцией.

Словом, в долгих разговорах с cher époux, [1] — так его уже приучалась звать в письмах, — вырабатывалось совсем новое управление, где прежним просветительным забавам уже места не было.

---

[1] Дорогим супругом (*франц.*).

Не умирать же ей, в самом деле, за титул: «философ на троне»! Довольно остроумия. Сам учитель Вольтер, как фиговым листком, прикрывает своим вольнодумством не бог весть какую мораль.

Доводы в защиту нового управления приводил Гришенька неглупо, прямехонько в точку: сколь ни велика в количестве сила мужичья, ей не устоять перед натиском войск регулярных. Ведь тотчас и усмирили бунт, едва толком взялись!

И все приходило к одному, как пелось в детской игре: «revenons à nos moutons»,[1] — побольше регулярных войск, побольше завоевательных войн, побольше денег и новых земель!

Новые земли заселит Гришенька беспокойными и беглыми. Солдат заставит кормить хорошо, амуницию им упростит, этим самолично займется, — а дворян поощрит, наградит.

Хитро говорит Гришенька: людишками управлять умеючи — людишки и не пикнут! Отныне у кормила государственного корабля «два богатыря» — Екатерина и Потемкин. Они спасут корабль от бурь и подводной угрозы.

От слов пора перейти к делу.

Что же до гордецов, кои пожелают свободы превыше доходов, чинов и покоя, — нет-нет, а беспокоил вопрос:

«А в случае окажутся не похуже, чем Пугачев, им возможно рога обломать и резвость утишить — кому в крепости, а кому и в Сибири. Мало ль ссылочных мест? Империя обширна».

И мелькала у императрицы в острой памяти одна пустяковая, однако идущая к делу подробность:

«Продолжению «Деревни Разоренной» в новиковском журнале не быть!»

Государственный руль твердо повернут. Потемкиным власть взята, за ним и останется. И царствование Семирамиды Севера прославлено будет первейшим из пиитов.

Что власть останется за Потемкиным независимо от фавора — это скоро поняли все. Масонские круги, дабы сохранить свое достоинство, поспешили противопоставить «князю тьмы», нелюбимому за самовластье выскочке, свое

---

[1] Вернемся к нашим баранам *(франц.)*.

обновленное учение, восходящее через «философа неизвестного» к самым истокам человеческого бытия.

Радищев не мог говорить с Новиковым о потрясших его глубоко событиях пугачевщины и ею вызванных мыслях. Новиков был всецело поглощен своими поисками «истинного масонства». Для этой цели ему неизбежно было вступить в ложу и стать братом внутреннего посвящения.

Случай к этому представился, когда Яков Федорович Дубянский, сотоварищ Радищева по Лейпцигу, подал наместному мастеру ложи «Урании», писателю Владимиру Лукину, письмо, подписанное им и другими членами, с просьбой «конституции» для учреждения новой ложи — «Астреи».

Конституция была получена, ложа торжественно открыта, и Новиков в нее вступил членом.

Пугачевщина потрясла и Новикова. Его глубокой религиозности всякие меры борьбы со злом в форме насильственной были невозможны. Но честность душевного склада, человеколюбие и строгость деятельной воли настойчиво побуждали найти исход, дабы оказано было противодействие безудержному произволу наступающего потемкинского правления.

В своих поисках «истинного масонства» он уже прослышал про Рейхеля, знакомого с только что появившейся в печати во Франции замечательной книгой «философа неизвестного». В сей книге давался разумный ответ на все запросы жизни, общества и души.

По тайным каналам в письмах доходили до русских масонов фрагменты из этой книги, приводившие ум в равновесие, дававшие примирение мучительным противоречиям сознания и воли. Книга была «философа неизвестного» — Клода де Сен-Мартена. Ей предназначено было в дальнейшем сыграть столь важную роль в судьбе русских «мартинистов».

### О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ИСТИНЕ, ИЛИ ВОЗЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА К НАЧАЛУ ЗНАНИЯ

«Сочинение, в котором открывается примечателям сомнительность изыскания и непристойные их погрешности и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности о

происхождении Добра и Зла. О человеке, натуре естественной: вещественной и невещественной. О натуре священной. Об основании политических правлений, о Власти Государей, о правосудии гражданском и уголовном. О науках, языках и художествах».

Идея новой разновидности «тайного учения» была для многих ко времени. Она снимала ответственность за отсутствие решительного противодействия власти там, где совесть и разум этого противодействия требовали, и вместе с тем давала своеобразную и стройную моральную систему.

Главное в этом учении было: человеку надлежит раньше всего стремиться к достижению совершенства личного. При совокупности совершенств персональных само собой, медленно, но верно произойдет отпадение всех зол, созданных богатством и прочим многообразным неравенством людей.

Всякое насильство и кровопролитие в защиту чего бы то ни было вызывают у противной стороны таковой же ответ. Желаемая человеку гармония золотого Астреина века может быть достигнута навсегда только бескровно...

Алексис Кутузов во фрагменте, дошедшем до него из книги «философа неизвестного», в параграфе о звании военном нашел для себя утешительную базу и оправдание перед требовательным другом Радищевым, укорявшим его покорством властям без рассуждений об их жестокой несправедливости...

«Звание военное — первое по порядку, понеже там должность каждого определена. И там не вменяется в стыд быть ниже прочих членов того же тела. Но единственно стыдно быть ниже своей ступени».

Кутузов доказывал другу, что общество военных предшествует всему устроению человечества в грядущем золотом веке.

Новиков же утверждал, что на долю одного лишь просвещения может выпасть славный удел хоть медленно, зато верно продвинуть все человечество в Астреин век справедливости...

К волнению, потрясшему всю страну, у Радищева прибавилось еще томительное беспокойство за свое счастье

с Аннет. Ее мать настолько была против сей незначительной, по ее мнению, партии для своей дочери, что, несмотря на вырванное у нее согласие, то и дело измышляла новые проволочки нежеланному браку дочери.

Радищеву удалось выбраться, наконец, из Петербурга ровно полугодом позднее, нежели он собирался. Он поехал в родовое имение Облязово, в Саратовскую губернию, к своим родителям, дабы получить и от них благословение на свой брак с Аннет Рубановской.

Охваченный душевной мукой, близкий к отчаянию, ехал Радищев разоренными землями крестьян, где нищенское их хозяйство, описанное им самим с такой правдой в новиковском «Живописце», выступало сейчас в еще большем убожестве и разорении.

На большой дороге то и дело встречались партии арестантов на канатах, сопровождаемые гарнизонными солдатами. Это последние остатки пугачевских бунтовщиков препровождались в места ссылочные.

То тут, то там указывал кнутовищем ямщик на уцелевшие от панинского усмирения виселицы и глаголи.

Ужасен был вид смертельно изможденных людей: женщин, почерневших от муки, и голодных детей, по милосердию царицы занятых рытьем огромных валов вокруг города и большого села. Заработок их был по приказу: «удобная казне хлебная плата». Дома же они ели, почитай, один желудь да лебеду.

Возможно ли, нося в своей памяти сии расширенные голодом детские глаза и стариковски сморщенные личики, заниматься, как масоны, только «приведением себя самого в приближение к совершенному виду?»

Мучительство выше меры одних и жирное благополучие и бездушность других смогут ли выбраться из своего уродства одним просвещением умов? Мало ль знаем в истории просвещенных злодеев и деспотов?

Нет, обезвредить законами злую волю, не дать ей заедать чужой век, всех сравнять перед судом и в свободном владении землей — вот выход.

Таковы были мысли Радищева, и бессилие помочь безмерности народного бедствия доводило его до душевной болезни. Сейчас он ехал, нечувствительный к прелестям столь любимых просторов ковыльных степей. Равнодушно

смотрел, как сквозь желтизну прошлогоднего жнивья обстают дорогу веселые новые зеленя.

Он только горько противопоставлял бессмертное равнодушие природы неизбывному горю людей. И собственное личное счастье — предстоящая свадьба с Аннет — показалось сейчас чуть ли не беззаконием...

Правда, его безмятежность и в юные годы была недолга. До того решающего часа, пока не потрясено было его сознание мыслью, которая, забрав в себя всю силу его мозга, довела ныне до мучительства...

Было дело во время жнивья: воздвигнуты уже были по всему полю скирды, в которых ему нравилось искать сходство с готической постройкой.

И вдруг молнией пронзила та мысль: крестьяне идут домой, отдав весь свой трудовой день не на свою — на чужую работу! Идут такие же люди, как он, вот поют песни, смеются, но это люди не свободные в своей жизни, счастье, работе, в своем достоинстве человека. Это люди крепостные. Их хозяин, собственник, барин — помещик. Он их может продать, засудить, убить, и ответа с него не спросят.

Среди тихого вечера, среди «белокурого океана» спелых колосьев опалившая сердце молния — вот та единая мысль. Сейчас снова они, эти родные места, после лет учения, службы, после пугачевщины.

За обширным полем дорога пошла вверх по пригорку, крутым спуском прямо к реке. Текла река быстрая, чистая по мелким, сквозь воду видным камням.

Налево тянулся обширный яблоневый сад, огороженный плетнем. За садом белела стволами старая березовая роща.

В деревне было около полсотни изб. Все обитатели знакомы поименно: с кем мальчишкой бегал в ночное, с кем по ягоды. Что они сейчас — Маши, Феклуши, Дуни? Небось все уже матери!

Прямо против двора при самом въезде — три березы, «современники детства». Тут же опять речка в глубоких берегах. И коноплянники за избами, крытыми соломой. От коноплянников потянуло особым, жарким, им одним свойственным запахом, и Радищев понял всей душой, что приехал к себе на родину.

Встали в памяти как-то разом грибные березники и любимые в детстве лужайки изумрудной травы с веселою земляникой, с ромашками, с гудящими пчелами, и пышный румяный закат.

На голых обрывах пригорков вскрывалось само тело земли, не прикрытое ни кустом, ни травою. Оно было то из желтой глины, то из черного жирного чернозема.

Наконец тоска отпустила Радищева. Он стал думать о простых и привычных вещах, вызванных родными местами: валяют ли шерсть овечью на домашней сукновальне в сукно черное, смурое и белое, годное на полосы для онуч? А то, ярко выкрасив шерсть в крушине, из нее ткут пояса?

— А кто сейчас первая ткачиха у вас на селе? — спросил Радищев у возницы.

— Была Матрешка Климова, — ответил кучер, — да она от слез, слышно, ослепла. — Ямщик повернул к Радищеву узкобородое лицо. — Двух сынов у нее в солдатах забили. Как у нас тут пугачевские молодцы хозяйствовали, они с ними дальше пошли против Михельсона, да в первом бою и полегли.

— А страшно было, Семен, при Пугачеве?

Кучер оглянулся, и, хоть никого вокруг не было, он понизил голос:

— Как знаем мы сызмальства твою добрую душу, Лександр Николаевич, тебе целиком можно правду сказать... А правда — она вот: никакого страху нам не было вовсе. Но сейчас ты о тех днях мужиков не дюже расспрашивай сразу-то. Ведь поотвыкли они от тебя, а тут, чуть кто забалакает, — в Саратов его! Оттуда дале, в секретную следственную комиссию. Там, брат, не скоро выпустят! В очевидцы определят — ну и докладай им: кто был из деревенцев с Пугачевым заодно. Скольких замучили, зато остатние, все как один, воды в рот набрали — молчат. — Семен, держа в руках вожжи, опять повернулся всем телом к Радищеву. — Так что злодейства ихнего мы, барин, вовсе и не видели! Соль выдали даром, на семена ржи отпустили... до нашего брата мужика милостивы были государевы отряды, то бишь злодеевы... — поправился тотчас Семен, ничуть, впрочем, не меняя выражения голоса. — Впрочем, батюшку твоего с семейством, это точно, искали, — склонившись к Радищеву, сказал Семен

шепотом, как будто родителям его и сейчас угрожала та же беда и, говоря громко, можно было им повредить.

— Зачем искали батюшку?

— А чтобы повесить! У них таков был закон: всех помещиков вырезать, освободить от них нас, крестьян. И землицу всю миру... Но как мы стали доказывать, что не обижены, а премного довольны старым барином, а что матушка ваша всю деревню лучше лекаря лечит и всякому мать сердобольная, то сказала нам ихняя власть: ну и черт с ними, коли вы дураки! Интересоваться повесить наших господ больше не стали. А мы, неровен час, опять спьяну они хватятся да вздернут, как прочих лихих уже вздернули, мы взяли да и попрятали родителей ваших и братцев малых. Им мордочки сажей помазали, чтобы сходственно было с деревенскими ребятами. Ну, слава господу, пронесло... все твои, барин, живы!

Радищев молчал, слезы душили его.

— Ни у нас усадебка сожжена, — указал кнутом возница на красневшую вдали за березами крышу дома, — ни разрухи не сделано, сам, чай, видишь!

«Чем отблагодарю их великодушную, их простосердечную доброту? — потрясенный до глубины души, собирал свои мысли Радищев. — Они «мазали мордочки» барчукам, тем самым, которые от рождения уже имеют жестокое право, когда наступят их годы наследственной власти, сделать безнаказанно все, что им взбредет в голову, с их родными, детьми и внуками. А крестьяне, спасая от неминуемой гибели всю семью помещика, даже и не подумали поставить ему условием этого спасения хотя бы освобождение собственное от подлой крепостной зависимости!»

У крыльца господского дома никто не стоял с хлебом-солью.

Только заслышав колокольчик и любопытствуя узнать, кто приезжий, двинулся к воротам цветник из узорчатых панев, какие здесь носят замужние, девки в длинных расшитых рубахах, парни в рубахах с красными наплечьями и ластовицами. День был праздничный.

Отец и мать, постаревшие от пережитых испытаний, не веря глазам своим, спешили из дальних покоев. Мать протянула сыну руки с высокого крыльца. Спасенные дере-

венцами братья прибежали из сада. Радищев разрыдался, обнимая родных.

Вечерний чай внес в просторную беседку, на серебряном большом подносе, важно его от себя отставляя, не кто иной, как старый дядька покойного Мишеньки — неистощимый бодростью Середович.

В белых нитяных перчатках и чулках, досиня выбритый, он торжественно водрузил свой огромный поднос, полный печений и варенья. Середович с достоинством поклонился Радищеву, без удивления встрече, словно вчера его только видал:

— С приездом, барин Александр Николаевич!

Радищев его радостно обнял.

— Ну, братец, тебе на роду, видно, написано возникать, словно волшебнику Мерлину, там, где тебя и не ждешь! Какими же судьбами ты у моих родителей?

Несколько сконфуженный, Середович пробормотал невнятное и поспешил, забрав посуду, скорей удалиться, а отец рассказал о нем Радищеву любопытное происшествие.

После отбытия пугачевцев из Облязова мужики один за другим стали тайком признаваться, что за дальним хутором в шалаше залег некий «царский вельможа». Обзывает-де себя «камерхер». И, ровно сказочный Змей Горыныч, обложил он вокруг данью деревни: кого яйцами, кого хлебом, не брезгует ни вареным, ни жареным. Особливо же падок камерхер на хмельное. А за неуваженье грозит полки царские, пугачевские вызвать обратно в Облязово на постой.

— Ну, изобретатель! — смеялся Радищев. — Как же вы этого камерхера словили?

— Настойка твоей матери с ног свалила. Больно хороша да крепка — перехватил камерхер. Бабы наши выследили, связали его сонного по рукам и ногам да на водовозке и привезли. Заперли в баньке выспаться. Он же, когда очнулся, очень рад оказался, что пребывает на земле Радищевых. Я, говорит, вообрази, Александр, нарочно в пути своем на их вотчину курс держал, как мы с барчуком вместе в Неметчине обучались!

Очень полюбился моим дворовым, все, как один, просили за него: вовсе не вредный он, говорят, «камерхер», а коль выдать его властям — засудят.

И так он сам с твоей матушкой таково толково и связно болтал про тебя и про Алексиса Кутузова, что мы семейным советом и порешили укрыть его у себя. Наш отец Петр подверг его легкому церковному покаянию, мать твоя приказала ему раза три хорошенько попариться в бане, дабы скверну злодееву выбелить, и взял я его в дворецкие по вольному найму. Видал, сколь важен в должности?

Отец передал Радищеву камергерские знаки Середовича — петровский рубль с приделанным ушком на пестрой ленте на предмет ношения через плечо.

Радищев пробыл в доме родителей всего несколько дней. И по службе нельзя было ему опоздать на московские торжества, да и самому пребывать долее было тяжело.

Перевидал он своих сверстников, былых товарищей — ныне семейных мужиков. Заставляя их говорить, жадно слушал, какие новые мысли запали в их головы после пронесшейся на их глазах пугачевской грозы.

Барина мужики в нем не чувствовали, то и дело именовали, как в старые годы, Сашенькой. Отец и мать далеко окрест славились как добрейшие, милосердные люди. Девки за счастье почитали выйти замуж в Облязово. Получившие отпускную на волю уходить не хотели, доживали тут же, старея вместе с господами. Радищев при таких особых условиях в своем поместье мог надеяться услыхать действительно искреннее мнение деревенцев о пугачевщине и самом Пугачеве.

— Справедливый был батюшко, — определили все в голос, — он правильно шел противу лютых помещиков, и от рекрутчины вызволял, и оброчные снял, и все запреты лесные, рыбные, полевые разрешил. При нем это точно было, — вздохнули мужики.

Но мысли о том, что рабства вообще не надо бы, у крестьян и в помине не было. — Так испокон от бога положено: вы — наши отцы, мы — ваши дети! А коль скоро «отцы» залютели, Пугачев-батюшка их урезонит. Не он, так другой. А порядок неплох... порядок грех и менять. Не мы господ ставили, не нам и снимать! Бог над царем, царь над господами, они над нами. Слава богу, наши-то хороши!

С родным отцом тоже напрасно пытался Радищев заводить разговор о недопустимости истинному христианину иметь себе равных рабами.

Отец отвечал с кротостью своеобразного, не показного благочестия, сердечно убежденного в том, что мужики вручены ему самим богом:

— Все мы рабы божьи. А старшим из нас поручено пещись о младших, что по всей силе и совести мы с твоей матерью и делали всю нашу жизнь. За сии качества своими же людьми, жестокосердным помещикам не в пример, и были недавно взысканы.

Сочувствие своим взглядам и понимание существа дела Радищев пока встретил неожиданно у одного Середовича.

На закате, после обеда, любил Середович сидеть на большом пне при входе в рощу, где преудобно чистил мелом господское серебро.

Радищев его окликнул и сел рядом на траве.

— А у меня к вам просьбишка, Александр Николаевич, — сказал Середович. — Казачок барский Мишка мне сказывал, что мою медаль с лентой старый барин отдали вам именно. Так уж вы их в музей какой аль в комиссию не сдавайте! Вы их для меня на память вечную сохраните!

— На память о чем? — спросил тихо, с намерением невыразительно, Радищев, боясь оказанным интересом спугнуть мысль собеседника.

— А на память хотя бы о том, как я человеком был! — с весом сказал Середович. — Нонче снова я грязь, а давеча, у Надёжи-то? Давеча был я князь! — пояснил он. — Там в его, Надёжином, штабу каждому по его талану цена. Будь ты хоть рваные ноздри, татарин, башкирец аль какой беглый, кáтом царицыным поротый-перепоротый, а коли есть в тебе сметка да удаль — на, пожалуйста: командуй хоть артиллерией!

— За что ты в камергеры пожалован был? — простым голосом продолжал Радищев.

— Значит, стоило, — уклончиво ответил Середович. — Только на деле доказать себя мне не пришлось — проклятые немцы все в Астрахань утекли. Одни цветы еоргины оставили.

— Знал ли ты, Середович, что Пугачев — самозванец? Ведь не царь же он Петр в самом деле?

— Ну, а чего было мне узнавать? За ним народушко шел охотой. Тыщами шел. Солдат царицыных небось в зад штыком гнать надо, чтобы воевали, а к батюшке охотничков столь много валило, что мы одних лошадных примали. А публикации Надёжины все хозяйственные, деловые, мужику нужные. Нет того, чтобы там сатаной да огнем вечным пужать...

И сколько ни рассказывал Середович Радищеву о том, как «мы потеряли из-за окаянства донских казаков», как «старшина русская и башкирская первая предавать Надёжу стала», как Михельсоновы войска одним перевесом оружия взяли верх, — голос его не спадал с уверенности в своей правоте, и ни малейшего раскаяния в пребывании своем у Пугачева старик не обнаруживал.

— Слушай, ты, — сказал в конце концов Радищев, — только ни с кем другим так не балакай, как ныне со мной. По теперешним временам, знаешь, куда угодить можешь?

— Я и с вашим батюшкой, сколь они сами ни милосердны, умных речей не веду, — сказал с важностью Середович, — как у старого барина, конечно, нету заграничного просвещения.

Радищев расхохотался и дал Середовичу слово выписать его к себе в Петербург на вечное жительство.

Радищеву после первых радостей встречи стало вскорости непереносимо в деревне.

Если самого Облязова не коснулся страшный голод того года, то вести о нем доходили со всех сторон. «Хлеб» голодающих был даже не тот нищенский, описанный Радищевым еще в «Деревне Разоренной», — там к трем частям мякины прибавлялась хоть одна-то часть несеяной муки. Сейчас хорошо, если мякина добавлялась к древесной коре и сушеному мху.

Настойчиво вставали в памяти картины только что свершенного пути через места разорения, мимо незасеянных полей!

Вставали перед Радищевым то угрюмые, на канатах влекомые «возмутители», то изможденные, с мукой смертной в глазах, матери и подростки, которые по «удобной

казенной цене» рыли валы вокруг сел. Валились лопаты из обессиленных рук, люди падали замертво...

Про ужасный этот голод неоднократно писал и граф Панин, но это замалчивали в обеих столицах. Там шла подготовка к роскошным празднествам мира и успокоения страны от злодея.

Кроме того, расправы за участие в пугачевщине продолжались. У наезжавших соседей-помещиков только и речи было о том, у кого сколько изъято дворовых на виселицы и глаголи — длинные шесты с перекладиной в верхнем конце и петлей.

Все чаще уединялся Радищев в дальний лес, где, бродя до позднего часа, мучился своими, не отпускавшими совесть, мыслями:

«Все дары земли, начиная с хлеба и кончая свободой, отняты от крестьянина. Вечная воловья работа в ярме — вот жалкий жребий его. Он как заклепанный в узы...

И вот едва попытался ярмо свое сбросить — ему смертная казнь, кнут, Сибирь. Каждую минуту он может быть продан, как скот, и все виды медленного отнятия жизни и сил применяют к нему даже лучшие из господ».

И перед бедными избами, крытыми соломой, перед возлюбленным «белокурым океяном» налитого, спеющего колоса, — как в ранней юности, вознесенный чувством рыцаря, повергающего в единоборстве дракона-насильника, — Радищев давал себе самому горячую клятву, что он положит всю силу, всю волю, чтобы вместо несносного мучительства рождена была рабам в о л ь н о с т ь.

Простившись с родителями, Радищев поехал в Москву и прибыл как раз к знаменитому празднеству по случаю Кучук-Кайнарджийского мира.

Иные дворяне не без основания добавляли, что празднуется перво-наперво не победа над султаном, а победа над Емелькой — мужицким царем.

По обе стороны дороги, где надлежало проследовать главному виновнику торжества — графу Петру Александровичу Румянцеву, воздвигнуты были пирамиды, украшенные транспарантами, картинами его побед.

В последнем селении перед Москвой соорудили триумфальные въездные ворота. Туда еще с прошлого вечера

нагнали народ, чтобы он прокричал при проезде громовое «ура» триумфатору. Но Румянцев, с разбегу, по-дорожному, пролетел, словно молния, мимо сих торжественных сооружений. Так-таки на глазах у всех он объехал ворота.

И тотчас пошла болтовня: как бы нам и победы его не вышли-то боком!

По Кучук-Кайнарджийскому миру Россия получала Азов, Кинбурн, южные степи, торговые выгоды и большую контрибуцию.

Накануне праздника Радищев шатался по Москве. Он смотрел, стоя на Ивановской площади, как подымали огромный колокол, несколько тысяч пудов весом. Колокол водружен был на высокий помост из крест-накрест положенных бревен.

— Таким-то манером на помостке и наш батюшко недавно стоял...

Радищев обернулся. Он понял, что разговор шел о Пугачеве. По обличью говорившие были горожане, каких много, либо мастеровые в праздничный день.

— Истинно, звонил он ровно колокол... да беда, язык вырвали.

Тот, что постарше, понизив голос, добавил:

— Дай срок, новый будет звон, — чай, опять соберется народушко...

Утром в день празднества сигнально грохнули пушки, и лейб-гвардия и полевые полки стали, как врытые, по обе стороны улиц, по которым церемониал должен шествовать от собора через Никольские ворота по Неглинной и Большой Моховой улицам до дворца, что у Пречистенских ворот.

Дамские персоны имели быть в робах. Кавалеры — в уборах своих орденов. Вся прочая публика — в цветном платье.

Екатерина сошла с красного крыльца в полном императорском одеянье, в порфире и большой короне. От ударов только что привешенного колокола закачалась колокольня. Оглушительно изверг дьякон многолетье в соборе, и медным рыком ему ответили пушки.

Перед шествием бежала пурпурного сукна дорога, трубы играли золотом в синем небе, и был звук их — победа и торжество.

Поздравления Екатерина принимала в Грановитой палате от знати московской и приезжей.

Ходынский праздник аллегорически изображал тот клочок Крыма, который русские приобрели по заключенному только что миру.

Окружающая триумфальные постройки равнина знаменовала собой «Черное море», а дальше шли «степи Барабинские», предназначенные для забав одного лишь подлого люда. Здесь были круглые карусели, шесты для лазанья за призами, канаты для бухар-канатоходцев.

Для забав дворянских посреди «Крыма» воздвигнут был роскошный павильон — «крепость Керчь». Подале шел полукружием «торговый город Таганрог» с красными рядами. Пущен был слух, что раздача товара предстоит безденежная, и несметна была перед сим «Таганрогом» толпа.

Против главного павильона, сиречь Керчи, стоял в высокой зеленой траве, как в волнах Черного моря, трехмачтовый громадный корабль с галереей для лицезрения въезда монархини и фейерверка.

Везде на часах, сияя серебром касок, белыми страусовыми перьями и перевязью на груди, — на подбор пригожие и статные унтер-офицеры из дворян. Граф Румянцев и Потемкин, тоже новоиспеченный граф, прибыли в карете цугом на Ходынку. Им отдали честь лейб-гренадеры и другие войска.

И не преминули пустить тотчас злословные остряки: кому почет за турку, а кому и за Амурку.

Особливой пышности был сегодняшний въезд матушки с цесаревичем Павлом. Едва сверкнула золотая карета, — ровно второе солнце, упавшее на землю, ее прокатили по полю белые кони, — грянули пушки, ударили литавры морской музыки на судах нарочно устроенного флота на обширных зеленых лугах.

Церемониймейстер двора поднес Екатерине роскошно разрисованные планы и куншты назначенных увеселений, и празднества начались.

Народу дарованы были для насыщения четыре целиком жареных быка с позлащенными рогами и огромное количество другой живности помельче. Фонтаны забили белым и красным вином.

На ступенчатых пирамидах, убранных узорчатой камкой, насыщались московские жители. Зрение их услаждено было пляской цыган и бухарцами, кои двигались, как по воздуху, по канатам.

Ужель между них сидят и те самые, кои столь в недавнее время кричали: «Да здравствует Емельян Пугачев!»?

Радищеву стало невесело смотреть на протянутые руки и жадные лица с одной мыслью получить кусок пожирней. Он двинулся к павильону «крепость Керчь».

Охватывая взором не слишком великий клочок земли, отведенный под Крым, он не мог не подумать невольно, плодом каких народных бедствий и без счета пролитой крови присоединен сей клочок.

Перед таганрогскими красными рядами, не похуже, чем простой народ перед жареными быками, с той же жадностью во взорах все еще стояли, дожидаясь даровой раздачи, болтливые как сороки, мелких и крупных чинов госпожи.

А в круглой азовской каланче, воздвигнутой к празднику, был накрыт обеденный стол на множество кувертов. Посреди восседала сама царица, окрест нее — ближние придворные и знатные лица.

Всем дворянам сюда был свободный проход.

Самодержица великой многоязычной империи, избрав близким сердцу отныне одно лишь сословие благородно рожденных, Екатерина здесь сама была только им равная, дворянка, казанская помещица.

Радищев, стоя у колонны, скрытый от любопытных розовым трельяжем, отлично все слышал и мог наблюдать.

Екатерина говорила о празднике, сияя великолепием наряда, упоенная торжеством водворения мира внешнего и внутреннего.

— Прошу моих гостей запомнить, что фантазия зеленый луг превратить в Крым принадлежит мне. Первоначальный поданный мне проект изобиловал глупыми аллегориями времен Юпитера, Вакха. Я призвала архитектора Баженова, я сказала ему: «Близ Москвы есть чудесный луг. Немного воображения, и вот уж он — Черное море. Одна зала для банкета — Азов, другая — Кинбурн. Вы

создадите мне в завоеванных нами землях сказочные павильоны с напитками и фонтанами, а там, за Дунаем, мы дадим фейерверк, какого еще мир не видел!» Правду сказать, твердая земля не совсем похожа на море, — Екатерина улыбнулась самой чарующей из своих улыбок, — но надеюсь, что вы, дорогие гости, и даже взыскательная история за все удачи нашего оружия на действительном море извините мне сию маленькую погрешность на суше!

Гости говорили мадригалы, оркестры заглушали речи гостей, и всех звуков сладостней хлопали пробки французских шипучих вин.

Радищев ушел не окликнутый из азовской каланчи. Он никем и не хотел быть замечен, столь его скорбное настроение духа противоположно было сей парадной гульбе.

Он знал, конечно, что и сам не уйдет куда-либо в пустыню из жизни людей своего круга. Знал, что вот скоро женится на милой Аннет, должен будет заняться домом и службой и, быть может, утратить сие пронзающее ум состояние. Да в подобном и пребывать долго нельзя. Вот только бы довести до конца поглотившую силы мысль...

Конец всегда есть начало иного, нового. Радищев не заметил, как ноги сами собой с земель крымских перенесли его в «степь Барабинскую», где веселился один подлый люд.

Его веселье было тоже печально: все успели уже перепиться и если не валялись в канавах, не дрались, то бессмысленно топтались на одном месте, облапив какую ни на есть проходившую деву.

«Чем и как помочь снять им с себя бремя, тяжесть коего они уже будто и не чуют? Если б они знали все то, что знаем мы! Если бы дать им наши права, наше знание, нашу смелость требовать своего места в жизни — от них именно, не отравленных от рождения, как мы, собственным произволом, могло бы родиться совсем новое племя, лишенное жажды угнетения себе подобных.

Но отчего бьется мое сердце? Откуда сей восторг и восхищение ума?»

За последнее время на Радищева все чаще находило подобное состояние раскаленной воли, которая желает во что бы то ни стало иметь свою часть в освобождении угнетенных, хочет крикнуть свое гневное слово в их защиту.

Но где и кому кричать, ежели один только отрывок из «Деревни Разоренной» вызвал злые толки и оскорбленным оказался весь дворянский корпус? О, если б собрать в одну книгу всю злую муку угнетенных, все злодейство тиранов! Если б эту книгу взять в руку, как диск, и метнуть... и попасть!

И много раз переживаемое чувство при взгляде на стоявшую у Фонвизина большую статую дискобола расширило грудь его, словно крыльями одарило. Прицел. Взмах руки. Сила и меткость броска. Куда метнуть и что бросить, он уже знал.

Радищев не заметил, как ушел далеко в сторону от суматохи празднества. Кругом были кусты и пригорки, неподалеку большой лес. Необъятность небесного купола, притихшая пред закатом солнца земля далеко отодвинули крикливую суетность ходынской толпы.

Радищев опустился в густую траву. Его охватила та приятная слабость, которая бывает у человека, когда он долго плутал в неизвестном лесу и вот увидал огонек и, уже зная наверно, что выберется вон из чащи, присел отдохнуть.

Волнующие мысли теперь нахлынули уже с иной стороны: как быть одному против всех? Не безрассудство ли сие и одна ненужная пагуба?

Но тотчас, возмущенный мгновенным унынием, перебил себя сам: а Иоганн Гус на костре? а Галилей среди вероломных инквизиторов?

И что же, пусть одиночество! Не оно ли всегдашний удел того, кто бескорыстно служить хочет благу общему, благу всех? Одиночество и пагуба.

Пусть же явится в свет она, моя пагубная книга!

Вслед за огненными фонтанами, вслед за превеликим множеством солнц и швармеров, лусткугелей и щитов появился на небе огненный павлин.

Величаво и царственно сей павлин распростер на полнеба свой хвост. Из хвоста фонтан разноцветных звезд просыпался ливнем на землю.

— Да будет сей триумф, да будет сей узорочный фейерверк прообразом грядущих лет владычества нашей Екатерины! — возгласил Потемкин, подымая свой кубок за здравие Екатерины.

Указы, изданные Екатериной за это время, уже носили на себе печать нового отношения к своему правлению.

Так, предписано было состоящему во вновь установленном звании обер-полицеймейстера, чтобы он старался дерзостных людей, кои на улицах подавать станут прошения императрице, забирать и представлять в сенат, где поступлено будет с ними по законам.

До последней мелочи городского управления предусматривались нововведения, которые привести должны будут империю к совершенному послушанию и благообразию. Купцам и мещанам воспрещалось обзаводиться, по примеру знати и дворянства, экипажами вызолоченными. Извозчикам поставлено было в обязанность красить в желтый цвет свои фаэтоны, от чего и произошло наименование извозчика — «Ванька желтоглазый».

Учреждены были надзиратели за казенными зданиями, и столицам дан глава полицейской системы — обер-полицеймейстер. Для городского управления дан магистрат из двух бургомистров и четырех ратманов. Наконец, проведя в нескончаемых празднествах целый год, Екатерина возвратилась в Санкт-Петербург.

И здесь были свои, более скромные, чем в Москве, торжества. Они завершились присутствием императрицы на балете в ею любимом Смольном институте благородных девиц. Живописцу Левицкому дан был приказ увековечить своею кистью лучших танцовщиц.

Утром, едва проснувшись, Екатерина уже не хваталась за книжку того или другого философа, как то бывало в первые годы царствования. Тогда ей казалось любезным, как богине Победы впереди корабля, мчаться первой среди государей к просвещению своей великой страны.

Ныне страна стала ей вотчиной. И, помещица, держа строго порядок в хозяйстве, она теперь вместо мечтаний философов слушала первого обер-полицеймейстера города.

Ежедневно по утрам обер-полицеймейстер приходил с докладом «о происшествиях, о ценах на жизненные продукты и о молве народной».

Наконец как-то ночью матушка среди сердечных услад с Потемкиным сожгла последний вольный корабль. Она шепнула Гришифишеньке:

— Мой Наказ просто бредни перед твоим прожектом о губерниях, о мой бели медведь!

*1934—1935*

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# *Пагубная книга*

## *Глава тринадцатая*

Когда к рождеству 1775 года, после казни Пугачева и торжеств Кучук-Кайнарджийского мира, Екатерина вернулась, наконец, из Москвы в Петербург, в ее свите был новый кабинет-секретарь, Петр Завадовский.

Румянцев в Москве представил матушке тридцатилетнего полковника и перечислил его отличные военные заслуги, а Екатерина сняла с собственной руки перстень и с поощрительным взором надела его Завадовскому на палец.

У этого красавца-полковника была вельможная осанка, умное веселое лицо, голова, смело посаженная на широкие плечи.

Вскорости стало известно через приставленного одного человечка, что в первых числах января нового года Завадовский писал своему другу Семену Воронцову триумфальное письмо:

«Порадуйся, мой друг, что на меня проглянуло небо и что уже со вчерашнего дня генеральс-адъютантом ваш искренний друг и покорнейший слуга».

Потемкин насторожился. В лице Завадовского встала угроза не только заместителя альковного, а попытка найти нового друга-советника.

Ревниво охраняя свои права, Потемкин угадал истину.

Не однажды бессонную ночь, которую ничем не обнаруживало, однако, на утреннем приеме как обычно приветливое и свежее лицо Екатерины, она проводила в тре-

вожных мыслях об угрожающей ей опасности потерять свою столь трудно завоеванную самодержавную власть.

Тайно, как Елизавета Петровна с Разумовским, и она ведь обвенчана со своим скифом. У Самсония поп венчал при малых, но верных свидетелях. Огласки делать не желала — слишком памятовала ту ярость, которую вызвали одни только слухи, что собирается себе брать в мужья Григория Орлова.

Однако, хоть империи то не ведомо, для самой-то себя наложены узы. Конечно, не позорят они ее гордость женскую, как позорили те, первые, хотя и законные, с ничтожным супругом Петром Федоровичем, но с собой наедине по этому поводу была Екатерина чем далее, тем тревожней. Нет-нет, а пойдут сверлить мысли: уж не предала ли она свою силушку?

Перед собой кривить нечего: недавняя пугачевщина, победа Емельянова в содружестве с «домашним врагом», повсеместно вставшими крепостными, превратили ее, императрицу, не только в «казанскую помещицу», — в насмерть перепуганную бабу.

И по вековой бабьей повадке забоялась пред кем-то ответа, потянулась к защитнику, к такому, чтобы всех зажал в свои лапы, что и сумел оный скиф, худородный смоленский дворянчик, ныне светлейший князь и супруг.

Но вот первый страх прошел, — осмотрелась, поняла: надолго миновали пугачевские ужасы. Поработали заплечных дел мастера, насмотрелись люди на виселицы, на глаголи... усмиряли, чай, не жалеючи. Не скоро опять подымутся бунтовать. На ее, Екатеринин, славный век тишины теперь хватит. Покачался ее трон, да не упал. Может, и власть свою делить было незачем? Поторопилась...

И порешила Екатерина без лишней проволочки доказать ему, хоть и возлюбленному, хоть и супругу, что не господин он над ней.

И тем скорей надо было доказывать, что крепла любовь к нему, а вместе с нею испуг: ужель предать в чужие руки все хитроумье трудов, давших ей, нищей немецкой принцессе, трон императрицы российской? Предать власть над страной?

И пугал яркий в памяти облик покойной царственной тетки, Елизаветы Петровны, последних лет ее жизни.

Нечесаная, поглупевшая от любви, она забросила дела государственные ради улыбки своего света милого...

Тогда, еще в юности, стыдясь за императрицу-тетку, Екатерина дала себе клятву, что такому сраму с ней самой никогда не бывать.

Наружно Екатерина держала себя с великой осторожностью. Завадовский явился в открытой милости, только когда Потемкин нашел нужным отбыть в Новгород для осмотра войск. Все с нетерпением ждали падения ненавистного многим за презрительное самовластие «князя тьмы», — так прозвали его враждебные Потемкину масоны.

Полковник Завадовский успел получить четыре тысячи душ в Могилевской губернии и помещение во дворце. Панины пустили в ход все свои силы, и вот уже сам цесаревич стал милостиво с ним разговаривать.

Потемкин, не думавший легко сдаваться, искусно поставил на вид Екатерине склонность цесаревича к новому фавориту. Непреклонная ненависть Павла к нему, знал он, была для императрицы лучшим доказательством того, что преданный скиф соблюдает в ущерб кому бы то ни было только ее интересы.

Ядовитая мысль, что Панины и цесаревич полагают на Завадовского свои особые надежды, была верной отравой для Екатерины, и Завадовскому очень скоро объявлено было, что он «отпущен» на Украину. И, как ему то ни было прискорбно, он принужден был «покинуть чертоги, в коих счастлив был толико». Покинул, правда, не с пустыми руками.

К первоначальному дару прибавлено было ему шесть тысяч десятин земли на Украине, две — в Польше, тысяча восемьсот — в русских губерниях, сто пятьдесят тысяч деньгами, тридцать — посудой и десять тысяч пожизненной пенсии за особые труды при императорской персоне.

В эти дни подвернулся под руку Потемкину некий серб, Зорич, искавший у него покровительства. Зорич имел все необходимые качества, чтобы Потемкину, не смещая себя с первого места, допустить его очередным альковным утешителем.

Амурный пыл, по опыту было известно светлейшему, — дело, легко подверженное остуде и капризу воображения.

Но если кто возомнит стать орудием его злейших врагов, кто к власти, данной только ему, протянет руку... того немедля сменить новым послушным ставленником.

И светлейший порешил взять в свои руки, кроме дел государственных, и капризы альковные, сиречь Зоричем выбить Завадовского.

Потемкин оставил серба у себя, сделал его адъютантом, произвел в полковники и представил ко двору как раз после того, как подозрениями против Завадовского поколеблен был его фавор.

Зорич был красив и наряден, как попугай. Не слишком умен и вполне в руках повелителя. Едва Завадовский отбыл в свои новожалованные поместья, Зорич заступил его место.

— Сей серб под удачной звездой похищен был турками с родины и от них выкуплен, дабы процвести ему на придворных паркетах, — таково было общее мнение, и немалый последовал сюрприз, когда оказался фавор сей весьма кратковременным. Серб поскользнулся. Соблазнился властью и, помимо альковных забав, пожелал «играть ролю в политике».

Потемкин незамедлительно, с неизменным тактом и легкой насмешкой, обратил внимание матушки на неудобную для правителя государства вопиющую необразованность Зорича.

Опять добился того, что Екатерина повела себя с Зоричем сухо, почему сей оскорбленный, решив, что охлаждение произведено интригой Потемкина, вызвал его на дуэль. Высмеяв Зорича пуще прежнего, Потемкин презрительно от дуэли отказался.

Зорич кинулся императрице в ноги, вопил, что ко всему равнодушен, не токмо к власти и роскоши, а к самой жизни, постылой без света ее личной склонности.

Военным напором и простосердечием искренности Зорич дня на два восстановил свой фавор.

Потемкин сыграл оскорбленного и уехал из Царского в Петербург. Екатерина, не выносившая трагедий, отправила Зорича звать светлейшего обратно на ужин. Сверкающим остроумием Потемкин, на этом ужине втроем, добил бедного Зорича в такой мере, что тут же тот получил отставку бесповоротную. А с матушкой заключен был отныне нерушимый союз государственный при полной

свободе увлечений личных, легких, как мимолетные тучки, не закрывающие света солнечного. Этого света источник — он один, светлейший, по именованию же масонов «князь тьмы».

Все партии просчитались на падении Потемкина. Указом от первого января его хозяйственному попечению вверены были губернии Новороссийская и Азовская вместе с укреплениями днепровской линии.

Потемкин ехал в свое наместничество ранней весной.

Он сидел, развалясь в дорожном рыдване, с ним рядом нарядный маркиз де Муши, теперь частый его собеседник, сейчас дорожный спутник. Де Муши ехал к папскому нунцию в Варшаву по тайным делам иезуитского ордена. Напротив Потемкина, на месте менее почетном, сидел молодой адъютант.

Офицер настороженно следил за начальником, который, минуя его своим зорким орлиным оком, угрюмо смотрел в просторы бесконечных полей.

— Попала вожжа под хвост... — непочтительно обозвал про себя захлестнувшую Потемкина меланхолию молодой адъютант и старательно поджал свои длинные ноги, чтобы дать еще более простора грузной персоне светлейшего.

Де Муши, уже привыкший к повадкам капризного вельможи, продолжая непринужденным голосом свой доклад, был внутренне насторожен не менее адъютанта. По данному из Рима поручению ему надлежало привезти нунцию в Варшаве обнадеживающую весть, что Потемкин склонен подпасть под благодетельное влияние ордена Иисуса.

Потемкин не только не подпадал, но, напротив того, на многократно при случае возобновляемую хитрую речь де Муши, восхвалявшую преимущества единой католической церкви перед всеми прочими, им уличаемыми с язвящей тонкостью в схизме, обычно сыпал в ответ обилие непотребных анекдотов из практики святейших пап и епископов.

Сейчас де Муши вел разговор околичностями. Поссорясь с уличившими его в интригах масонами, он, в свою очередь, хотел поссорить с ними Потемкина. Были действия против масонов директивой от ордена...

— Для распространения своих немудреных идеек масонам нужна печать, — иронически, слегка устало говорил де Муши. — Эту задачу за последнее время весьма успешно выполняет для них Новиков. Вам известно, ваша светлость, — им объявлен новый журнал — «Утренний свет»?

— Вчерашние новости, — проворчал Потемкин.

— Есть и посвежей... сегодняшние, — тонко улыбнулся де Муши. — Сей Новиков уже возглавляет ложу собственную...

— Именование? — оживился Потемкин.

— Ложа Латоны.

Потемкин повернулся своим затучневшим корпусом к де Муши.

— Для охраны от врага внешнего, а тем паче внутренного, важны не книжицы и журналы с назидательным чтением, а вооруженный корпус дворянства.

— Если этому корпусу гарантировать деньги, земли, доходы, — подсказал вкрадчиво де Муши.

Потемкину вдруг не захотелось говорить. Как обычно, от одного упоминания имени Новикова встал отчетливо и зло в памяти собственный формуляр.

С этим вот ныне знаменитым просветителем, с Николаем Ивановичем Новиковым, вместе был в московском университете и одновременно отмечены были в «Санкт-Петербургских ведомостях» за номером 60 выключенными «по лености». Дважды подержала жизнь на общей чаше весов их обе, столь разные в дальнейшем, судьбы.

Вторично, в тот памятный день восшествия на российский престол Екатерины, скрестились снова их жребии — поручика Измайловского полка Николая Новикова и его, вахмистра Григория Потемкина.

Новиков стоял в корпусе караула у моста, когда по нему, блистая красотой победительницы, в преображенском мундире, тогда еще молодая пленительная женщина, въезжала в казармы Екатерина.

А он, вахмистр Потемкин, вдруг заметив, что ей впопыхах забыли навесить на саблю темляк, находчиво осмелился поднести свой собственный. Как сейчас от нее знает, тогда же особо отмечен был в памяти.

В составленном списке лиц, имевших получить награды за участие в перевороте, ее собственной рукой

записано было тридцать шесть персон. Первым помечен Григорий Орлов, предпоследним он, вахмистр Потемкин, тоже Григорий.

С Орловым — тезки. То-то остряки над ним теперь упражняются — «Григорий Второй»!

Вскорости, когда был в армии, получил на свои пламенно-покорные письма ответ от нее. Неприметно вызван был в Петербург, и головокружительная фортуна вознесла его жребий.

Как девочка, впервые влюбленная, презентовала Екатерина ему свою «чистосердечную исповедь» о бывших до встречи с ним сердечных утехах. И хоть ненадолго, но крепкая и обоюдная у них вышла любовь.

Не без горечи усмехнулся: «Тогда, ничем не связанной, ей казались нужны предо мной оправдания, а ныне, хоть и повенчаны, без спросу... с кем хотим. Поостыли. А все-таки, раз обвенчаны, не своим ей умом выбирать. Пусть из моих рук смотрит... Пусть балуется с пустоцветами, а чуть кто руку к короне — хлоп того по рукам. Отведем от чертогов...»

Потемкин сидел, далеко отвалившись на спинку рыдвана. Нижняя губа его, от природы выступавшая несколько вперед, выпятилась сильнее; брезгливо сморщившись, он вытянул ноги, не желая замечать, что адъютант, против него сидевший, окончательно сжался в комок и, дабы не утерять равновесия, держался одною рукою за козлы.

«Коль жив человек, пусть заявится, — думал Потемкин про адъютанта, — а коль терпит — терпи».

Потемкин насмешливо скользнул взглядом по обиженному красному лицу офицера. Адъютант, тяжело дыша, замер в неудобной позе, готовый терпеть без конца.

«Вот, все они так, — презрительно улыбнулся Потемкин, — ненавидят, а хоть ему в морду наплюй!..»

И неожиданно резко он сказал адъютанту:

— Ведь зело неудобно вам, сударь, из-за моих ног, что же вы мне о том не заявите? Этак, пожалуй, вам можно и ж... на голову сесть!

Вдруг подтянувшись, Потемкин убрал под себя ноги и, отвернувшись от своих спутников, стал зорко и гневно смотреть в степь, как будто это именно она перед ним провинилась.

Тяжелая, пыльная тоска шла от пустырей с полосатыми верстами. Она обволакивала мысли.

И понял... Жила до сих пор одна надежда в тайнике. Вроде желторотое мечтание, еще не выхлестанное ни казармами, ни интригами честолюбия, как у студента московского, что бегает на Воробьевы горы смотреть солнечный восход. Надежда относилась к ней, необыкновенной женщине, северной Семирамиде. Мечталось, что заполняющим томную пустоту его вечно голодного сердца будет их тайный брак.

И вот оказалось: она даже не философ на троне, как ее почитает Вольтер, а попросту счетовод. Везде и всюду рассчитывает, как ей повыгодней да как бы не оступиться, не потерять свою власть даже в их необычной, как счастье выпавшей им, любви. Между пальцев любовь его утекла... Сейчас он — правитель, она — соправительница. Вот их союз.

Потемкин перенес мысли на своих врагов, приближенных цесаревича, Панина с подручными. Все они ждали отказа Екатерины от трона в пользу совершеннолетнего сына, чтобы самим ринуться к власти.

Не далее как в марте перехватили письмецо Никиты Панина. Он писал Репнину: «А наши обстоятельства всё в том же положении. Один самовластвует (Потемкин), все берет, а другой (надо понимать — Павел) остается под спудом. И, повидимому, долго так продолжится».

«А продолжится, пока я в земной сей юдоли пребуду», — ответил мысленно Потемкин и самодовольно улыбнулся.

Внимательно следивший за выражением его лица де Муши нашел благоприятным продолжать свою противомасонскую кампанию.

— Насколько мне известно, ваша светлость изволите полагать, что в масонском учении яд равенства лишь поверхностная болтовня и вреда государственного от него не предвидится вовсе.

— В оном учении даже протеста против крепостного права не слышится, — то ли одобряя, то ли насмехаясь, обронил Потемкин. — Новиков, слыхать, собирается выступать против вольтерьянства. Обеззубел былой наш вольнодумец. Забыл, как с матушкой во «Всякой всячине» пререкался!

Де Муши пригнулся кошачьим движением близко к Потемкину и, понизив голос, сказал:

— Однако тяготеющая к цесаревичу партия объединена не чем иным, как масонским орденом. И само учение Сен-Мартена, которое у них на первейшем месте, на свой манер весьма не чуждо политике. Оно защищает не только монархию, но и знать родовую, отчего оно столь любезно для наших исконных бар и приемлется ими охотно.

— Бар, мечтающих о фундаментальных законах... — недобро сказал Потемкин, — а при посредстве оных о прочном соучастии в управлении империей...

— Но зато ряд людей, одаренных исключительными талантами, не в пример тем, кои выдвинуты одним слепым случаем происхождения, с надеждой взирает как на великого преобразователя только на вас, ваша светлость! С вами вместе они удержат на высоте трон мудрейшей из императриц. Наконец, только с ними и только с вами хочет считаться общественное мнение Европы. — И, особо оттеняя важность своих слов, де Муши произнес, словно одарил милостью: — И с вами одним, ваша светлость, считаться желает Рим.

Вспомнив о присутствии незнакомого молодого офицера, который от огорчения стал подремывать и казался окончательно неживой фигурой, де Муши счел дальнейший, более определенный разговор на свою тему неудобным. Он весело и с любезностью заговорил о том, как продвигаются в польских архивах розыски для составления родословной Потемкину, чем, знал он, тот был немало озабочен.

Интересы Потемкина и иезуитов переплетались. Черневич хлопотал через него у императрицы позволения на открытие новициата в Белоруссии, а Потемкину важно было, чтобы иезуиты в этом крае поддерживали и раздували верноподданнические чувства к Екатерине и произвели захваченную ею власть в пожалованную ей самим богом. В благодарность за их усердие ему, как опекуну иностранных исповеданий, легко было повернуть все иезуитские дела в нужную для них сторону. В свою очередь тщеславные личные мысли Потемкина иезуиты мастерски угадывали на лету.

— По изысканиям брата Нерушевича, — елейно пел де Муши, — в смоленских архивах род вашей светлости происхождение имеет отнюдь не от простых рядовых шляхтичей, а от именитого древнего, покрытого славой рода, имевшего обширные владения...

Потемкин небрежным жестом оборвал лукавое красноречие иезуита и чуть насмешливо, но милостиво вымолвил:

— Лучше вас геральдистов не сыскать... Стряпайте, как умеете. Скажите лучше, какой дар прислан с вами братом Каро? Он мне давеча посулил польского тройничку...

— Двенадцать бутылок со мной, ваша светлость... наикрепчайшего старого меду.

— Вот и сделаем привал, чтобы его отведать! — И, обращаясь дружелюбно к измотанному обидой и тряской адъютанту, Потемкин потрепал его по колену и отечески сказал:

— Сейчас разомнетесь, любезный, не будем ждать очередного яма... Прикажите кучеру кормить коней тут, среди поля.

В Петербурге Радищев зажил с молодой женой в доме своего тестя, что на Грязной улице, вблизи церкви Владимирской божьей матери и Невской перспективы. Дом выходил на улицу, каменный, двухэтажный, с двумя большими залами.

За домом, далеко вглубь, разросся сад с березовой аллеей и прудом. Посреди пруда на островке разбит был фокусный лабиринт. В нем любила, мечтая, бродить молодая Радищева, недавняя Аннет Рубановская. Сейчас она шла мимо фруктовых дерев, розовых кустов и клубничных роскошных гряд. В руке она держала корзинку, чтобы набрать ягод к обеду. Ждали дорогого гостя Алексея Кутузова, приславшего эстафету о своем прибытии.

Алексис прожил с Радищевым неразлучно четырнадцать лет в одной комнате, расстался с ним только вследствие женитьбы Александра на Аннет, и она считала себя обязанной быть к этому единственному другу своего мужа

особливо любезной, хотя сердце ее к нему совсем не лежало. Причиной были туманные, загадочные речи Алексиса и его неприятное увлечение алхимией, казавшейся ей какой-то особой немецкой чертовщиной.

Аннет прошла мимо соблазнительных красных ягод, решив, что нарвет их на обратном пути, прошла по мостику в лабиринт, что на островке, и села над прудом на свою скамейку, высеченную в искусственной скале.

Сегодня была годовщина смерти ее отца, старика Рубановского, который умер внезапно прошлым летом в Москве.

Как летит время! Давно ли был этот знаменательный вечер у Херасковых, когда она пела пред Александром и гостями «Овечек» мадам Дезульер, а потом произошло окончательное объяснение в любви, и Александр сделал ей предложение там, в углу, у трельяжа, обвитого плющом... Как дорогой, в карете, сердилась мать, как попрекала... Ей ведь мечталась для Аннет блестящая придворная партия. Разве не танцевала Аннет в Смольном в паре с Катишь Нелидовой, разве не получала из рук самой императрицы одобрение и презенты? И как, бывало, обидно напирала маменька, что ради них, дочерей на выданье, прихварывающий отец все еще должен тянуть лямку своей службы в придворной конторе. Ради дочерей поддерживает свое положение, чтобы не утратить возможности провести их посредством замужества в столь желанный для маменьки высший свет.

«И вот батюшка умер, — вздохнула Аннет, — и рухнули все расчеты маменьки; осталась она одна с маленькой пенсией. Какое счастье, что Александр не отступил перед препятствиями, что их брак заключен по любви, что навек они вместе!»

Аннет взбежала на высшую точку лабиринта, откуда виден был целиком весь разросшийся сад с его гротами, ручейками, овражками.

Аннет любила, дав волю своему воображению, вдруг подменить привычный мирный ландшафт тем романическим, что навсегда запомнился из пламенных романов Жан-Жака Руссо.

Аннет захотела почувствовать себя героиней-возлюбленной «Новой Элоизы» — несчастной Юлией. И вот знакомые с детства места внезапно превратились в пустын-

ные, дышавшие той своеобразной дикой красотой, которая была столь любезна чувствительному перу Жан-Жака. Вместо веселого ручейка бурный поток закружил и запенил волны, грозно сбивая каменья на своем пути. Вместо большого, знакомого в подробностях двухэтажного дома, выходившего ее комнатой на зеленый дворик, Аннет увидала засверкавшие снегом Альпы. Темные ели росли на горах, из ущелья слышался рожок горного пастуха, созывавший разбредшееся стадо...

Когда Аннет, взволнованная мечтаньем, скользнула в беседку, поросшую жимолостью и вьюнками, горячий шепот молодого Сен-Пре монологом, который она знала с времен института, обжег ее ухо.

Она ведь была не Аннет, — она была возлюбленная Сен-Пре, она была Юлия, и она слушала:

«...Неужели ваше сердце ничего не говорит вам здесь, и вы не чувствуете тайного волнения при виде этого приюта, где все полно вами? О Юлия, вечное очарование моей души! Вот они, эти места, где когда-то вздыхал по тебе самый верный из всех возлюбленных на свете!»

Аннет уже плакала слезами горькими и счастливыми одновременно, отдавая дань своей чувствительности овладевшему ее мыслью писателю и вместе с тем радостно торжествуя, что горесть разлуки с возлюбленным только плод ее воображения.

В эту самую беседку, говорил ей Александр, приходил он мечтать о ней в те мучительные годы, когда мать ее, ожидавшая жениха починовнее, держала его в отдалении и томила своим несогласием на брак дочери с ним. Да, они были одно время разлучены гордостью родителей, совсем как благородные и безутешные Юлия и Сен-Пре.

Отсюда особо живое волнение от вызова в памяти бессмертной истории двух любящих и оскорбленных сердец.

Сейчас Аннет и Радищев счастливы любовью, горды появлением на свет своего первенца, Васеньки. Откуда же сия тяга к печали, сей трепет пред неверной судьбой?

Незаметно подкравшийся к беседке Радищев нашел свою молодую жену в слезах. Обеспокоился, расспрашивал, утешал, молил сказать ему, что случилось.

Аннет, порывисто обнимая мужа, с присущей ей милой естественностью говорила:

— Мне самой себя не понять, Александр... А плачу я только от счастья, что у нас с тобой не вышло такого рокового конца, как у бедной Юлии и Сен-Пре. Но вместе с тем я все безотчетно опасаюсь чего-то, Александр. Вспомни, когда мы с тобой ехали от венца, как внезапно понесли лошади. Это считается плохой приметой, сказала няня... Уж не сужден ли мне ранний конец?

Радищев посмеялся суеверию Аннет столь остроумно, что рассмешил и ее. Скоро он увлек ее мысль по самому приятному руслу, развивая пред ней увлекавшую обоих программу воспитания Васеньки по заветам великого учителя жизни, давшего современникам идеал «нового человека».

Наперерыв они воображали, как, близко естественности и природы, поведут своего первенца, в какую сельскую идиллию претворят его золотое детство среди этого тенистого сада с кустами роз, с парниками, прудами.

Аннет, вполне утешенная и веселая, об руку с мужем направилась в березовую аллею. Радищев, уже обвыкший посвящать свою жену-друга во все прожекты литературной и служебной жизни, стал с увлечением делать экспозицию своей новой статьи, предназначенной в журнал «Беседующий гражданин». Сия статья была итогом только что бывшего разговора о воспитании и звалась: «Беседа о том, что есть сын отечества».

Радищев, склонясь к Аннет, говорил горячо, сопровождая выразительность своего голоса ярким блеском удивительно красивых глаз, и была особая интересность в изяществе его продолговатого лица.

— Друг мой, Аннет, запомни, — три качества отличают истинного «сына отечества»: он должен быть благородно честолюбив, благонравен и смел. А истинное благородство, Аннет, это отдача себя на службу всему роду человеческому. И преимущественно своим соотечественникам. Ибо, поскольку я рожден русским, обязан я в первую голову создавать благоденствие своей страны...

— Позволь, я прерву тебя, мой друг, — сказала, невольно торжествуя, Аннет. — Ты, значит, в этом столь важном вопросе сходен только со мной, а никак не с Алексисом! Насколько я поняла его, масоны считают

похвальным не иметь отечества вовсе, не ощущать ближайшим сердцу собственный свой народ.

— Ошибочно так считают. Без опоры на свой народ, — сказал твердо Радищев, — нет человеку большого росту, нет распространения его мыслей для грядущего.

Радищев, волнуясь, встал со скамьи, на которую оба сели. Он, расхаживая пред Аннет взад и вперед, продолжал вслух заветные мысли, вызванные ее замечанием.

— Относительно Алексиса ты права... Он стоит на опасном пути со своим нежизненным, поглощающим все его силы увлечением. Когда мы жили вместе, мне порой удавалось стаскивать его с горных высот на землю, но сейчас я серьезно боюсь за него. Наверное, и сегодня будет с ним крупный разговор.

— Я бы хотела присутствовать, — сказала застенчиво Аннет. — Я не помешаю?

— Вот разве что Алексис нахмурится... Он ведь меня все ревнует к тебе, — усмехнулся Александр.

Аннет вспыхнула:

— Что же, немудрено, я ведь расстроила вашу холостую жизнь.

— Сколько ни кайся — дело непоправимое, — рассмеялся Радищев, идя с женой под руку по аллее. — Однако не думай, Аннет, не только женитьба на тебе заставила меня обездолить друга. Худо ли, хорошо, мы с ним действительно прожили как братья четырнадцать лет, но в последнее время настолько наши пути разошлись, что все разговоры кончались лютыми спорами...

— Вот мы у клубники... — прервала Аннет, — нарву-ка я Алексису отборной.

Аннет скрылась и скоро вышла, неся корзину с верхом великолепных ягод, прикрывая их от Радищева зеленым листом лопуха.

Солнце падало сквозь ветки берез трепетными зайчиками на дорожку, розовые ленты Аннет, по моде приколотые у шеи, известные под названием «поймай меня», легко взметнулись над локонами, когда, лукаво оглянувшись на Александра, она, будто спасая от его аппетита корзинку, побежала домой.

Как запомнился Радищеву, как запечатлелся навсегда в памяти этот миг розовой юности, этого первого счастья

с молодой женой! Он поймал Аннет за концы розовых лент и горячо обнял...

Идиллию прервал Середович. Он возник вдруг у березы в парадной ливрее камердинера, сшитой по его собственному настоянию. Середович доложил, что Алексей Михайлович Кутузов «изволили прибыть».

Алексис из отпуска ехал обратно в армию. Военный мундир дал выправку его длинной расслабленной фигуре, но сообщил ей вместе с тем какую-то деревянность. Он казался студентом, ради шутки надевшим военное платье.

Но голубые его глаза смотрели попрежнему восторженно, как бы не видя окружавших вещей.

Обнявшись с Алексисом по-приятельски, оглядев его быстрым глазом, Радищев с улыбкой сказал:

— Уж признавайся, Алексис, за свою выправку ты из взысканий не выходишь?

Алексис начал с забавной многозначительностью:

— Учитель наш Сен-Мартен учит, что корпус военных является наивернейшим отражением воинства небесного, ибо, по слову Трисмегиста, «что вверху — то внизу»...

— И какое же сия символика имеет отношение к тому, чтобы тебе поспособствовать не попасть под арест? — прервал, смеясь, Радищев, ведя под руку друга на балкон, где решили обедать.

— А вот верь — не верь, а благодаря экзерсисам я от взысканий избавился... правда, не особливо давно. — Алексис глянул детскими бирюзовыми глазами и, смешно ежась, как, бывало, в школьные годы, в Лейпциге, под окриком свирепого дядьки Бокума, конфузливо добавил: — От взысканий, брат, я только еще надеюсь избавиться.

За обедом горячо обсуждали великое событие последних дней — объявление независимости Североамериканских колоний от их метрополии, Англии.

Алексис привез из дипломатических кругов различные толкования этого события. Мусин-Пушкин свое донесение начал словами:

«...Положение американских дел дошло уже до зрелой кризисы...»

— А кризиса-то уже налицо, — хохотал Радищев, — куда еще дальше объявления независимости...

— Самое для нас в этом деле любезное, — излагал Алексис, — это что Англия потеряла возможность вмешательства супротив нашего интереса в дела восточные. На днях Порта потребовала посредничества английского короля на предмет смягчения наших кучук-кайнарджийских условий, а король принужден был из-за собственной заварухи отказаться. Больше того, Георг к нашей императрице разлетелся с просьбой: не направит ли русских войск для подавления мятежа в английских колониях?

Радищев насторожился:

— Мятежа?.. Так аттестовано дело?! Ну, что же ответствовала императрица?

— А вот что: «Недостойно соединять свои силы двум монархам, чтобы утушить бунт, не подкрепляемый какой-либо иностранной державой». Сейчас при дворе усиленная внутренняя деятельность... вводятся новые губернские учреждения.

— А в общем, — сказал резко Радищев, — несмотря на лицемерные заверения Екатерины, везде и всюду грубейший произвол. С деспотизма сорван последний фиговый листок. И чего стесняться, коли глотают, не пикнув!

Аннет, очень мило вмешавшись в разговор, упросила обоих друзей на время прекратить разговор и отдаться оценке ее первых хозяйственных опытов.

— Необходимо вам перед боем подкрепиться, — улыбнулась она. — После обеда к вам в кабинет я со своими законами не войду. Но сейчас, дабы не простыла кулебяка, я требую повиновения.

— Повинуемся, Аннет, — ответил Радищев и, глянув на Кутузова, рассмеялся тому испугу, с каким его друг глядел на гордую своей хозяйской властью Аннет.

— Читаю твои мысли, Алексис, — сказал Радищев, — «конец свободе под брачным ярмом!» Ну, признавайся, — ты решил никогда не жениться?

— Никогда! — вырвалось столь искренно у Алексиса, что смеялись и Аннет, и Радищев, и сам отпустивший хозяевам комплимент.

Когда перешли в кабинет, Кутузов, запоздало сконфузившись, стал извиняться, что неловко сморозил.

— Пустое, брат... тем ты и мил, что чист, аки агнец. Только совет мой тебе, Алексис, совсем обратный твоему расположению мыслей. Пока не поздно, женись и ты. И после успеешь попасть в эмпиреи. На земле надлежит быть земному...

Радищев ходил по комнате, пока Алексис, отсутствующий, поглощенный одной своей думой, сидел, не двигаясь, в креслах. Он собирал указанным в ордене способом свои силы, дабы еще раз, как убежденный в найденной истине фанатик, попытаться привлечь к ордену Александра.

Радищев остановился перед своим другом, слегка потряс его за плечо и, в свою очередь желая сделать его соучастником мыслей своих, тихо, но твердо произнес:

— Прежде всего, Алексис, мы с тобой граждане нашего отечества. И нам должно открыть глаза на то, что с оным делают власть имеющие. Царица предает идеи просветителей, коим сама поклонялась в «Наказе». А Потемкину, чтобы удержать свое первое место, надлежит подкупать неустанно своих жадных новорожденных дворян. Отсюда, как из рога изобилия, раздача казны и земель. Отсюда новые войны. Ибо что скорей может обогатить негодяев? Помни мои слова, Алексис, Потемкин подымет царицу на новый захват.

— Недаром нарекли его у нас в ордене «князь тьмы», — сказал с печалью Алексис. — Масоны, Александр, суть духовные его супротивники. И если ты не сторонник сего «князя тьмы», то естественным образом должен быть с нами...

Кутузов встал и, взяв под руку друга, с бьющимся сердцем стал ходить, стараясь соразмерить свой шаг с шагом Радищева, но в ногу не попадал, и Радищев рассмеялся:

— Не трудись, Алексис, из разнобоя не выйдем!

— Выслушай меня, Александр, — собрался с силой Кутузов, — поверь, и мой дух трепещет при слове «вольность», но я знаю, что истинная свобода состоит токмо в повиновении законам, а не в нарушении оных. Я ненавижу возмутительных граждан. Из близкой мне среды бунтовщиков не будет. Но у нас объединились только что ложи елагинская с рейхелевой. Наша задача — бескровная, безнасильственная революция, сиречь возрождение свободное, по сознанию каждого. Ты усмехаешься,

Александр, ты мысленно, знаю я, произносишь: «Срок подобному возрождению — бесконечность», но мы готовы запастись терпением, мы, тако верующие...

— Запастись терпением и равнодушно смотреть, как помещики, весьма далекие от всякого вкуса к возрождению, засекают насмерть мужиков?

Радищев выпустил руку Алексиса и один зашагал по комнате, раздраженный известным заранее возражением Алексиса о том, что общественное положение человека предуказано самим богом.

— Каждому определен известный градус; только двигаясь по сему градусу, сиречь исполняя предопределенные свыше свои общественные и прочие обязанности, можно подвинуться к центру — один он истина. Вот на каком основании в масонстве не слышится тобою желаемых протестов против крепостного права.

— Еще бы, — воскликнул Радищев, — если, как ты утверждаешь, оно охраняется самим богом. Ну и мерзавец же он в вашем представлении!

— Не кощунствуй, Александр! — с болью воскликнул Алексис.

Он вспыхнул, как девушка. Глаза его, молящие и чистые, как у не тронутого злом и ложью ребенка, были много умней и убедительней его слов.

— Мы вносим жизненную поправку, Александр. Эта поправка видоизменит неравное распределение благ земных. Имущий человек должен пользоваться своим имением только в интересах своих ближних...

— Стыдно тешиться, Алексис, подобной подделкой истинной добродетели! — прервал его с гневом Радищев. — До какого заблуждения можно докатиться, имея опорой мысли вашу лицемерную философию? Живым примером служит лучший из ваших братьев — Николай Новиков. Слыхать, в новом своем журнале он ставит одной из своих задач борьбу с вольтерьянством. А то ему невдомек, что мысли, им возбуждаемые в обществе, гораздо ближе, чем мечты о бесплотных эдемских наслаждениях, приближают нас к главной цели гражданина — к борьбе против разрушителя достоинства человека — крепостничества?! — Радищев волновался всем своим существом. Он возгорелся пламенем борьбы, едва выговорил несколько слов, обличавших его вечно заветную

мысль. — Навсегда неизменно запомни, Алексис: моя душа болит не о ваших эдемских науках, а токмо о несчастных наших рабах, уподобленных нашим бесчеловечьем тягловому скоту, осужденных всю жизнь свою не видеть конца своему игу. Им отказано судьбой в малейшем человеческом пожелании. Им позволено только расти, чтобы потом умереть...

У Радищева не хватило слов. Он вплотную придвинулся к другу, взял его за плечо, повернул к себе лицом и, сверля его черными, горящими гневом глазами, вымолвил:

— Если ты имеешь что возразить — возражай!

— Ты будешь гневаться, Александр, — тихо, но твердо начал Алексис, — но ведь и я не могу утаить пред тобой свое задушевное.

— И не утаивай, — так же тихо ответил Радищев. — Может, нам более не свидеться.

— Стоит ли особенно хлопотать, Александр, — заговорил Кутузов каким-то не своим, заученным тоном, — стоит ли хлопотать особенно из-за этой быстро текущей нашей жизни? Ведь скоро-скоро спадет с нас сей бренный покров, и мы помчимся к высоким сферам, где свет озарит нас с предельной ясностью, где здешних горьких вопросов уже больше не будет. — Алексис закрыл глаза, закинул голову и сказал нараспев масонский стишок:

Там дух мой, чудом оживленный, гармонии миров вонмет.

— Смерть, Александр, — Кутузов широко и безумно открыл глаза, — единая смерть есть начало подлинной жизни. Недаром эллинский мудрец начертал: «Догадываюсь: то, что именуется жизнь, есть только смерть, и наоборот, смерть есть только начало истинно полной жизни».

Радищев сидел на подоконнике большого окна. Лампа не освещала комнаты, и в стекла гляделась светлая петербургская ночь. Черный силуэт Радищева с волнистыми, откинутыми назад прядями волос над благородным лбом был как вылитый из бронзы. Так, недвижно, сосредоточась в скорбной думе, он долго молча сидел, глядя в слабо освещенную улицу. Алексис тоже умолк и сел рядом с другом.

— Будь хоть попросту справедлив, Алексис, — сказал с глубоким чувством Радищев, — если ты сам волен заниматься тем, что на ум тебе ни взбредет, то почему не болеешь ты душой, что подобная же свобода не предоставлена наравне с тобой и бесправному твоему крестьянину? Почему?

— Потому что добро и свобода могут быть бесценной силой только в руках людей, возрожденных знанием каменщиков, в руках же профанских свобода всегда обернется злом. Прежде чем ратовать за вольность, надлежит подготовить к ней души людей, над чем наш орден и усердствует. — И опять закрыл глаза, закачался:

Неволи ты бежишь... бежишь ее страданий,
Но часто собственных невольник ты желаний.

И, не дав более ничего возразить Радищеву, охваченный собственным увлечением, Кутузов зачастил, размахивая длинными руками, целый период из только что прочитанного им «Утреннего света»:

— «Когда внешне человек терпит угнетение рабства, что же помешает ему быть свободным внутренно? Кто над собой царь? — Тот, кто внутри себя ничьей не подвержен воле, как токмо силе собственного закона о благе и разуме. Масон не сопоставляет своего блага ни с чем, что погибает вместе с его телом. И посему, исходя из таковых взглядов, масон не может в первую очередь стремиться к преобразованиям внешней жизни. Все внешнее отодвинуто на второй план, во вторую очередь». Я тоже, поверь, Александр, — вдруг совершенно своим, доверчивым голосом сказал Кутузов, — я тоже истерзан зрелищем несправедливости в нашей стране. Управляют беззаконные начальники, исчезла безопасность личная, граждане зашатались. Место доблести и мужества уступлено робости, ползающему духу. Коварство, лукавство, комариная мелочь съедают всякую законность. Поверь, мое отечество — моя душевная мука. И вот причина, Александр, почему я с охотой иду на предложение братьев на много лет уединиться за границей в изучение орденской химии.

— Допустим, что вопль о беззаконности и произволе, о падении высоты духа у нас с тобой одинаков, Алексис, — с лаской в голосе говорил Радищев старому другу, закрывшему свое лицо в сумерках белевшей

рукой. — Но выводы? Выводы о том, как дело это в нашей стране изменить, мы с тобой делаем настолько разные, что великая пропасть нас должна в будущем разделить...

Долго еще волновались в горячей беседе друзья, в этой последней встрече, пресекшей пути их столь непохожих судеб. Увлеченные, они не замечали, что Середович, то и дело приносивший им чай, который они не глядя глотали, никак не мог удосужиться вставить в их разговор свое давно обдуманное слово. Наконец, когда под ярко горевшими канделябрами Кутузов стал Радищеву чертить карандашом свой предполагаемый путь до Берлина, Середович не выдержал, свой поднос отставил на камин и, рухнув перед Кутузовым на колени, завопил:

— Батюшка барин, Алексей Михайлович, коль скоро поедете за границу, прихватите с собой и меня! Как покойника Мишеньку, буду вас пестовать. Ведь за границей народишко дошлый: и бельишко ваше раскрадут и как липку всего оберут!

Кутузов поднял Середовича, обнял.

— Сердечно рад, Середович, с тобой ехать... Только куда тебе и зачем? Наверное, твоя Минна, тебя не дождавшись, давно замуж вышла...

— Бог ей судья, клятвопреступнице. Не больно я плачу об ней... — И, шагнув к уху Кутузова, Середович конфиденциально прошептал: — Иную имею причину для поселения в заграничных сторонах.

— Вот старый чудак, что еще выдумал! — улыбнулся Радищев. — Плохо тебе разве у меня?

— Как можно, батюшка Александр Николаевич, и вас, и барыню, и Васеньку в поминаньице навечно вписал. Как сыр в масле катаюсь у вас. Только каждой персоне свою честь сберечь надо. Моей же ни в столице, ни в провинции никакого разгону не предвидится.

— Ничего, братец, не понять... — смеялся Кутузов, — говори, старик, начисто, понятней.

Середович выпятил грудь, как на параде, подтянул живот, опустил руки по швам и не спеша, с достоинством вымолвил, обращаясь к Радищеву, коему ведом был загадочный смысл его речи:

— Как я имею орден, и жалованную грамоту, и чин, коими, проживая в империи российской, не имею апробации пользоваться, то желательно мне проследовать

в качестве инкогниты за границу. Туда же едет, слыхать, и крепостной строгановский Андрей Никифорович Воронихин.

— Ладно, Середович, коли не передумаешь, заберу тебя инкогнитой вместе с собою!

Друзья распростились на рассвете. Радищев долго смотрел в окно на пылившую вдоль Грязной улицы коляску Кутузова. Невольные слезы текли по его щекам. Он прощался навсегда с Алексисом, другом юности. Если даже доведется еще встретиться, ведь окажутся совершенно чужими... В чистоте намерений Алексиса Радищев не сомневался, но после ночного этого разговора, после взаимно высказанных мечтаний о выборе средств для приближения благоденствия во всем человечестве, окончательно доказалась не только непереходимая разность, но и прямая враждебность их умонастроений.

До пробуждения домашних еще оставалось немало часов, и Радищев, радуясь не возмутимому никем одиночеству, запер дверь и достал из письменного стола верную хранительницу ночных дум и заветных восторгов — собственноручно переплетенную тетрадь.

Прежде чем раскрыть ее и записать новые, облеченные строфами мысли, Радищев вынул из книги Рейналя листок, привезенный Алексисом, где списана была декларация вольности.

Рейналь, любимый автор последних лет, чьи гневные строки против деспотов и деспотизма питали дух его все новою силою возмущения, казалось, был вдохновителем и этой декларации — живого осуществления его мыслей.

Радищев поднес к глазам, затемненным слезами восторга, тот листок, что оставил ему Алексис, и бережно, наслаждаясь каждым словом, еще раз прочитал декларацию:

«Все люди созданы равными. У всех неотъемлемые, определенные права. Для обеспечения себя пользованием этими правами люди учредили правительства, справедливая власть которых исходит из согласия управляемых. Всякий раз, когда какая-нибудь новая форма правления становится гибельной для тех целей, ради которых она была установлена, народ имеет право изменить ее и даже уничтожить».

Народ имеет право изменить ее...

Радищев от волнения не мог дальше читать. Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. Солнце ярко глянуло в окно. Он не видел. Заблаговестили у Владимирской к поздней обедне, — он не слышал. Он глубоко погружен был в тот совершенный покой творца, когда дошедшие до предела кипения чувства и мысли должны утихнуть на миг, как зерно, упавшее в темные недра земли, чтобы, отлившись в форму и слово, стать вкладом отдельного человека в сокровищницу познания для всех людей.

Долго ли, погруженный в свое безмолвие, сидел Радищев, он не знал. Наконец встал, прошелся, глянул в окно, уже залитое весенним радостным солнцем, и сел за письменный стол. Но писать ему пришлось недолго. В дверь, сначала тихо, потом все настойчивей, стучала Аннет, называя его по имени. Пришлось открыть...

Аннет была еще в утреннем кружевном капоте, с маленьким чепчиком на голове. Озадаченная каким-то отсутствующим видом Радищева, она, покраснев, пробормотала:

— Прости, милый друг, я не думала, что ты еще занят... Давно самовар на столе.

— Аннет, друг моего сердца...

Радищев обнял жену, усадил ее на диван, стал перед ней на колени и, как, бывало, возлюбленной матушке в детстве, обуянный особо трогательным ладом души, стал говорить тихо, с проникновением, глубже, чем один, сам с собой, переживая свои слова.

— Аннет, друг сердца моего... в этот век бесправия общего только одно дело писательское может иметь значение защиты неотъемлемых свободных прав человека. Мужественный писатель, он встанет против губительства и всесилия! Он — как огромный пылающий факел, он сможет раздуть пламя в сердцах. Мой долг, Аннет... долг патриота, гражданина, человека — ударить в набат. И я ударю!

Радищев взял в руки свою заветную тетрадь и прочел срывающимся от волнения голосом:

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел;
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел...

## *Глава четырнадцатая*

У цесаревича Павла умерла от родов любимая жена Наталья Алексеевна. Пять суток продолжались неслыханные муки, вызванные неправильностью телосложения великой княгини, пока, наконец, врачи объявили, что смертельный исход неминуем, коль скоро не будет допущено вмешательство хирургическое.

Обезумевший от горя Павел разрешил сделать жене кесарево сечение, но все уже было поздно.

Плохо понимая испуганную речь вошедшего к нему в необычный час Никиты Ивановича, он догадался, взглянув на его руки — холеные, полные, в драгоценных перстнях, одним жестом выразившие безнадежность положения, — что все кончено и Натали погибла.

Жена была его опорой, его советником. Ей одной Павел всецело доверял. Ей и ближайшему другу сердца — Андрею Разумовскому, сыну гетмана и президенту наук.

С детских лет Павел был дружен с Разумовским, как с братом, поверял ему все горести, с ним одним делился ужасными мыслями о матушке императрице, не вынося подчас одинокого гнета страшных подозрений, что родная его мать причастна к убийству в Ропше его отца.

Хоть обрывками, а доходили слухи и шепоты... Из них росла и крепла в бессонные ночи догадка: нет, не с пьяных глаз, а по тайному уговору, по изволению свыше прикончил Алешка Орлов императора. Пусть официальное объявление гласило, что причиною смерти были некие «геморoидальные колики», и за границей оным не слишком-то веру дали. Ведь не что иное, как это темное обстоятельство, дало повод Даламберу воскликнуть в ответ на приглашение августейшей матушки приехать в Петербург, что в нем гораздо боится морозов и «геморoидальных колик», которые уносят без разбору людей.

Да, только с ней, с умницей Натали, только с Андреем Разумовским отпускала обременяющая разум подозрительность. Этим двум верил слепо и, веря им, отдыхал от своих угнетающих волю дум, от себя самого.

В последнее время Павел гордился женой особливо потому, что стало заметно и немало о том шептались при дворе, что императрица не на шутку опасается своей

умной невестки. Известно было дословно, что написала она своему Гримму весьма осудительно про своеволие, настойчивость и честолюбие Натали, «которая в своих желаниях меры не знает».

Точно сама матушка знала меру, не пуская на трон своего лысеющего сына, единственного имевшего на этот трон право?

Умная Натали была действительно соперницей матушке. Она одна была бы в силах ускорить законное воцарение Павла, ибо действительно была честолюбива. Руки ее так и тянулись к короне.

По ночам, даже среди ласк, она не уставала твердить Павлу о его попранных правах, вливая в него больше сил и энергии, чем вместе с Паниным все масоны.

И Андрей Разумовский, вкрадчивый красавец, своим примером обучал Павла властвовать собой, восхищал образованием, полученным за границей, помогал ковать уверенность, что в Европе будут приветствовать его, Павлово, воцарение.

Андрей окончил университет в Страсбурге, в совершенстве постиг музыку, сам чудесно пел и играл. Он дружил с Натали, как нежный брат.

Это постоянное пребывание с одаренными и притом самыми близкими людьми было для Павла желательней всех роскошных вечеров матушки с остроумием послов и придворных.

Сейчас, в постигшем его сокрушительном горе, Павлу легко было видеть одного лишь Андрея Разумовского. Неоднократно за ним посылали. Всегда был ответ: «Тяжко болен, в бреду и жару, врачи держат в постели».

Робко появился в дверях лакей в придворной ливрее и, страшась гневного окрика расстроенного цесаревича, доложил:

— Их императорское величество просят ваше высочество пожаловать к ним в апартаменты.

Екатерина сидела перед своим письменным столом, перед ней стояла эбеновая, выложенная инкрустацией из перламутра и золота шкатулка. Узорным ключом Екатерина открыла тяжелую крышку и вынула из шкатулки пачку тонких листов, исписанных по-французски размашистым мужским почерком. Слегка ими потряхивая, она

сказала, полуобернувшись к незаметно вошедшему Храповицкому:

— Вот оно, радикальное средство для излечения горя цесаревича!

Осторожный Храповицкий на всякий случай поклонился с видом сочувствия, которое можно было отнести куда угодно: то ли это было соболезнование по адресу Павла, то ли почтительная дань материнской озабоченности императрицы, и без того обремененной обязанностями государственными.

Храповицкий был тот человек, который до конца дней Екатерины правил ее черновики и учил ее русскому языку, казавшемуся непреодолимым для ее немецкого произношения. Он помог ей создать этот несколько задорный, чрезмерно пресыщенный острословием екатерининский стиль, сам в то же время записывая про нее в дневнике тускло, бездарно.

Умный человек, он понял, что при таком близком домашнем приближении, когда являешься свидетелем характера, уже ничем не прикровенного в его несправедливости, гневе, коварстве, надлежит сковать собственный ум и зоркость глаза.

Екатерина привыкла к Храповицкому, как к своим левреткам. В его присутствии нередко выражала она свои самые тайные мысли. Сейчас, усмехнувшись, сказала:

— Нынешней ночью, слышала, Никита Иванович свою лень поборол, — самолично дежурил у цесаревича?

— Опасаются, руки бы на себя на наложили с горя его высочество...

— Не наложит, — мимоходом, почти с насмешкой, проронила Екатерина и досказала главную свою мысль: — Срамил его Панин, что ведет себя малодушно, недостойно будущего самодержца, коему теряться от горя, как партикулярному человеку, весьма непристойно. Однако сколь ни шепчут ему присные об его царских правах, сколь ни стараются, хлопоча в первую голову о себе, ни ума, ни величия сему грядущему императору они не прибавят.

И с раздражением Екатерина сказала Храповицкому:

— Распорядись, чтобы тотчас был вызван ко мне цесаревич.

Храповицкий направился к дверям, но Екатерина вдруг почему-то его остановила и сказала, понизив голос:

— А сами, сударь, пребудьте тут рядом, поблизости, цесаревич нервозен.

Храповицкий понимающе склонил голову и вышел.

В эбеновой шкатулке с перламутровыми инкрустациями находились неоспоримые доказательства того, что отношения покойной жены Павла к его другу первейшему Андрею Разумовскому были не чем иным, как пламенной любовной связью. И, что в глазах Екатерины было много важней и преступней, в бумагах великой княгини были найдены компрометирующие ее документы о займе, сделанном через того же Андрея Разумовского у французского двора.

Сейчас, когда Павел столь необузданно предавался скорби, она считала, что раскрытие жестокой правды должно будет его немедленно исцелить и насильственно втолкнуть в действительность.

Павел почти вбежал на своих негнущихся ногах в кабинет матери.

Он держался прямо, высоко задрав голову. Эта привычка у него сделалась самой природой. Своей подчеркнутой надменной манерой он думал увеличить низенький рост и создать хоть слабую тень той представительности, которой в высшей степени обладала его мать.

Голубые глаза, слишком большие для его маленького роста и старообразного лица карлика, возбужденно сверкали. Судорога сдерживаемых рыданий подергивала его большой, маловыразительный рот. Он был в таком состоянии расстроенных чувств, что оказался не в силах присутствовать на погребении своей жены. Мать не могла этого не знать, чего же она сейчас может хотеть от него?

Павел безмолвно поклонился, поцеловал руку матери. Екатерина на минуту задержала его голову в своих маленьких руках, слегка стиснула лоб сына ладонями.

У Павла промелькнуло воспоминание о том, как, бывало, он в детстве мечтал о такой вот материнской ласке, чтобы хоть на один миг они в целом мире были двое — мать и сын. Как бы отдохнул он от своего грызущего, неотступающего беспокойства, которое уже помимо его воли разрешалось припадками ему самому непонятного гнева.

Сейчас ему было только неудобно стоять на коленях с откинутой головой, зажатой в полных сильных руках, пахнущих духами. А ласка матери до его чувств уже дойти не могла. Он давно своей матери не верил и ее не любил.

— Вы сейчас должны будете собрать все ваше мужество, сын мой, — сказала Екатерина по-французски и выпустила голову Павла из своих рук.

Павел выпрямился, вспыхнул и решил упрямо молчать, что бы ни сказала ему императрица.

Те же самые слова про необходимость мужества ему твердили все знаменитые, приближенные к малому двору старики, а он только хотел, чтобы его оставили в покое, одного с своим горем или с Андреем Разумовским, этим, как звал он его, «ami fidèle et sincère».[1] Он и покойная Натали одни были его опорой среди вихря корыстных партий и людей, для которых он был только средством их личных успехов. Сейчас вот и мать его хочет пытать, чтобы общественное мнение не корило ее за недостаток сочувствия к горю сына. Все у нее напоказ... Она покойную Натали совсем и не любила.

Из последних сил сдерживаясь, Павел очень вежливо сказал:

— Благодарю вас, матушка, за сочувствие; я полагаюсь на волю всевышнего бога, посетившего меня сим тяжким испытанием.

Екатерина почти блеснула на Павла глазами и молвила с расстановкой:

— А если этого горя, мой сын, вовсе нет? Верней сказать, его не будет сейчас, как только я перед вами раскрою всю правду.

Павел вздрогнул, невольно, как бы защищаясь от удара, выдвинул вперед руку.

— Что вы этим хотите сказать, матушка?!

— Я хочу сказать, — торжественно прозвучал голос Екатерины, — что как только вы глянете в глаза истине, однако не как оскорбленный муж и мужчина, а как наследник престола...

— Матушка, не томите... — рыданьем вырвалось у Павла.

---

[1] Другом верным и искренним *(франц.)*.

Екатерина жестом правой руки указала ему на козетку рядом с письменным столом. Он бессильно опустился.

Протянув сыну правую руку, в которой чуть дрожали тонкие листки почтовой бумаги, исписанные размашистым мужским почерком, и другие листки, ответные, перевязанные розовой ленточкой, с знакомыми, чуть кривыми мелкими строчками недавно живой прелестной Натали, Екатерина веско сказала:

— Я полагаю, как добрый хирург, что наносить удар, необходимый для исцеления больного, надо сразу, не помышляя о причиняемой ему боли. И потому... Прочтите вот это сами.

Павел мучительно переводил глаза с любезно склонившейся к нему матери на пачку листков с милым почерком Натали, который он тотчас признал.

Как море в грозу, внезапно отяжелела голубизна его глаз. Они были темны и безумны.

Он раз, и два, и три пробегал пламенные строки любви, адресованные его любимой женой его первейшему другу. Сознание его медлило назвать словами причину боли, разрывающей его сердце.

Первая назвала она, его мать, императрица:

— Вы держите в руках черновики писем Натали к Андрею Разумовскому, мой сын, и подлинники его писем к ней, тщательно ею сохраняемые, как вещь, сердцу дорогую. — Екатерина указала на ленточку, которой была перевязана пачка. — Андрей Разумовский был возлюбленный Натали, и ребенок, который умер, не увидев света, был, несомненно, не ваш сын. Перестаньте же, мой друг, горевать.

Павел вскочил с козетки. Он вне себя бегал по комнате. Воспоминания, одно пронзительней и убедительней другого, подтверждая только что узнанную истину, вставали в его памяти. Все знали давно, все ему намекали. Один он не хотел понимать. Но что понимать? — Да только то, что первейший его друг Андрей Разумовский отнял у него жену его, Натали. А мать сейчас отняла их обоих...

Он остановился. Он не мог говорить. Закрыл глаза. Ему показалось, что он от боли ослеп. Он любил ее, свою умницу Натали.

И странно, даже сейчас, в эту страшную минуту, он ненавидел не ее, а свою мать, императрицу, которая, чувствовал он, торжествовала. Единственная ее соперница устранена, и самая память ее обесчещена.

А Екатерина говорила уже деловым, ровным голосом:

— Разумовского я пока отошлю в Ревель. И подумать только, с этим дрянным человеком находил особое удовольствие беседовать сам доблестный историк Шлецер...

Острая боль с новой силой потрясла Павла. Его больное сознание содрогнулось от невозможности уже ничем спасаться от власти кошмаров своей мнительности. Чувство своей предрешенности, своей гибели ужаснуло его.

Рванувшись к Екатерине, сверкая безумными глазами, он выкрикнул:

— О, как жестоки вы, ваше величество, нанося мне эту рану!

— Вы забываетесь!

Екатерина приподнялась, поджала тонкие губы:

— Ваша мать хотела пролить на ваши раны бальзам.

— Бальзам!..

Павел, не помня себя, шагнул к матери. Екатерина испуганно потянулась к звонку.

— Не бойтесь. — Внезапная бледность сменила на лице Павла только что пылавший румянец. Он угрюмо и тихо сказал: — Хотя я ваш сын, я убийцей быть не могу.

Павел схватился за голову и выбежал из комнаты, отбросив всяческий этикет. На пороге будуара императрицы он споткнулся и без чувств упал на ковер.

Екатерина позвонила. Сбежались дежурные по дворцу, подхватили недвижное тело цесаревича. Все суетились, не зная, что делать.

Екатерина, не торопясь и вполне владея собой, приказала подоспевшему Храповицкому немедленно вызвать сюда Роджерсона, чтобы пустили кровь цесаревичу.

Радищев служил теперь в петербургской таможне, и так как не в характере его было работать спустя рукава, служба отнимала у него много времени. Утешительно было то, что старший начальник, Александр Романович Воронцов, в скором времени оказался близ-

ким по умонастроению другом. Он был сын известного канцлера, одного из немногих вельмож, оставшихся верными Петру Третьему после его низложения.

Александр Романович окончил в Париже военную школу, был поверенным в делах в Вене, затем послан в Голландию. Петр Третий пожаловал его в камергеры и перевел в Лондон.

К Екатерине Воронцов относился, по примеру отца, осудительно, и отношений его с новым двором не могла поправить даже сестра его, Екатерина Романовна Дашкова, в дни своего фавора.

Впрочем, и с Екатериной Романовной у царицы настоящей дружбы не вышло. Дашкова ретиво рвалась участвовать в перевороте, будучи еще только восемнадцатилетней женщиной, и роль свою бестактно преувеличивала. Она была только орудием в руках Екатерины, ошибочно почитая себя важным лицом в организации заговора.

Претендуя на первое место при Екатерине, Дашкова ревновала ее к Орловым и так в конце концов надоела императрице, что совсем лишилась ее расположения.

Екатерина не нашла в свое время нужным включить Дашкову в ту отважную цепь людей, которая ей доставила трон, и главные события июньского переворота прошли у нее за спиной. Она уподобилась пресловутой мухе из басни Лафонтена, которая, сидя на рогах у вола, хвасталась сделанной им работой.

Опираясь на эту басню, Вольтер добил престиж Дашковой при дворе, прозвав ее «la vaniteuse mouche du coche». [1] Название привилось; Дашкова не обладала обаянием, ее не любили.

По характеру, который видело в нем большинство людей, Александр Романович Воронцов был суховат, угрюм, неподатлив, но одарен талантом государственным и немалым, весьма разносторонним образованием. Независимый ум его, возмущаясь произволом самодержавства русских властей, склонялся к относительной законности Англии. Вслед за Вольтером он любил повторять, что английский король хороший пример самодержавным монархам уже потому, что у него руки связаны, чтобы творить зло.

---

[1] Хвастливая муха на воле́ *(франц.)*.

При дворе Воронцова прозвали «медведь», и Екатерина платила ему взаимной неприязнью, обидчиво говоря: «Таланты его суть не для службы моей».

Придворные ей зло намекали, что Воронцов действует часто для своих «прибытков», как его знаменитый взяточник-отец, недаром прозванный «Роман — большой карман». Однако дела по таможенной службе, которые были у Воронцова с Радищевым, опровергали ходячее мнение.

Воронцов возбуждал зависть своей работоспособностью. Завадовский недаром говаривал про него: «Бумага — пища, его не насыщающая». Ползающим духом он не обладал и умел отстаивать свои мнения, если почитал их на пользу государственную.

Это качество, которым в высшей мере выдавался и Радищев, сблизило их. Вышла одна неприятная история, в которой Радищев смело пошел наперекор мнению старших своих сослуживцев, оказался прав и привлек к себе внимание начальника.

Обладая юридическим тактом, знанием закона и стремительной рыцарской честностью, Радищев отстоял невиновность некоего губернаторского чиновника, обвинявшегося в убийстве без достаточных улик. Своей же неподкупностью, строгим презрением к участию в обычном, особливо для таможенных служащих, взяточничестве Радищев остался неимущим на весьма выгодном в смысле доходов месте. Он этим снискал большое к себе уважение как Воронцова, так и других сослуживцев.

Несмотря на растущие траты на семью, где было уже трое детей, Радищев, как и был, оставался нестяжателем, не искал обогащения.

Бескорыстие было редчайшим качеством для современников Радищева, и много толков шло в городе о том, как он проучил одного купца, ему настойчиво дававшего взятку.

Попался этот купец с контрабандой парчи и дорогих материй и наедине, в кабинете Радищева, стал просить его пропустить товар. Просьбу купец сопроводил протянутым Радищеву толстым пакетом с ассигнациями.

Радищев позвал слугу и велел купца вывести вон. Однако тот не унялся и продолжал действовать через

свою жену. На другой день жена купца приехала навестить Аннет, которая еще лежала в постели после родов, и оставила в презент большой сверток драгоценных вещей. Радищев немедля велел сей сверток водворить обратно в экипаж купчихи.

Однако работой в таможне он был просто завален, едва попал в помощники к советнику казенной палаты, старику Далю. На этого Даля возложено было управление делами петербургской таможни с поручением составить новый тариф.

Даль был стар, болен, плохо знал русский язык, и помощнику его, Радищеву, в сущности пришлось вместо него и управлять таможней и единолично составлять новый тариф.

Эти годы семейного счастья с Аннет Радищев почитал для себя блаженнейшими, полагая лучшую долю в обладании прекрасной женой-другом. По временам огорчала его только чрезмерная нервозность Аннет и непонятная ее преданность суевериям народным. То, что лошади понесли их свадебную карету, едва они в нее вошли после венца, не шутя продолжало удручать ее, суля ей, как она была уверена, либо краткую, либо несчастную жизнь.

Еще немало страдал Радищев, что не приходилось ему отдавать сил прямому призванию его — литературе. Бывали минуты, когда потребность закрепить словами бушующие у него в груди чувства и мысли была так могуча, что до утра, запершись в кабинете, пренебрегая сном, он писал всю ночь напролет.

Так было на днях. После одинокой прогулки за Невский монастырь Радищев на обратном пути зашел на кладбище посетить памятник Ломоносова. Его воображение с такой силой вызвало образ великого русского поэта и гения науки, что, придя домой, он почувствовал необходимость излить на бумаге обуревавшие его мысли.

«Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу».

Вся пламенная статья, которую он пока начерно набросал в своем дневнике после этой вечерней прогулки, была о том, какие великие скрытые силы могут таиться в людях простого звания, «коих окружность мысленной области не далее их ремесла простирается».

Радищев писал о том, как неуклонно, настойчиво, вдохновенно развивался гений, какой пышный цвет дал он в русской науке, в русском слове. Говоря о Ломоносове, Радищев провидел в его силе, в его предвосхищающем примере дары миллионов, скрытые до времени.

В общем жизнь Радищева в эти годы протекала хоть в напряженной работе, но счастливо. Имея дома ангела тихого — жену, на службе старшего начальника — друга, Радищев углубился в себя, уединился от светского общества и в благотворном домоседстве как бы собирал и копил все свои силы для предстоящего дела его жизни — выпуска в свет давно задуманной книги.

Однажды, глубокой осенью, случился в доме большой переполох: Аннет ушла с утра за покупками и в обычный срок не вернулась. Между тем начали палить пушки, возвещая все растущее наводнение.

Нева кинулась из берегов, затопила все части города, кроме высоко лежащих Выборгской и Литейной.

Середович, видя, как Александр Николаевич беспокоится, пошел немедленно разыскивать Аннет, но тоже пропал. В отчаянии Радищев сам бросился на улицу, но счастливо встретил подъезжавшую на лодке в свою очередь встревоженную за него жену.

Она, смеясь, рассказывала диковинные вещи, которых только что была свидетельницей: мимо Зимнего дворца через каменную мостовую переплыл купеческий корабль, а знакомые дамы, как птицы, сидели на деревьях, ожидая спасательных лодок.

Середович, вернувшийся в сумерках и восторженно встреченный сыном Радищева, которому был он любимым дядькой, рассказал про то, как другой корабль, из Любека, груженный яблоками, занесло на десять саженей от берега, в лес, на Васильевский остров. Теми яблоками угощали всех, кто случился, задаром. Середович в своем кармане принес Васеньке живое доказательство в виде двух отменно великих яблок.

Неустанно работали по случаю наводнения вновь учрежденные сигналы из подзорного дома для Коломны, а с Галерной гавани не переставая палили пушки для Васильевского острова. Барабанщики били в барабаны. И как чудо красоты высилась над водой и сверкала

только что вызолоченная решетка строителя Фельтена у Летнего сада, вызывая восхищение иностранцев.

Решетку ходили смотреть, когда вода спала, Аннет со своей сестрой, Елизаветой Васильевной, окончившей Смольный вместе с Нелидовой и отмеченной не однажды вниманием и похвалой императрицы при исполнении французских комедий.

Елизавета не была так хороша, как Аннет, лицо ее к тому же было тронуто оспой, отчего она полагала, что сам бог ей поставил преграду к личному счастью. Но тем не менее природа ее была полна нежного материнства, которое обильно изливалось на племянников.

Сейчас, перед великолепным зрелищем золотого кружева решетки, Аннет растрогалась и, переживая заново едва не постигшее ее бедствие во время наводнения, с печальной улыбкой на устах сказала сестре:

— Обещай мне, Лиза, что ты заменишь мать моим сиротам, когда я умру!

Аннет в четвертый раз готовилась стать матерью, и злые предчувствия, скрываемые от мужа, ее не покидали.

Елизавета Васильевна хотела было рассмеяться и, как Радищев, нежно пожурить сестру за то, что она опять предается мрачным, ничем не вызванным опасениям, но, глянув в глубоко ушедшие прозрачные глаза Аннет, дрогнула внутренне от повторенной сестрою проникновенной просьбы и просто сказала:

— Будь покойна, дорогая Аннет, я детей твоих никогда не оставлю.

Как-то в поздний ночной час, незадолго перед родами, Аннет легко постучала к Радищеву в кабинет, хотя знала, что он сейчас что-то пишет в своей заветной тетради.

— Александр, я тебе не помешаю... Я на минуту, мне что-то не спится.

— Друг жизни моей, — восторженно обнял Радищев Аннет, — твое вещее сердце тебя привело. Я только что написал строфу, и сдается мне, как Юлий Цезарь, перешедший Рубикон, я уже знаю, что не остановлюсь, доколе не завоюю свою Галлию, доколе не выскажу современникам все до конца, чем бы мне это ни грозило...

— Прочти мне твою новую строфу, — сказала Аннет в сдержанном волнении, стоя рядом с Радищевым.

— Ты испугаешься, Аннет. Ты будешь меня отговаривать...

— Полно, Александр, не всегда ведь «враги человеку домашние его». Я знаю твою благородную скорбь, я понимаю, что тебе не удержаться в пределах благоразумия...

— Друг мой и жена, — сказал с гордостью Радищев, — есть ли кто в браке меня счастливей?

И он ей прочел свое пророческое видение:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит:
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

— Александр, — сказала после безмолвия в глубоком волнении Аннет, — прошу тебя об одном: когда ты свершишь дело твоей жизни, когда ты выпустишь свою книгу в свет, вспомни о наших детях!

При дворе о несчастье цесаревича говорить перестали. Екатерина всем и каждому утверждала, что Павел совершенно утешился с новой женой, принцессой вюртембергской, в крещении Марией Федоровной, особливо после недавнего появления у него первенца-сына — Александра Павловича.

Державин написал оду «На рождение порфироносного отрока», а «Санкт-Петербургские ведомости» поместили стишки:

Счастливых областей России
Чрез плод от Павла и Марии
С Олимпом вдруг сравнялся край!

После пугачевщины Екатерина, подкрепляемая и руководимая Потемкиным, все окончательнее и тверже строила единую опору трону — власть дворянско-помещичью.

«Сломав рога сему зверю, мысли во множестве вдруг приходят», — любила она теперь изрекать.

А этими хвалеными мыслями было не что иное, как учреждение губерний. Своим новым полицейским характером они нимало не походили на былые мечтания императрицы в весну ее увлечений ансиклопедистами и просветительного «Наказа», писанного «для блаженства всех и каждого».

«Наказ» был заимствован у Монтескье, «Положение о губерниях» — из наставлений об управлении землями остзейских баронов.

Все растущая самоуверенность Екатерины, питаемая лестью придворных, лишала ее всякого критического чувства. Императрица получила вкус, как смеялся француз де Линь, восхищаться собственным талантом к «лежисломании», сиречь составлению законов, и непогрешимостью своего здравого смысла.

Любовно писала она о себе в третьем лице барону Гримму:

«Императрица чрезвычайно уединяется, она не имеет ни минуты свободной. Двадцать четыре часа для нее слишком коротки...»

Екатерина постарела, отяжелела. Полюбила умиляться созерцанием своих дел, уверяла себя, что благосостояние народа растет не по дням, а по часам. Из необходимости самозащиты перед невысказанными укорами в резкой измене направления мыслей, которые она все-таки чувствовала вокруг себя, Екатерина стала бронироваться в пренебрежительное отношение к своим былым учителям, представителям просветительной мысли. Вольтера еще по привычке она продолжала расхваливать, но речь свою, обычно прежде уснащенную его цитатами, заменила неумело произносимыми русскими поговорками и присказками.

Когда в семьдесят восьмом году умер Вольтер, Екатерина немедленно написала Гримму:

«Дайте мне сто полных экземпляров сочинений моего учителя, чтобы я могла их разместить повсюду. Хочу, чтобы они служили образцом, хочу, чтобы их изучали, чтобы их выучивали наизусть, чтобы души питались ими. Это образует граждан, гениев и авторов. Это разовьет

сто тысяч талантов, кои без того потеряются во мраке невежества...»

Казалось бы, какой возврат былой ученической восхищенности, какое пышное надгробное славословие! Но вот Екатерина внезапно прерывает свое красноречие, чтобы самой же на него полюбоваться, словами: «Какова тирада, какова тирада!»

Так именно заканчиваются ее красноречивые поминки Вольтера в письме к Гримму. Оказывается, говоря о философе, она любовалась только собой. Еще лучшим доказательством необыкновенной безответственности и остылости чувств императрицы служит письмо ее к тому же Гримму, уже в ответ на исполнение ее просьбы — присылку требуемых книг Вольтера.

Как бы в отместку фернейскому философу за долгие прежние годы хвалы и подчинения Екатерина сейчас восклицает почти с пренебрежительной усмешкой:

«Но послушайте, Гримм, кто же в силах прочесть все эти пятьдесят два тома сочинений господина де Вольтера?!»

Тот же семьдесят восьмой год — утрата Вольтера, а через несколько месяцев еще сильней поразившая чувство смерть Жан-Жака Руссо — был важным внутренним событием в жизни Радищева.

Не блестящее остроумие и едкая насмешка Вольтера, столь увлекшие Екатерину, не изумительная разносторонность его творчества делали память о нем дорогой, а главным образом то, что Вольтер был одним из первых защитников свободы совести человека.

В сокровищнице сердца, там, откуда пережитое, прочитанное становится побудителем уже на действие собственное, хранилась у Радищева память о выступлении Вольтера по делу Каласа, фанатически сожженного католиками. Он знал, конечно, что Вольтер, при всем яде своей тонкой улыбки, преследующей воображение всякого, увидевшего ныне присланную императрице его мраморную статую, был мечтатель и верил в сказки. Он, например, питал доверие к монархической власти, считал возможным, что, будучи просвещенной, она возьмет под свою защиту благо народное.

Но ведь рукой палача сожжена была его «Естественная религия» вместе с творением Гельвеция «О духе».

Еще гораздо ближе Вольтера к мыслящему существу Радищева был Жан-Жак Руссо.

Навеки врезаны в памяти и в сознании, навеки пленили своей правдой для всех и навсегда сказанные золотые строки «Общественного договора»:

«Надо найти такую общую форму соединения, которая защищала бы и охраняла своей общей силой личность и имущество каждого своего члена и посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе, оставаясь столь же свободным, как и раньше».

Но какое между сими двумя мыслителями, столпами века, во всем противоположение?!

Вольтер — насмешка и рассудок, Жан-Жак — весь пламень и чувство. Он склонен к мечтательной грусти и столь близок сердцу в своем стремлении к утраченной на земле, или, вернее, еще на ней не бывшей, прекрасной естественной простоте — золотому веку человечества!

Какой угодно образованности противуставляет Руссо, уважая человека в его первобытных, исконных свойствах, его прирожденную мудрость, не затемненную пороками и суетой приобретательства.

«Он у меня вызвал желание стать на четвереньки!»

Любя сарказмом удерживать мысль от преувеличения и фантастики, так высмеял Вольтер мечтанья Руссо. Однако горячей страстностью своей проповеди, своей верой в нового, лучшего человека не кто иной, как Руссо, питает и будет питать сокровенные силы души.

Смерть обоих властителей дум его века — так чувствовал Радищев — создает могучее требование немедленного преемства их дела.

Ведь едва король умер, немедленно возглашается новый король: «Le roi est mort — vive le roi!»[1] Ведущие человечество к свободе смелая мысль и воля — им ли оставаться без преемника?!

Слова Руссо и Вольтера надлежит перевести в дело. И пора об этом деле ударить в набат...

---

[1] «Король умер — да здравствует король!» *(франц.)*.

## *Глава пятнадцатая*

Потемкин приехал из Крыма в Полоцк, где поджидал Екатерину. Она затеяла эту поездку для встречи с императором Иосифом Вторым, который должен был приехать в Могилев под именем графа Фалькенштейна.

Потемкин остановился у маркиза де Муши, в большом доме на горе, окруженном старыми дубами, цветущим фруктовым садом и многочисленными службами. И камердинер и повар здесь были французы. День распределялся согласно парижским привычкам маркиза. Обед подавался торжественно вечером, при зажженных канделябрах, лакеями в белых перчатках.

После лихорадочной деятельности в Крыму на Потемкина внезапно нашла ему свойственная злая хандра.

Последние две недели он в совершенной распущенности, неумытый, обросший волосами, не вставая лежал на кушетке. То измышлял новые варианты к «проекту греческому», то, отмахнувшись от всякой политики, тешился с какой подвернется девой, то просто гнал всех к чертям и самоубийственно тосковал.

Он задыхался от своей рассеянной воли, метался, как темный зверь, забивая тоску приливами бешеной деятельности. И все-таки он не умел собрать себя на чем-либо окончательно, чтобы поглощающе приложить свои силы.

Он воевал, наеелял пустынные земли, насильничал, чудил. Создавал для Екатерины новые города и на многие десятилетия вперед забивал страну крутой полицейской системой. Как в тиски, зажал этой системой империю, разделенную на губернии, при посредстве губернаторов, полицеймейстеров, несметных, как злая мошкара, чинов мелкой власти. Миллионы загнал он в железный строй, а с самим собой ничего не мог сделать. И съедала тоска.

С досадой ждал Екатерину, которая что-то все медлила. Ждал свою вторую племянницу, Катеньку, к ней сейчас была у него пассия.

Всех племянниц, дочерей родной его сестры, вышедшей замуж за Энгельгардта, было три. Александра, всех пригожее, сама к нему привязалась и была глубоко огорчена, когда его потеряла. Варвара с ним люто ссорилась,

держала его как под хлыстом, чем непрестанно волновала ленивые его чувства. Но Варваре светлейший дядя надоел, она его бросила для Голицына.

Оставалась третья племянница — Катенька. Ее Потемкин не то чтобы любил, но она его успокаивала, то-то и прозвал он ее «ангел во плоти». Без особого ума и образования, она уступила мимолетному капризу Потемкина, дабы его не огорчить, а удержала его привязанность навсегда.

Катенька пользовалась расположением императрицы и вместе с нею должна была ехать сейчас в Могилев.

Попав в европейски размеренный быт маркиза де Муши, Потемкин был даже рад подтянуться, как не в меру разленившийся школьник, уставший от своеволия.

У маркиза была древняя и новейшая библиотека, и Потемкин зарылся в книги. Перечитывать Жан-Жака Руссо толкала его недавняя кончина философа. Любопытно было ему пересмотреть и проверить силу воздействия на себя былого кумира юности.

— Делает честь вашей терпимости, маркиз, — сказал, улыбаясь, Потемкин вошедшему де Муши, указывая ему на кожаные, в золоте, обложки ансиклопедистов, — делает честь вам держать просветителей в своей библиотеке, если она у вас открыта для юношества вашего католического новициата. Ведь это все равно, что на пороховом погребе затеять выстроить дом. Полагаю, что в рассуждении юношества вам даже католическими доктринами подобных философов не перекрыть...

— Чтение Вольтера, Руссо и прочих вольнодумцев внесено в нашу учебную программу, — сказал скромно маркиз, — но будьте уверены, ваша светлость, мы с достаточной ловкостью опровергаем все их идеи, опасные для целостности веры и послушной нам мысли наших питомцев.

— Ой ли? — усмехнулся Потемкин. — Чай, среди дураков могут и умники подвернуться!

— А умников соблазнить всегда можно властью.

Посмеялись, как понимающие друг друга без слов. И де Муши без дальних околичностей стал убеждать Потемкина склонить Екатерину на утверждение в России главы иезуитского ордена.

— Наш генерал есть ведь не что иное, как персонификация принципа авторитетности и власти избранных людей, почитаемой и вами как единственно возможной. Генерал ордена иезуитов — это само наличие единовластия и порядка.

— Любопытствую, чтобы вы мне доказали, какое собственно мне может быть дело до вашего черного генерала.

— Есть дело, и большое, — не смутился де Муши. — В ту минуту, когда ваша светлость откажется ускорить победу и торжество нашего ордена, вы этим самым положите свою силу на чашу весов врагов всякого порядка и умной власти немногих.

Сейчас противуполагаются в мире две силы: власть правителей законных, то есть миропомазанных, как еще веруют своим детским сознанием народы, и другая сила — власть его самого, еще не вышедшего из пеленок народа. Не будем беспечны, ваша светлость, — в голосе де Муши послышалась угроза, — сейчас из Франции, всему миру в пример и поучение, уже подымается эта слепая, темная сила. — Понизив из вежливости голос, де Муши коварно добавил: — Не правда ли, ваша светлость не так давно имели случай убедиться во всех ужасах крестьянского бунта и в стране собственной?

Язвительность де Муши не задела Потемкина. Отдаваясь собственным мыслям, он задумчиво и печально сказал:

— Да, ничего не поделаешь, в жизни только две формы существования: либо властвовать, либо подчиняться. И как только властитель поколеблется в своем праве на власть, его песенка спета.

Потемкин прошелся по библиотеке, заложив руки за спину, тяжелым шагом напирая на штучный мудреный паркет, выбирая, куда именно ставить ногу.

— Я предпочитаю, как и вы, де Муши, не подчиняться дуракам, а ими командовать. Но я делаю это не за всякую цену... а вы за всякую.

Теперь де Муши пропустил мимо ушей неприятный намек на отсутствие брезгливости в практике ордена и, возвращаясь к главной своей теме, сказал:

— Надо быть последовательным, ваша светлость. Если признать власть избранных над прочими, то над-

лежит этим избранным для собственного усиления соединиться. Если сегодня в вашей стране у нашего ордена появляются враги, поверьте, назавтра они уже не только наши, но и ваши враги.

— Короче, де Муши, — внимательно остановился Потемкин, — назовите этих врагов ваших и наших.

— Извольте. В первую голову московские масоны, и впереди всех Николай Иванович Новиков.

Потемкин добродушно засмеялся:

— Эх, куда вы хватили! Новиков — святой жизни человек, уж таковым его матушка родила. С ним вместе в университете учились, и хотя оба только тогда и делали, что не отрывали носа от книг, за леность исключены были. Да и масоны, полагать можно, сплошные божьи коровки!

— Ошибаетесь, ваша светлость, — твердо и холодно сказал де Муши. — Конечная цель даже их самой отвлеченной ветви весьма дерзкая. Даровать народам «совершеннейшее правление» — вот основной пункт политической программы, который таится под выставленной ими безобидной моралью «исправления нравов». Вопрос же о совершеннейшем правлении неизбежно связан с вопросом о личности не кого иного, как государя. Именно государь, — подчеркнул голосом де Муши, — должен, по их мнению, давать образец поведения своим подданным. — Де Муши подошел совсем близко к Потемкину и, как будто он обнаружил и поймал государственного преступника, торжествующе сказал: — В одном издании Новикова так и говорится: «Примером, более чем словом, должно правительствовать». А его издание «Жизнеописания Конфуция», ваша светлость, изволили с вниманием читать? — И де Муши процитировал наизусть тираду, как видно, давно приготовившись к сегодняшнему разговору: «...правительствующая особа, если будет сама справедлива и расположена ко всяким добродетелям, то тем самым подданных своих может без всяких увещаний добровольно ко всякой добродетели примером своим привлечь». Под сей особой, легко угадать, подразумевается не кто иной, как цесаревич Павел. Уверяю вас, ваша светлость, именно это имя представляет всякий, читая приведенный мною абзац. Но послушайте, каковы намеки в последующих страницах, хотя речь и ведется хитро, якобы все

о том же Конфуции: «...восхвалим государя, который отженет от себя ласкателей и удаляться станет от венерических забав».

— Болтовня, — бросил лениво Потемкин и стал перелистывать только что им прочитанный томик Руссо, заложенный драгоценной, шитой жемчугами закладкой.

Но де Муши не сдавал позиций:

— Если приведенные мною цитаты, по вашему мнению, болтовня, — извольте услышать недавние факты: обожаемый глава ваших московских мартинистов, в честь коего они и приняли свое наименование, Клод де Сен-Мартен, отказался посетить Россию, пока в ней царствует... я принужден произнести точные его слова, не правда ли? — извиняющимся тоном давая понять всю дерзость Сен-Мартена, сказал де Муши и придворным полупоклоном склонился в сторону Потемкина.

— Требуются не только точные слова, но и заверка этих слов до-ку-мен-тально, — деловито ответил Потемкин.

— Документ будет вам представлен, а слова таковы: «...пока в России царствует превосходящая беззаконием Мессалину...»

— Довольно, — остановил вельможным жестом Потемкин, — не приедет ваш Сен-Мартен, мы и не чихнем!

Он опустил руку с зажатым в ней томиком Руссо и строго спросил:

— Вы уверены, маркиз де Муши, что упоминаемые вами инсинуации находятся именно в книжках Новикова?

— Завтра же оные книги доставлены будут вашей светлости... — обязательно поклонился маркиз.

Потемкин внимательно на него посмотрел:

— К чему, однако, сие хитроумное предисловие, попрошу вас изъясниться, наконец, прямо? Что имеете вы персонально против Новикова? Сомнения нет, что сей скорпион вас чем-то ужалил!

— Он пишет историю нашего ордена, книга почти вся готова.

Де Муши совсем близко подошел к Потемкину и настойчиво, со всей твердостью сказал:

— Ваша светлость, издание Новикова «История иезуитов» не должно увидеть света, не должно иметь распространения.

— У книги своя судьба, — уклончиво ответил Потемкин. И, пытливо взглянув на маркиза, добавил: — Что же, книга, по вашему мнению, клеветническая?

— Если иные, пусть исторически верные, факты подаются не рукою друга, они уже клевета! Нередко в истории нашего ордена жестокость, которая казалась профанам недопустимой, на самом деле бывала вынужденной самим временем и, скажу прямо, полезной.

Потемкин захохотал громко, от души. С восхищением вымолвил:

— Ну и ловкачи! Даже инквизицию норовят подать потомству с апробацией. Вот попробовал бы я вас, маркиз де Муши, поджарить слегка на костре, — сомневаюсь, чтобы вы нашли в этом деле большой вкус.

Потемкин протянул де Муши томик Жан-Жака, развернув его на странице, заложенной жемчужной закладкой:

— Прочтите. Этот пример самого Руссо потрясает меня больше всех видов человеческой слабости и низости воли.

Потемкин опять широко шагал в другом конце библиотеки по французскому розовато-зеленому ковру из угла в угол, пока де Муши читал примечание к одной из страниц «Исповеди», где Руссо писал, что своих пятерых детей он отдал одного за другим в воспитательный дом, чтобы их никогда больше не видеть.

Потемкин остановился перед изящным, утопающим в валансьенах[1] де Муши.

— Человек этот, — он указал на портрет Жан-Жака, где художник благодаря странной большой шапке изобразил его похожим на пожилую женщину, — этот гений чувства сделал переворот на весь мир в деле воспитания всех людей, а вот своих собственных детей, от законной жены, без всяких смягчающих это дело обстоятельств, ни вследствие нищеты или принуждения, закинул, как щенят, в воспитательный дом, просто так, для личного удобства. Без детей, пишет он, ему свободней. И плакать жене не позволял. Больше того: как тут можете прочитать ниже, графиня Х вздумала ему удружить, разыскала нумерки, под коими сии обездоленные дети были

[1] Кружевах.

сданы. Руссо пишет, что он был крайне недоволен непрошенной находкой. Старушенция-то порадовать думала: пора, дескать, Жан-Жак, ваших деток обратно, а он, как видите, погнал ее к чертовой бабушке.

Де Муши внимательно прочел, пожал плечами:

— Непонятно, ваша светлость, на что намекаете вы сим примером...

— А на то, — сердито сказал Потемкин, — что ежели так обстоят на белом свете дела, что у наилучшего из людей слово с делом расходится, то правителям, которые не суть моралисты, совсем нечего себе счет добродетели предъявлять. — Он остановился, помолчал. И вдруг, тряхнув кудрями парика, резко вымолвил: — Что же касается Новикова, распорядитесь, любезный де Муши, чтобы сюда доставили возможно скорей «Конфуциево учение» и прочие вами отмеченные книги...

— Все эти книги уже имеются здесь в библиотеке, в секретном ее отделении.

— В секретном, — улыбнулся Потемкин, — так что уж этих вашему новициату читать не даете?

— Выработаем опровержение и дадим, — ответно улыбнулся маркиз.

Екатерина ехала в Могилев по-семейному. При ней был новый фаворит Ланской, отличный от всех прочих особо деликатным сложением чувств, пристрастием к искусствам, главное же — настолько неподдельной, безрасчетной привязанностью к ее особе, что серьезно заболевал при всяком облачке, угрожавшем его отставкой от персоны матушки.

Кончилось тем, что сама Екатерина не заметила, как привязалась особой, материнской любовью к Ланскому.

Был сейчас при ней умнейший Безбородко, умевший так удобно оборачиваться, что из каждого положения выходил сух из воды.

До Екатерины дошли слухи, что Безбородко тратит огромные суммы на актрису Анну Навию, предается чрезмерным дебоширствам и кутежам. Екатерина приказала Анну Навию отправить восвояси, а Безбородку принялась было строжайше распекать, но сей хитрец украинским своим говором смиренно сказал:

— Не одним дебоширством я занимался. Я трохи вашего императорского величества славу подытоживал. О, что за пышная картина! Без малого полтысячи великих и добрых дел натворили.

И, скрывая под умеренной фамильярностью то ли тонкость насмешки, то ли действительную преданность, умный Безбородко поднес матушке на атласной негнущейся бумаге статистическую таблицу славных дел ее царствования:

| | |
|---|---|
| За девятнадцать лет понастроено губерний по новому образцу . . . . . . . | 144 |
| Конвенций и трактатов заключено . . . | 30 |
| Побед одержано . . . . . . . . . | 78 |
| Замечательных указов, законодательных и учредительных, издано . . . . . . | 88 |
| Указов для облегчения народа . . . . | 123 |

Все эти разнообразнейшие деяния для рельефа славы императрицы Безбородко свалил в одну цифру простым сложением: итого — 463.

Как ни груба и неуклюжа была лесть, Екатерина имела слабость принимать ее с благоволением. Качество это хорошо понимали все дипломаты. Иосиф Австрийский уже на второй день свидания с императрицею в Могилеве писал своему премьеру Кауницу:

«Я понял, что имею дело с женщиной, которой дело только до себя самой, а до России ей столько же дела, как и мне. И прежде всего ей надо льстить».

Екатерина задумала союз с Иосифом, чтобы обеспечить себе со стороны Австрии помощь в захвате Крыма и в турецких делах. У Иосифа тоже был расчет: в случае победы над турками изрядно за их счет попользоваться. Екатерина была уверена, что союз с Австрией откроет ей ворота Константинополя, и ей стало казаться, что император Иосиф является обладателем «орлиного взора». Совсем недавно мать Иосифа, Мария-Тереза, которая своим правоверным католическим сердцем содрогалась перед вольтерьянством Екатерины и ее «домом распутия», сломила свое отвращение и написала ей смиренное письмо. Она просила ее быть посредницей в вопросе о так называемом «баварском наследстве». Иосиф

после смерти электора[1] Максимилиана якобы в защиту германской конституции хотел захватить баварские земли. Пруссия протестовала.

Лед между Россией и Австрией был сломан. Путешествие Иосифа в Могилев под именем графа Фалькенштейна предпринято было для закрепления отношений.

В разгар весны среди цветущих фруктовых деревьев Екатерина въехала в Полоцк и тотчас отправилась в православную церковь, верная своему положению русской императрицы, почитающей веру своего народа. Потемкин же отправился в униатский собор.

Иезуиты приветствовали императрицу в своих орденских одеждах, повсюду запрещенных папой и только Екатериной умно разрешенных в России.

— Эти славные плуты-иезуиты помогут мне приручить и держать в респекте моих подданных, — любила Екатерина говорить.

И иезуиты помогали.

Сейчас они стояли в два ряда, провожая императрицу до трона. Когда она села, Черневич произнес речь, приготовленную по-латыни:

— Августейшей императрице России, победительнице турок, умиротворительнице царств, распространительнице общественного счастья, всемилостивейшей охранительнице общества Иисусова!

Вечером была невиданная в городе иллюминация с пятью пирамидами вышиной со здание коллегиума. Разноцветные шкалики составляли изречения, которые горожане читали с бесцеремонным хихиканьем:

«Славная добродетелями!»

Имена фаворитов облетали толпу, передаваясь из уст в уста.

За примером недалеко было ходить: тут же рядом, в Шклове, поражала воображение соседних губерний сказочная роскошь бывшего недолго в случае серба Зорича, к которому в сопровождении Потемкина и последнего сегодняшнего баловня фортуны Ланского на несколько дней собиралась в гости императрица со всей свитой.

Потемкин, озабоченный своими мыслями, ехал мимо славословящих Екатерину транспарантов, равнодушно чи-

---

[1] Правителя.

тая: «Знаменитая победами», «Страх врагам», «Опора друзей», «Любовь подданных». Потемкин думал, будет ли ему на руку принять участие в интриге иезуитов, хлопотавших попрежнему настойчиво о разрешении им Екатериной учредить звание генерала ордена, упраздненное папой.

Против этого был нынешний глава иезуитов в Белоруссии Станислав Сестренцевич.

Этот человек был Потемкину неприятен, потому что он посещал Гатчину и был обласкан цесаревичем Павлом. Когда же ему сказали, что светлейший недоволен этой близостью, он пренадменно ответил: «Почитая себя человеком свободным, имею право по своему вкусу выбирать себе друзей и врагов».

Сестренцевич был дворянин, крещеный и выросший в кальвинизме, потом прусский гусар и капитан в литовском войске. В этом чине он бросил военную службу, принял католичество, прослушал богословские курсы в варшавском капитуле и принял сан. Присоединив Белоруссию, Екатерина поручила ему управление вновь основанной епархией.

Екатерина находила в Сестренцевиче «резонабельные сентименты», [1] чего в русских попах не встречалось. Они были либо пьяны, либо ругатели, как неприятной памяти «враль» Арсений Мациевич.

Ловкач Сестренцевич даже как будто не прислуживался, он просто угадывал искусно, на лету, мысли Екатерины. Он прославлял в проповеди как «чудесное доказательство божьего промысла над угодным ему правителем» спасение от покушения на жизнь ничтожного короля Станислава Понятовского.

«Большую силу забирают эти иезуиты...» — сердито думал Потемкин, принимая к сведению все, что донес ему де Муши про Новикова. На проверке обвинения в инсинуациях на Екатерину оказались истиной, но ему было непонятно и бессознательно обидно, что пришлые, иноверные и неприятные люди подводят под удар русского человека.

Но вот пред его воображением встало тонкое длинное лицо Сестренцевича, умные глаза с хитринкой, его манеры и обхождение придворного человека, когда он сам

---

[1] Разумные чувства.

ему лично, при встрече, подтвердил свои слова, боясь, что по всеобщей трусости перед Потемкиным они не будут переданы во всем своем значении:

— Ваша светлость, не правда ли, мы должны симпатизировать друг другу, имея одинаковый вкус обладать самостоятельностью суждений?

«Ну его к черту!» — отмахнулся от ядовитого Сестренцевича Потемкин и тут же капризно решил влиять на Екатерину, чтобы она разрешила своим «плутам» иметь черного генерала.

А римский папа пусть выкусит...

К Радищеву как-то пришел с докладом Середович, который давно стал в доме членом семьи и любимым дядькой мальчиков.

— Человек к вам, Александр Николаевич, от архитектора Воронихина письмо принес.

Середович подал письмо и остался стоять, как бы имея еще что сказать.

Архитектор Воронихин предлагал Радищеву сегодня встретиться в мастерской Фальконета, где, знал он, Радищев часто последнее время бывал, задавшись целью описать прекрасный памятник Петра.

«Есть поручение из Москвы, которое передать желательно персонально», — кончал записку Воронихин.

«Уж конечно, поручение от московских масонов, — решил Радищев. — Всё еще успокоиться не могут, вербуют к себе».

— Скажи посланному, чтобы передал Андрею Никифоровичу, что я обязательно сегодня приду смотреть памятник. — И, видя, что Середович не уходит, Радищев спросил: — Тебе чего-то надобно от меня?

— Так точно, Александр Николаевич, — сказал Середович с любезностью, которую умел на себя напускать еще с заграничных времен, обученный приятному обхождению Минной. — Ежели вы до монумента идти собираетесь, то покорнейшая просьба прихватить меня с собой! Давно мне охота царя Петра на жеребце поглядеть. Весь город того жеребца хвалит. А еще охота мне, Александр Николаевич, — Середович подошел ближе и конфиденциально понизил голос, — самого архитектора

Андрея Никифоровича Воронихина увидать. Наш ведь он, крепостной, а какую науку превзошел! И к тому же вот-вот за границу уедет. Чай, не гордый он какой, иностранному языку меня обучить сможет.

Радищев расхохотался:

— Ну, на это дело едва ли у Воронихина найдется досуг.

Середович распустил язык и рассказал Радищеву то, что слышал от строгановских людей про знаменитого уже архитектора. Будто первая вышивальщица графская, та, что к самому императору австрийскому с рукодельем была послана в Вену, из ревности к Воронихину, который на нее глядеть не хотел, имея любовь с самой молодой графинюшкой, его кузиной с левой стороны, эту молоденькую единственную дочку графа Строганова извела из ревности ядом.

— Чего люди не наболтают! — остановил Радищев, сам давно слышавший про эту историю. — Самое для тебя главное, Середович, если ты в самом деле с Алексисом за границу решил, это то, что Воронихин человек очень положительный, и если с вами обоими какая беда приключится, он всегда сможет выручить.

— Что и говорить, — согласился Середович, — чай, с барином Алексисом иной день и впроголодь насидимся! Сам-то он ровно малое дитё, то-то охотка мне его попестовать. Мишеньку покойного я, Александр Николаевич, ведь позабыть не могу.

Радищев всякий раз с новым волнением посещал мастерскую Фальконета, чувствуя себя как русский и оскорбленным и ответственным за незаслуженные обиды, которые этот большой французский художник перетерпел в России. Этьен-Морис Фальконет, изваявший памятник Петру Первому, приехал в Петербург по рекомендации Дидро. Он был уже не молод, ему было за пятьдесят. В прошлом за ним числились статуи несколько жеманного вкуса, сильно выделявшие его из среды прочих скульпторов изяществом и сдержанной силой.

Русский посланник в Париже князь Голицын, не слишком знавший толк в искусстве, поверил беспрекословно настояниям Дидро и пригласил Фальконета

в Россию. Французские художники предсказывали, что обладавший смелым характером и преедким умом Фальконет для придворной жизни окажется непригодным и восстановит против себя екатерининских вельмож, если не самое Екатерину.

Дидро как нельзя более заинтересовал императрицу перечислением противуречивых качеств вызванного ею ваятеля. Он ей писал:

«В нем бездна тонкого вкуса, ума, деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. Добрый отец, а сын от него сбежал. До безумия любил любовницу — и свел ее своим нравом в могилу».

Екатерина приняла по началу Фальконета прекрасно. Она восхитилась прелестью его ума и затеяла было с ним переписку, как она это любила, в стиле изящной игры иронией и переброски мячом острословия. Так Екатерина в течение многих лет играла с бароном Гриммом и Вольтером. Но, приступив к работе, Фальконет весьма скоро утомил ее серьезностью своих требований и уважением к своему делу. Человек он был не придворный, и любезность игры ему просто наскучила.

Особенно недоволен ваятелем оказался вельможа Бецкий. Он сам было представил в сенат пресмешной проект собственного памятника Петру. Самое в нем примечательное был придуманный Бецким доселе неслыханный способ возвеличить самодержавие. Петр должен был одним своим глазом охватить адмиралтейство, двор, крепость, Россию, другим же глазом упереться в обе академии, Финляндию, Эстляндию. Подобное нечеловеческое косоглазие, по мнению Бецкого, должно было выразить наглядно прирост новых земель и всемогущество российской короны. И потому, когда в Петербурге стал известен проект Фальконета с его малоодетой фигурой Петра на вздыбленном коне, поползли по городу из дворца Бецкого пересуды:

— Голый царь на взбесившемся жеребце!

Поговаривали об «оскорблении величества», но Екатерина, еще обольщенная новизной и остротой Фальконетова облика, проект утвердила. По нраву пришлась ей и яркая по силе надпись на памятнике, краткая, как заповедь:

*ПЕТРУ ПЕРВОМУ — ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ*

Далекий друг, философ Дидро, писал Фальконету: «Пожалуйста, друг мой, убей их! Пусть я увижу, как они опрокинуты, раздавлены под ногами у твоего коня. Помни, Фальконет, тебе надо издохнуть или создать великого коня!»

Фальконет до сих пор никогда коней не лепил. Конь под Петром был его первым. И он замыслил его необычайным, полным великой мысли и творческих сил. Конь был сплошной вихрь. Конь одним махом возносил своего седока на скалу. И сколь рискованно было показывать его зрителю, приученному к одним манерным коням на условных почтенных памятниках! Но Фальконет был великий ваятель и не испугался создать еще небывалое.

Он стал изучать арабских жеребцов на конюшне графа Орлова. Радищев не раз останавливался и в восторге наблюдал, каким способом художник измыслил изучить задуманное им движение коня. Несколько раз в день пред глазами ваятеля взлетал вскачь лучший царский берейтор на лучших придворных конях — Бриллианте и Ле Каприсье — на искусственную возвышенность, сооруженную наподобие подножия задуманного памятника.

В манеже, по особому расположению к Фальконету, тоже на небольшую скалу взвихрялся великолепный ездок, сам генерал Мелиссино, всем своим обликом напоминавший царя Петра.

В поисках пьедестала своему памятнику неугомонный Фальконет потребовал широких публикаций, чтобы вызвать доставку камня необыкновенных размеров. В Академии появился вдруг некий крестьянин и заявил, что в двенадцати верстах от города имеется громаднейший камень, именуемый «Гром», ибо есть в нем глубокая расселина от попавшей в него громовой стрелы. Расселина давно заполнилась черноземом, и на ней выросли березки изрядной вышины. Камень оброс мохом, но, как утверждали окрестные старожилы, он еще хранил на себе следы ботфортов царя Петра, который многократно всходил на него для обозревания окрестностей.

Это предание понравилось Фальконету, и он стал настаивать на предоставлении ему камня, на котором стаивал живой Петр.

Бецкий рассердился и послал сенату записку, именуя требование ваятеля: «фантазия непрактичная».

Но адъютант Бецкого, некий граф Корбюри, умненько шепнул своему вельможе, что подобная гранитная громада, по его, Бецкого, приказу доставленная из болот и лесов, весьма будет способна его прославить перед иностранцами.

Тщеславный вельможа тотчас заявил свой новый каприз: пусть везут целиком необъятную глыбу, отнюдь не обрезая кусков, прямо на место, как того хотел Фальконет.

«От перевозки всей величины более станет шуму в Европе. Расход же казны во славу отечества не убыточен».

Продвижение камня шло крайне медленно. Четыреста человек едва протаскивали двести саженей. Люди запряжены были в медные сани, катившиеся на медных же шарах. Дорогу в лесу расчистили на большую ширину. Екатерина посетила камень «Гром», и в честь ее посещения была выбита медаль: грудное изображение императрицы на одной стороне, на другой надписание: «Дерзновению подобно!»

С великими трудами камень «Гром» спустили на воду, и в день коронации матушки провезли его торжественно по Неве мимо Зимнего дворца.

На другой день причалка к берегу и выгрузка камня на отведенное для памятника место — площадь Петрову — с торжеством производились в присутствии принца Генриха Прусского.

Уже на месте, сообразуясь с высокой соразмеренностью частей, Фальконет приказал отхватить от камня два фута, чем вельможа Бецкий был немало взбешен. В ответ на его строгий реприманд Фальконет ответствовал насмешливо:

— Не изваяние делается для подножия, а наоборот.

Отношения с вельможей вконец были испорчены.

Наконец в июле 1778 года Фальконет окончил гипсовую модель памятника Петра и открыл на две недели свою мастерскую для всенародного ее посещения.

Посетителей пришло множество. Равнодушно глазели, молча топали к выходу. А когда заговорили, стало еще горше.

Некий дворянин Яковлев особливо возвышал голос в защиту императора, находя, что «два усища ужасно к лицу прицеплены, и одежда на царе та самая национальная, противу которой он всю жизнь вел борьбу».

Фальконет напрасно доказывал, что туника Петрова взята им со статуи римского императора Марка Аврелия, — зрители поносили одежду, усищи, неблаголепие коня.

Фальконет с гордой едкостью написал Екатерине:

«У нас во Франции все придворные и городские неучи так вот точно выходили из себя, восставая против гениального Расина».

Екатерина, уже не скрывая раздражения, отмахивалась от жалоб докучного ваятеля. А сейчас он оказался просто неудобен. Он легкого, изящного придворного веселья в чертоги не принес. И далеко было от улыбательного жанра, одобряемого императрицей, его горделивое заявление своих прав художника на независимость.

В распрях между Фальконетом и Бецким Екатерина без особого усилия стала на сторону своего царедворца. Мастерскую ваятеля она не посетила. Когда же цесаревич Павел, желая исправить грубость матери, сам сделал визит Фальконету, ему вслед был немедленно послан гонец с запретом осматривать памятник.

Большие трудности вышли и с отливкой статуи. Опытных русских литейщиков не оказалось, а копенгагенский мастер запросил несусветно.

Фальконет решил отлить свой памятник сам и спешно начал учиться этому новому для себя мастерству. Много проб перепортил, наконец проба получилась совершенная, и мастер приступил к отливке.

В самую решительную минуту — новая беда. Дежурный при нагреве уснул, сплав перегрелся и, пробив форму, потек было в мастерскую, угрожая пожаром и гибелью всей многолетней работы.

Спасло присутствие духа Фальконета и одного из рабочих. Памятник был отлит.

Но благодарность Екатерины медлила. Бецкий улучил минуту и донес ей, что надменность ваятеля перешла все пределы, что он потерял голову и требует, чтобы сам сенат явился к нему с приглашением пред всенародным открытием памятника проследовать на эту церемонию.

Взбешенный сплетнями, интригами, неблагодарностью, проработав вместо восьми все двенадцать лет, отдав весь свой талант и здоровье, Этьен Фальконет уехал в Париж. Ни посещения императрицы, ни открытия памятника он не дождался.

О великой работе и бесславном отъезде Фальконета еще раз горько передумал Радищев, когда вечером с Середовичем подходил к его мастерской, что была на углу Большой Морской улицы, наискосок от дворца графов Строгановых.

Недаром сей скульптор походит внешностью на Сократа. Разница между ними лишь та, что философ спокойно ждал своей чаши яда, а неукротимый Фальконет себе ее стребовал сам, — так о нем острили в салонах столицы.

Думал Радищев и о замечательной судьбе добывшего себе славу Воронихина, завидя издали двух скульптурных лисиц герба Строгановых.

Воронихин был на десять лет моложе Радищева. Мать его, Марфа Чароева, крепостная большого барина, графа Строганова, давшего образование Воронихину, была любима родственником его, бароном, носившим ту же фамилию. У них родился сын Андрей, названный по отцу приемному — Воронихин. Страсть Андрея к рисованию и необыкновенные к нему способности обращали на себя внимание. Когда ему минуло восемнадцать лет, его привезли с Урала в Москву, потому что его барин, большой меценат, граф Строганов, приказал своему управляющему отбирать ему в столицу всех одаренных талантами крепостных людей.

Как две капли воды походил Андрей на отца, и кликали его дома в деревне «бароненок». От ранней выучки у иконописцев, от техники тщательного обрядового письма у Воронихина остались навсегда особая выдержка и строгость деталей. Внешность у него была сановная, гордая, сдержанная, манеры человека, который повсюду хозяин — и во дворце и на лесах своей постройки. Ему было всего восемнадцать лет, когда он поступил в московскую живописную школу. Здесь руководителем его был Баженов, человек и художник необык-

новенный, с размахом гения. Он был блестящий ученик де ля Мотта и Растрелли и, кроме того, учился у королевского архитектора де Бальи в Париже. В 1762 году Баженов блестяще выдержал экзамен в Парижской академии, давший ему диплом архитектора. Он вернулся на родину в расцвете всех своих сил. Его ждали горькие разочарования и униженное положение художника, чью пламенную фантазию исправлять стали неучи и чиновники, чей гениальный проект забраковала сама императрица, плохо понимавшая искусство.

Она, не жалевшая миллиардов государственной казны на прихоти своих фаворитов, нашла слишком дорогой представленную Баженовым смету на постройку «главного ее величества дворца». Одаряя за краткосрочный «случай», как это было, например, с Зоричем, деньгами и «душами» бессчетно, здесь, с гениальным строителем, Екатерина нагоняла экономию, сколько ей ни толковали, что если бы дворец по проекту Баженова был построен, он превзошел бы грандиозностью и великолепием все до него в России бывшее.

Баженов сразу принял молодого Воронихина в число своих учеников. Не только об искусстве был между ними разговор: пламенный оскорбленный строитель всей душой был предан масонству.

Только в масонстве увидал он равенство и справедливость. А возможность грядущего царства свободы настолько увлекла Баженова, что он взял на себя очень рискованное и опасное дело: быть посредником между вольными каменщиками и «персоной», сиречь цесаревичем Павлом. Баженов ездил в Гатчину с книгами мистического содержания.

Для Андрея Воронихина масонство было прежде всего — свобода в буквальном смысле слова, то есть прекращение крепостной зависимости от графа Строганова, его барина.

Родной отец Воронихина, барон Строганов, тоже бывший масоном, открыл свою ложу в Перми, и вся надежда сына была теперь на него. Действительно, по просьбе его отца богатейший родственник-меценат согласился, наконец, отпустить мать Воронихина Марфу на волю. Ей уже было сорок четыре года. Но Андрей Никифорович все еще оставался его крепостным.

Увидав в мастерской, у подножия неистово вздыбленного коня, несколько надменную фигуру Воронихина, Середович смутился и попытался скрыться за скалой «Гром». Но Радищев его вытащил и представил Воронихину как зрителя, желавшего видеть монумент.

— Я попрошу вас сейчас же прочесть письмо Алексея Михайловича, ибо мне надлежит его вам дополнить словесно, — сказал вежливо Воронихин, протягивая Радищеву пакет с печатью Кутузова, а Середовича повел на малую лесенку, откуда вполголоса стал объяснять ему памятник.

Радищев знал, что Кутузов стоял со своим полком на зимних квартирах в Луганской слободе и на досуге переводил сочинения Юнга «Плач» и «Ночные мысли».

Кутузов писал, что судьба его близится к намеченной цели. Он бросает службу и свое поместье, чтобы жить пока при Новикове в Москве переводчиком и сотрудником «Дружеского общества», а когда пробьет час, отдаться делу своей жизни — «орденской химии».

Душою московского масонства, его двигателем, пламенным проповедником, писал Кутузов, сейчас является необыкновенный человек — Иван Егорович Шварц.

Московский профессор, он в то же время, что и Новиков, попал в Москву. Шварц оказался гениальным педагогом, увлеченным идеями просвещающего масонства и создания из своих учеников, наподобие древней пифагорейской школы, людей высшей добродетели.

Он бредил «идеальным царством» Платона, он обладал столь могучим красноречием в привлечении людей к своему делу, что из области мечтаний весьма скоро масоны смогли перейти к осуществлению своих целей.

Шварцу удалось так заинтересовать богача Татищева, что он дал огромные средства ордену.

«Этим летом, — писал Радищеву Алексис, — Шварц вместе с сыном Татищева едет за границу ознакомиться с постановкой просветительного дела в Германии. Сфера нашей деятельности расширяется, надобность в умах просвещенных и добродетельных усилилась. О, сколь было бы славно и твое, друг, участие!»

Еще сообщал Кутузов, что Николай Иванович Новиков хлопочет об основании особой «сиентифической» [1] ложи для научного исследования, а не токмо в погоне за обрядностью.

«Тайная сиентифическая ложа сможет заинтересовать и тебя, ибо оная лишена вовсе пустозвонства лож петербургских, тебе известных...»

В конце Кутузов добавлял самое важное — о том, что брат Андрей Воронихин, «доверенный канал», имеет поручение дополнить устно о последнем доводе, который должен заставить Радищева приложить, наконец, и свою волю к общественному служению в ордене.

Радищев кончил читать письмо и подошел к Воронихину, который с искренним оживлением, стараясь быть понятным Середовичу, объяснял ему, что́ именно хотел выразить в своем памятнике Фальконет.

— Что же имеете, Андрей Никифорович, вы мне сказать об упоминаемом в письме Алексиса самом последнем доводе, сиречь обстоятельстве большой важности, которому надлежит меня соблазнить на поступление в сиентифическую ложу?

— Речь идет о высокой персоне... — несколько замялся Воронихин и, предложив на рассмотрение Середовичу фолианты гравюр, он отошел с Радищевым к амбразуре большого окна, выходившего на Мойку.

— Речь идет о персоне, ныне путешествующей за границей под именем графа Северного, не так ли? — сказал Радищев.

Воронихин нагнул голову:

— Вы угадали.

Он глянул в упор в черные глаза Радищева своими твердыми внимательными глазами, как бы ограждая силой их взгляда те важные слова, которые сейчас должны быть им произнесены.

— Надежда и упование нашего ордена — цесаревич Павел. Он принял, наконец, посвящение в степень мастера. Вот она, первая весть, окрылившая все умы, расположенные к исканию истины и блага народного.

— А весть вторая? — вымолвил Радищев, невольно любуясь красивым лицом Воронихина и не изменявшими

---

[1] Научной.

ему ровностью голоса и важностью осанки, хотя он говорил вещи, крайне для себя волнительные.

— Весть вторая — это, что цесаревичу есть на кого опереться не только в России, но и за границей. Общественное мнение Европы за него, против...

Воронихин оглянулся и, хотя в комнате никого, кроме них, не было и Середович, единственный свидетель разговора, отведя в сторону фолианты, с видом знатока углубился в доскональный разбор всех статей вздыбленного коня, понизив голос до шепота, сказал:

— Когда цесаревич с супругою только что посетили Вену, им захотели показать «Гамлета» при участии знаменитого сейчас трагика. Но сей умный актер наотрез отказался от выступления, выставив мотивом отказа следующее соображение: «Могу ли я изобразить Гамлета Шекспирова пред Гамлетом живым, сидящим предо мною в ложе? Судьба принца Датского и несчастного цесаревича Павла слишком сходствуют, и мое лицедейство будет жестокой грубостью». Сей актер был щедро награжден, а «Гамлет» в Вене не представлен. Награда актеру за его столь дерзновенный намек — прямое осуждение действий императрицы, не допускающей царствовать законного наследника престола — цесаревича Павла.

— Я не улавливаю причины, — сказал Радищев, — почему братья нашли нужным меня, профана, посвящать в секретные свои дела? Я ведь не охотник до споров, что древнее — масонство или тамплиерство? Я часто заявлял Алексису, что ни загадки масонские, ни символы меня не интересуют нимало.

Воронихин слегка покраснел, чутко восприняв оттенок внутреннего пренебрежения в речи Радищева, и намеренно усилил свою сдержанность, за которой таился большой, сосредоточенный характер человека, отлично знающего, что̀ именно ему надлежит делать в жизни.

— В устах людей глупых или суетных толкование символов наук герметических поистине глупость. Но для умеющих мыслить они имеют глубокое значение, как основанные на законах природы, а не на капризах произвола, придуманного в религиях государственных для людей, ленивых мыслями. Обряды тамплиерские мы еще признаем, поскольку их пышность полезна для привле-

чения знати и военных, дающих ордену связи и средства. Кроме того, за один из способов показывать людям, не имеющим собственных глаз, отношения вещей умозрительных посредством чувственных...

Радищев прервал Воронихина. Ему не понравился его поучающий и уверенный тон. Так говорит проповедь иной умный карьерист-протопоп, много тоньше, чем сельские простоватые батюшки, но про которого никак не скажешь, верит ли он сам тому, о чем говорит, или нет.

С раздражением Радищев вымолвил:

— Еще однажды повторю вам: не усматриваю, чем ваше сообщение об участии в ордене известной персоны, весьма важное для его процветания, может касаться меня, в оном ордене не состоящего?

— Сообщение о высокой персоне, привлеченной масонами, не только не может... оно именно вас и касается, вернее сказать — должно вас касаться.

Воронихин был на десять лет моложе Радищева, а говорил с ним как старший. Он еще раз выразительно и с весом пояснил свою мысль:

— Я позволяю себе говорить столь категорически потому, что именно сейчас представляется провести и ваши мысли в дело. В масонстве различать следует два предмета — внешность и сущность. Первая, в обрядах, организации и прочем внешнем, меняется в зависимости от состава членов ордена и исторической эпохи. Сущность же хранится умнейшими и любящими свободу людьми от древнейших времен. Эти люди на себе одних несут всю тяжесть одинокого познания и ответственность. Это те, которые знают, когда молочную пищу пора заменить младшим братьям пищей иной, посущественней...

— Дорогой Воронихин, — прервал Радищев, — не трудитесь! Мы с вами никогда не столкуемся. Я держусь того убеждения, что младшие братья растут сами и не только меняют свою пищу, когда захотят, а вообще сбрасывают с себя тиранию всякого вида и рода.

Воронихин, умно и тонко улыбаясь, слегка наклонил к Радищеву свою красивую, щегольски причесанную голову, готовый ответить.

— Андрей Никифорович! — невольно вырвалось у Радищева. — Как можете вы, обладающий столь изо-

щенным понятием о вещах, испытывая на самом себе все безобразие насилия человека над ближними его, как можете вы, если ваша родная матушка только что отпущена на волю, а вы сами еще числитесь крепостным, не употребить все ваши силы, волю, дыхание прежде всего на борьбу с этим отечественным насилием?!

Радищев осекся... Лицо Воронихина потемнело. Он выпрямился и, сжав губы со свойственным ему слегка насмешливым выражением, сказал:

— О моей участи беспокоиться не извольте. Я себе свободу добуду. А вот миллионы...

Воронихин не договорил и широким жестом, несколько театрально, обвел как бы над головами масс, много пониже его ростом.

— Со всем бескорыстием отдаться искусству не значит ли тоже — послужить по своим силам делу освобождения всего человечества? Каждому по своим дарам. Я буду для моего народа сооружать прекрасные здания, а хлопотать о прямом его выходе из рабского состояния, полагать надо, будете вы. — И, пригнувшись к Радищеву с благодарным выражением сдержанного восхищения, Воронихин докончил: — Ведь отрывочек в «Живописце» о некоей деревне Разоренной не чьего иного... вашего, Александр Николаевич, вашего пера!

Нарочито, не ожидая от Радищева, быть может, неугодного ему разоблачения инициалов, коими был подписан упомянутый отрывок, Воронихин стал просить сейчас же с ним отпустить Середовича, дабы позировал он ему для этюда апостола. Середович налился важностью и вдруг поведал о своем заветном мечтании:

— Уж написал бы ты с меня, батюшка Андрей Никифорович, картину в орденах да с регалиями. Ведь из песни строки не выкинуть... было такое дело: ходил я в министрах!

Радищев рассказал Воронихину про то, как старику довелось побывать при дворе Емельяна Пугачева, и еще раз настрого наказал Середовичу держать язык за зубами, доколе он не выедет с Алексисом Кутузовым за границу. Дорогой Воронихин пожалел своего опечаленного спутника и ласково сказал ему:

— Дай срок, свидимся мы с тобой на чужбине, я тебя там министром обязательно напишу. Как поедешь с Алексеем Михайловичем, прихвати с собой все твои регалии.

Радищев сидел перед письменным столом в своем кабинете. Но писать сейчас он не мог, охваченный горькими мыслями. Архитектор Воронихин, талант, уже всеми признанный, все еще не освобожденный от гнусного рабства, терзал его чувства. Он перебирал невольно в памяти известные ему ужасные случаи, когда крепостного, получившего высокое художественное развитие, повергали в прежнее зависимое, вдвое унизительное сейчас для него, состояние.

Дух Радищева возмутился: ему почудилось, вдруг Воронихина постигнет участь несчастного рекрута Ванюши, о котором он уже записал полную гнева и боли страницу для той книги, обличающей, грозной, быть может для него пагубной, которую, сейчас знал он наверное, уже не может не написать.

Ванюша рос вместе с сыном барина, учился тому же, чему и барчук, в заграничном университете. Любивший Ванюшу как сына старый барин посулил ему вольную, но умер внезапно, не успев ее дать. И вот, хотя Ванюша был братски воспитан со своим барчуком, тот, по дрянной слабости характера, уступил настояниям своей злой жены и не только не выполнил волю отца относительно Ванюши, а допустил превратить его из «брата» в лакея. Ванюша был выпорот на конюшне за неподчинение желанию помещицы жениться на указанной ею невесте и, наконец, отдан в солдаты не в очередь. Ужас за Воронихина, который едет за границу, еще не получив своей вольной, лишил Радищева сна. Он прошагал до утра по кабинету, потом попробовал записать свои впечатления о великолепном памятнике. Мысли, вызванные горечью за бесправное положение Воронихина, мешали спокойствию работы. Уже забрезжило, когда Радищев сел за стол и пробежал написанное о памятнике Петра в форме письма к «другу, жительствующему в Тобольске». После похвальных слов о том, что великий преобразователь дал первый движение столь обширной громаде, как

русское государство, Радищев вдруг гневно прибавил совсем новые строки. В этих строках говорилось о том, что Петр мог бы еще славнее быть, если бы он дал свободу отечеству, освободил его от позора рабства, «утверждая вольность частную». И такими словами он закончил свое знаменитое «письмо»:

«...нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, седяй на престоле».

Впоследствии, когда пагубная книга увидела свет, именно эти строки прибавили особую тяжесть на чашу собранных против Радищева обвинений. Указывая на них, Екатерина произнесла тоном, предрешающим тяжкое обвинение в преступлении государственном: «Давно мысль его готовилась ко взятому пути!»

Памятник Петру Великому был открыт в начале осени восемьдесят второго года. Пятисаженные полотняные щиты с пестро нарисованными горами заменили деревянный забор, который до этого скрывал от взоров толпы великий труд Фальконета.

Седьмого августа с утра погода была дождливая. Но, как полагается по придворному календарю, к полудню само солнце решило участвовать в празднестве. Солнце выглянуло и обсушило несметные толпы народа, покрывшие площадь и вал, окружавший Адмиралтейство.

К памятнику церемониальным маршем двинулись полки: Преображенский, Измайловский, Семеновский, бомбардирский и прочие...

В три часа дня фельдмаршал Голицын принял рапорт от полковых командиров и присоединился на берегу Невы к сенату, который ожидал прибытия императрицы. Выйдя из царской шлюпки в сопровождении кавалергардов, Екатерина прошествовала в здание правительствующего сената, где появилась в короне и порфире.

По сигналу мгновенно слетели щиты с полотняными расписными горами, из недр словно вихрем взлетел на вершину скалы неслыханный конь. На том коне — Петр, увенчанный лаврами. Он простирал над своим градом отеческую десницу. Торжественно грянули трубы. Пре-

клонились перед Петром знамена. Ружейным салютом приветствовали своего основателя войско и флот.

Придворно изогнувшись, себя почитая виновником главным всего торжества, Иван Иванович Бецкий поднес Екатерине выбитую на сей случай золотую медаль. В свою очередь он получил из рук матушки ленту вновь утвержденного ордена св. Владимира.

Обласканы были столетние ветераны, собранные со всех концов империи, которые еще помнили живые черты лица Петрова.

Поспешливый стихотворец Рубан написал стихи в честь нового памятника, которые кончались четверостишием, особливо прославлявшим камень «Гром», пьедестал статуи:

Нерукотворная здесь росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град чрез Невские пучины
И пала под стопы великого Петра.

Однако ни придворные пииты, ни сама Екатерина, написавшая цесаревичу Павлу за границу: «Наконец-то мы открыли памятник, он великолепен», — никто ни единым словом не помянул создателя замечательного произведения искусства — Этьена-Мориса Фальконета.

## *Глава шестнадцатая*

Предчувствия Аннет своей скорой кончины, к великому горю Радищева, оправдались. Только восемь лет они и прожили вместе.

Было у них уже три сына — Вася, Николай и Павлуша, — когда, родив дочку Катю, еще не оправившись от родов, Аннет была сильно перепугана ночью трещоткою ночного сторожа, возвестившего таким способом ближний пожар.

Аннет сильно расстроилась, молоко ей бросилось в голову, и, недолго проболев, она скончалась.

Радищев был неутешен, даже оставшиеся сироты не могли его вывести из состояния глубокой подавленности своим горем. Ему казалось, что со смертью Аннет ему ничего не надо, что кончена личная жизнь. С того ве-

чера встречи у Херасковых и до конца не было облачка между ними. Одна гармония чувств и мыслей, одно неразличимое существо был их брак. Да, она должна была умереть, ибо недопустим, казалось, на земле сердечный покой. Неудовлетворенность и несчастье должны подстегивать человека к неустанной работе над улучшением великих несовершенств людских отношений и законов природы!

Он похоронил Аннет на кладбище живописного Невского монастыря и на памятнике ей хотел награвировать самим сочиненную эпитафию:

О! если то не ложно,
Что мы по смерти будем жить,
Коль будем жить, то чувствовать нам должно;
Коль будем чувствовать, нельзя и не любить.
Надеждой сей себя питая
И дни в тоске препровождая,
Я смерти жду, как брачна дня;
Умру и горести забуду,
В объятиях твоих я паки счастлив буду...

Но власти, блюдя чистоту и строгость веры, не дозволили выгравировать стихи на кладбищенском памятнике, усмотрев великий соблазн для посещающих в том, что автором допущено сомнение насчет бессмертия души, особливо в последних строках:

Но если ж то мечта, что сердцу льстит, маня,
И ненавистный рок отъял тебя навеки,
Тогда отрады нет, да льются слезны реки.

Мавзолей в память Аннет с этими стихами Радищев вместо кладбища поставил среди того лабиринта в саду, среди жасминов и роз, где Аннет так любила мечтать, пророчески воображая себя отмеченной роком героиней Руссо.

Радищев остался один со своими детьми. Но дети окружены были материнской заботой сестры Елизаветы Васильевны, которую сама Аннет еще при жизни себе назначила преемницей.

Эта преданность сестры Аннет ее детям снимала с Радищева часть ответственности, которую он так остро чувствовал, что она временно как бы парализовала выпол-

нение дела его жизни — издание той пагубной для него книги против насилия, в защиту обездоленных рабством, которая, знал он, не может не навлечь на него гнева и мести властей.

Еще при жизни Аннет начал он читать «Историю обеих Индий» аббата Рейналя, — служебные занятия, болезнь и смерть жены отвлекли, дочел книгу только сейчас.

Сильнейшее впечатление произвели примечания и авторские отступления в тех местах особливо, где говорилось Рейналем о тиранстве в России и проводилось уподобление процветающего в ней крепостничества с самым позорным для человечества делом — торговлею невольниками как скотом.

Чувство русского, пораженного язвами своей родины, рвалось в своем возмущении высказаться все с большей силой.

То, что должно войти в эту книгу, пылающую святым гневом, вынашивалось Радищевым с детских лет, когда еще ребенком он бессильно плакал, слыша рассказы о жестокостях соседа-помещика. Мысли, вскормленные детскими чувствами, гневом отрока, получили углубление и опору в зрелой мысли. И стоял он сейчас в полном вооружении, в могучей силе воспламененной совести один против врагов.

Радищев стал добывать деньги, чтобы завести свой типографский станок, потому что вышло вдруг разрешение открывать всем желающим собственные типографии. Радищев окончил свою оду «Вольность». Она могла быть напечатана только в собственной типографии. Ужасное время фаворитизма в «доме распутия» и связанное с ним бесправие горько вдохновили Радищева, и в его оде, сознав свое право, народ судил царя, который видит в нем лишь «подлую тварь».

Жалованная грамота дворянству окончательно разделила русских людей на «благородных» и «подлых». Первые были освобождены от податей, только на «подлых» они падали всей своей силой. Екатерина против своей предшественницы Елизаветы Петровны еще усилила права помещиков над крестьянами, позволив им людей своих отдавать в каторжные работы, запретив жалобы даже на самых лютых господ.

Следствием жестокого притеснения народа — Радищев вдохновенно предсказывал в своей оде — должно быть восстание и тираноубийство.

Народ в ярости упрекает царя за нарушение данной клятвы о справедливой и заботливой власти. На престоле тирана — «народ воссел». Народ — владыка, он судит, он приговаривает тирана к казни.

Еще Радищев писал о том, что настанет время, когда «лучи яркого света разгонят сгущенную тьму». Сам он этого желанного дня свободы не дождется и только завещает потомству, когда хладный прах его осенится —

Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкавый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
«Под игом власти сей рожденный,
Носят оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал».

В то время как Радищев, собрав воедино все силы своего ума и воли, готовился совершить дело своей жизни, Николай Иванович Новиков развивал в Москве необычайную просветительскую деятельность. Он завязал прямые сношения с заграничными книжными фирмами, так что работы «Дружеского общества» выиграли в содержании и расширились. Кроме педагогического семинария, возник еще и переводческий. Материальные средства росли не по дням, а по часам. Благоприятным было для процветания новиковского просветительского дела и то, что главнокомандующий, московский граф Захар Чернышев, был также масон, а митрополит Платон — весьма просвещенный человек. От них обоих Новикову нетрудно было добиться официального разрешения на существование «Дружеского общества».

Одна надвигалась беда: в далекое прошлое кануло время, когда Екатерина сама была «полна забот» о просвещении народном, которыми она столь кичилась в начале своего царствования.

Сейчас эти заботы вызывали у нее только насмешку. Так, про четыре тысячи даровых народных школ, учрежденных в Англии, она весьма холодно и неодобрительно отозвалась: «Они не сделают народа умнее!»

Больше того: сейчас она была просто нетерпима к начинаниям общественным, которые шли помимо нее. Даже в таком невинном случае, когда общество только опережало почин власти, Екатерина была недовольна и намекала, что в «учреждении о губерниях» уже создан особый «приказ общественного призрения», коему и надлежит заведовать делом просвещения империи. И когда дворянское собрание провело постановления об открытии школ, императрица выразила губернаторам надменную укоризну «за преждевременное усердие».

Выходило, что заранее осуждались все те, кто, не дожидаясь приказа и распоряжения властей, попытался бы заявить себя ретивым гражданином хотя бы и на великую пользу отечественному просвещению.

Наконец все передовые люди поняли, что гроза вот-вот готова разразиться над прежде поощряемой вольной мыслью, в какой бы форме она сейчас ни выражалась.

К числу людей с «кривыми» взглядами Екатерина относила и масонов. Она не могла не обратить на них давно внимания. Среди ее ближайших придворных было их множество. Прежде она считала, что в орден идут люди для карьеры и светских связей, но после скандальных похождений испанского мага Калиостро, особенно когда сам великий столичный мастер ложи Елагин пошел к нему учиться делать золото, она решила, что в ордене верховодят мошенники. Калиостро увлек петербургских масонов ловкими алхимическими опытами и необычайными фокусами подчинил их, как малых ребят, своей магнетической силе до того, что многие поверили в его способность воскрешать мертвых. Однако скоро обнаружилось, что Калиостро не воскрешает, а только подменяет безнадежно больных, умирающих детей здоровыми, внушая несчастным родителям, что это те самые дети, которые были им взяты от них на излечение. К довершению разоблачений испанский посол заявил, что на службе его короля «полковник Калиостро», за которого себя выдавал проходимец, не числится вовсе. Екатерина дала распоряжение, чтобы «сего какомага» немедленно вывезли из Петербурга.

То, что серьезные масоны с самого начала относились к Калиостровым чудесам неодобрительно, а московские с нескрываемым возмущением, Екатерина к сведе-

нию принять не захотела. Она всех носящих это имя свалила в одну кучу, книг же масонских читать не желала, а если что и прочла, то самый язык, устремления, мечты масонов — все было ей неприемлемо, неприятно и непонятно. Но пока она прямой угрозы и опасности для своей власти в масонстве не видела, серьезным преследованиям ордена она ходу давать не хотела. Нашла только нужным свое насмешливое и неуважительное о масонстве мнение выразить в нескольких комедиях, которыми хвастала перед Гриммом.

Комедии с успехом ставились в ее присутствии в Эрмитажном театре; в Москве они проваливались.

В дальнейшем нужно было очень немного, чтобы Екатерина неприятных ей, особливо московских, масонов, именовавших себя «мартинистами», объявила людьми, полными кривотолков и вредоносными обществу.

Сейчас же ей, впрочем, было не до них, ибо все мысли ее устремились на борьбу с Турцией.

В июне 1784 года умер от «неумеренного употребления кантарид», сиречь шпанских мушек, для возбуждения амурного любострастия (так шептались при дворе) фаворит Екатерины — молодой Ланской. Полгода Екатерина была неутешна. Но с января нового года вошел в случай смельчак и умница Ермолов. Безличной фигурой, как многие иные, он в руках Потемкина быть не захотел и, напротив того, открыл против «князя тьмы» кампанию.

Желая свалить всем ненавистного вседержителя, он нашептывал Екатерине, что пора торопиться с поездкой на юг, дабы собственными глазами убедиться в плохом управлении доверенных Потемкину новых земель, в убыли населения, в готовности татар отложиться. Все обстоятельства сугубо важны при возможности близкой войны с турками.

Хотя фавор Ермолова длился недолго и уже в июле того же года он был из «чертогов» отпущен, но его ядовитые речи не остались без влияния на царицу.

Внезапно сенату было приказано дать указ Потемкину о поставке на каждую станцию потребного для громадной свиты числа лошадей, о поправке дворцов на пути предполагаемого шествия на юг.

Потемкин, презрительно усмехнувшись, сказал адъютанту:

— Сие шествие превращено будет не токмо в контроль над моим поведением, а в превеликое мое торжество... Но для сего принять надлежит меры.

И меры приняты были столь ретиво, что прежде всего ассигнованных Екатериною десяти миллионов оказалось недостаточно.

По нарочитым столичным рисункам светлейший задумал на пустопорожних местах возвести превеселые перспективы, по пути шествия закупил в городах до полусотни лучших квартир для размещения свиты, повырубил кое-где леса, чтобы возжечь с обеих сторон дороги на всем великом пробеге невиданные костры. Восхищая иностранных послов, кареты и сани понеслись из столицы на юг по аллее огней. Несчетные обозы с индюками, курами и прочей живностью предваряли приезд царицына поезда на отмеченный маршрутом привал.

Подгнившие от ветхости заборы, нищету черных изб приказано было снести как мусор или благообразно для взора прикрыть на время проезда триумфальными арками. На чахлые пустые поля надлежало согнать обильные стада овец и табуны лошадей. Пастухам и конюхам, облаченным в костюмы по французским картинкам, надо было временно вести кочевой образ жизни.

Представ восхищенным очам императрицыной свиты, им предстояло, едва поезд скроется с глаз, нестись что духу сокращенным путем, чтобы изображать новую встречу, играть снова приветствие на свирелях и дудках.

Потемкин расположился в Киеве, в Печерском монастыре. После усилий повернуть «шествие на юг» себе во славу и в посрамление врагам он впал в черную меланхолию, коей был подвержен. Лежал сутками полуодетый на диване и гнал от себя монахов, с которыми еще недавно пил запеканки, исходя в яростных спорах о вере, либо дразня их кощунством Вольтера.

Вчера казачку дан приказ не допускать никого, кроме одного киевского архитектора.

Сейчас, с ним запершись, князь лениво выслушивал разнообразные его пропозиции. От страха сидел архитектор, как аршин проглотил, на самом краю монастырского стула с высокой резной спинкой.

— В скорейший срок можно мыслить только усадьбу с колоннадой дорической... — Архитектор перебирал слова спешным тоненьким голоском. — У дорических базис отсутствует, капитель простая и все прочее...

— Колонны потребны коринфские, — молвил Потемкин и сделал кудрявый жест рукой. Думая о Екатерине, прибавил: — Она эту махровость любит.

— На коринфскую колонну затратить придется времени вдвое...

Архитектор с перепугу привстал и застыл, как гусь с длинной шеей, ожидая окрика.

Потемкин подумал, тяжко глянул в голубоватой воды глаза архитектора и отрубил:

— К чертям и дорическую и коринфскую! Набери подручных сколько влезет и малюйте мне на холсте село с церковью, с барским домом вдали. Да чтобы избы пустили вокруг веселей. Чтобы солнце в окошках играло. Краплаку и сурику не жалеть. Легкие вещи делайте, как на театре. Свернуть чтобы на подводу — и марш! А разговоров твоих мне не надо... — оборвал Потемкин открывшего было рот архитектора. — Отвалим тебе по смете... но через три дня чтоб деревни с усадьбами были двинуты по маршруту.

«Потемкинские деревни» — так прозвала их молва — украсили скоро незаселенные местности южного края. Расставленные по живописным пригоркам, маскируемые деревьями, они давали в лучах нерезкого утреннего или вечернего солнца полную иллюзию действительности.

Расчет Потемкина оказался без просчета. Екатерина была большой ценительницей находчивости и остроумия. Она деликатно задерживалась в нужных местах для ночлега, давая возможность декорациям умчаться вперед себя на подводах, чтобы раскинуться на новых живописных холмах.

Эти театральные измышления приняла она не как грубый обман, а как любезное пророчество, предваряющее истину. Ведь на этих пустынных местах в самом скором времени действительно вырастут города. В этом Екатерина не сомневалась и понимающей улыбкой благодарила своего скифа за догадливость показать иностранцам товар лицом. И восторгу ее не было предела, когда внезапно возникший отряд всадников в блестящих

мундирах оказался частью созданной в этих местах потемкинской конницы.

Знать, духовенство, дворяне приветствовали Екатерину во всех городах. Архиепископ Георгий Конисский на проповеди так захлебнулся от лести, что воскликнул:

— Пусть ученые мыслят, что земля вокруг солнца вращается. Наше солнце ходит само вокруг нас!

Потемкин в интимном кругу после того звал Конисского «астрономический враль».

Въезд Екатерины в Киев произошел под пушечный торжественный салют. Комендант поднес ей на бархатной подушечке ключи от крепости города. Купчихи и мещанки в украинской одежде бросали цветы пред каретой царицы. Она появилась на городом данном балу в русском платье, в драгоценно вышитых башмаках. Всех очаровала любезной улыбкой и щедрой игрой в карты, платя за проигрыш горстью чистых бриллиантов.

До Киева продвигались в каретах и целой сотне саней. Из Киева предполагалось плыть по Днепру на галерах римского образца, нарочито построенных, ослепительных позолотой и убранством и страдавших отменной неуклюжестью хода.

Потемкин безумствовал в тратах, — его не переставала гвоздить мысль, что, как ни крути, Екатерина ехала его проверять. Сколь ни мастер он был отводить ей глаза, — за последнее время таких накопилось за ним делишек... шила в мешке не утаишь! По всей империи пошли слухи, что он с своими ближайшими расхитил целый рекрутский набор с женами, чтобы заселить свои новые поместья в этом самом крае, куда двигалось шествие. Один выход — угодить сейчас матушке выше меры встречей. И он угождал...

Строчились и рассылались по губерниям приказы «подробного встретения» монархини. Жителям потребно ожидать высочайшего проезда в наилучших одеждах. Девкам — в уборе на головах, с цветами. При лицезрении монаршей персоны всем купно делать любезный поклон и метать под карету цветы.

Дома, кои могут быть зримы с галер, чисто выбелить, обвесить гирляндами, из окон наружу вывесить портища суконные, стамедные или украинские плахты.

Езжалые добрые цуговые лошади должны быть представлены по первому спросу. При них держать четырех форейторов в красных камзолах. Жилеты, равно как исподнее платье, — белые. Городским магистрам велено наблюдать, чтобы торговцы одеты были опрятно, фартуки не мараны и в шинках бы на время проезда народ не спаивали.

Великую кару сулил приказ всем, кто осмелится персонально тревожить императрицу, подав ей из собственных рук прошение.

Виновных подвергнуть взысканию: имеющих чины — отсылке на каторгу, всем прочим впридачу — публичное наказание.

Екатерина верила в любовь народную предпочтительно перед лицом иностранцев. В невеликом кругу своих просвещенных друзей она любила отдаться своему прирожденному юмору и насмешливости, воспитанной вольтерьянством.

Так, в Смоленске, когда ей угодливо донесли, что толпа обожающих ее жителей стоит под окнами и ждет ее выхода, она со смехом сказала: «Обожание тут ни при чем, и медведя смотреть ходят кучами».

Но сейчас, в окружении всевозможных посланников, представителей держав европейских, не только дружественных, но и враждебных, восторги народные она любила ставить на вид. Необходимость политическая требовала, чтобы южная Россия предстала страной, полной радости и обилия, страной не угнетенной, а, напротив того, обожающей свою монархиню за ею данное счастье.

И, указывая на нарядные толпы поневоле согнанных крестьян, Екатерина с величием говорила посланникам:

— Будьте свидетели... вот оно, прославленное безлюдие сих мест!

Однако Киевом Екатерина осталась недовольна, и это вышло Потемкину тоже на руку. Киев был под управлением фельдмаршала Румянцева, его заклятого врага и очень нелюбимого императрицей.

Неприятен ей стал Румянцев со дня ее восшествия на престол, потому что он сего восшествия признать не хотел, и никакие триумфы его военного искусства, прославившие ее царствование, изгладить той первой обиды не могли. Кроме того, сейчас, исключая обычного бала,

никаких особых стараний отметить «шествие солнца» по ему вверенному наместничеству Румянцевым приложено не было. Даже мелкие города ее избаловали своим особливым вниманием, и отсутствие его здесь, в Киеве, поразило как дерзость.

Екатерина поручила фавориту Дмитриеву-Мамонову намекнуть Румянцеву, что «ей Киев манкирует».

Заслуженный воин понял намек, но в долгу не остался. Глядя с высоты своего большого роста на мелкого костью, субтильного сегодняшнего фаворита, он пролаял отрывисто:

— Передайте ее величеству, что я состою фельдмаршалом русского войска. Мое дело — города брать, а не строить. Тем менее украшать их пукетами из цветов.

Перед отплытием из Киева на галерах Потемкин кликнул клич, созывая по вольному найму искусников-поваров, кондитерских дел мастеров и опытных буфетчиков.

Середович, по поручению Радищева ездивший к его старикам в Облязово, об эту пору оказался в Киеве.

Когда он увидел на Днепре раззолоченные галеры, готовые к отплытию, когда потолкался среди толпы разнообразных народов — татар, калмыков и киргизов, напомнивших ему его наилучшую, после Лейпцига, пору жизни — удалую пугачевскую ставку, — его с такой силой потянуло поплыть вот на этих галерах неведомо куда и зачем, что он не вытерпел и предстал перед дворецким царицы, нанимавшим для нее обиходных людей.

«При том... при батюшке, мужицком царе я как-никак жалован был через плечо кавалерией и чином министра! Чем-то меня пожалует она, матушка, дворянская царица?»

Так мечтал Середович, когда, расчесав поредевшую бородку, смазав волосы, он стоял, благообразный, перед важным дворецким. Оглядев его, как коня, дворецкий крикнул парнишке-писцу:

— Отметь этого дядьку истопником на «Днепре».

Середович хотел было, обидевшись, отказаться, но узнал, что на «Днепре» плывет сама императрица и печи топить надо будет именно ей.

Середович избоченился и сказал дворецкому:

— Не место красит человека, а человек красит место!

Всего на галерах отправилось по Днепру три тысячи человек. Когда подъезжали к Кременчугу, в каюте императрицы, боясь сырости от воды, еще топили, а с берега уже веяла в полном разгоне весна. Из фруктовых садов благоухали яблони, черешни осыпали черноземный плодородный ковер несметными белыми лепестками. Дикий мак горел огнем в нежной зелени, и далеко вглубь, между холмами, голубели долины, серебрились стволы старых грабов или стройно высились тополя хуторов. Кричала, тяжко двигая пестрыми крыльями, птица удод: «Худо тут! Худо тут!», а придворный седой шалун Левушка Нарышкин так ловко того удода передразнивал, что их обоих путали и люди и птицы.

С кормы галер вельможи пытались закидывать удочки и, ежели вместо рыбы ловили зеленую тину, тешились вдвое.

Над белыми хатами, на колесе, нарочито приделанном к крыше, чтобы на счастье завелся в доме аист, стоял он, высокий, на длинной ноге, другую высоко поджав под крыло. Стоял и лолокал, глядя в закат. Отсюда аисту имя на юге — лолока.

Над пловучей флотилией, игравшей на солнце своей позолотой, небо было то чистое, синее, то вдруг покрывалось весенними вихрастыми облаками.

После чахлой петербургской весны, после ее больных белых ночей эти яркие краски, это пение соловьев и буйное цветение природы пьянили, как вино. И томили сердце гребцы-украинцы своими любовными песнями.

Хотя Екатерина кокетливо объявила, что она едет всего-навсего изучать «свое маленькое хозяйство» и поведет образ жизни, любезный героиням Руссо, сиречь близкий к натуре, изъяв утомление от государственных дел, — на самом деле на галеру «Днепр» перенесен был весь распорядок придворного быта. Как обычно, с утра шла работа с Храповицким и Безбородкой и прием иностранных послов. Работа кончалась в пловучем зале. По сигналу все вместе шли на галеру «Десну» обедать.

Забавляясь искусством легкой игры ума, щеголяя остротами и буриме, монархиня дипломатически узнавала про желание нового короля Фридриха-Вильгельма

вмешаться в интересы соседних держав и про печальное положение Франции, которая близится к перевороту.

Был поздний вечер, когда Екатерина уединилась в своей каюте. Сидя перед открытым окном, она только что кончила комедию для завтрашнего представления и, любуясь отражением ясного месяца в волнах Днепра, предалась волнению легкой лирики. Обвела взорами отлогий берег с песчаной, белевшей под месяцем отмелью, с другой стороны — высокий, поросший плакучей ракитою и шиповником, прислушалась к томному пенью гребцов и мечтательно написала в своей заветной зеленой тетради:

Я куда ни погляжу,
Там утехи нахожу,
Там поют соловьи,
Множа радости мои.

Середович, сзади императрицы, подойдя к камину с вязанкой мелких дровец, застыл как статуй. Давно метился он поговорить с царицею по душе, да всё девки придворные мешали. Сейчас матушка сидит тут одна у окошка под месяцем в белой просторной кофте и белом чепце, вроде Минниной тетки из Лейпцига. Приятная, румяная, видать — простецкая баба.

Хитрый Середович уже раздумывал, чего просить для начала, пока Екатерина не положила перо. Он двинулся было поближе, а левретка из-под юбок царицы как взвизгнет, как вцепится ему в ногу... полешки из рук так и грохнулись врассыпную.

Екатерина вздрогнула, обернулась, увидела уже привычного глазу истопника, сказала без гнева:

— Карош погода!.. Топить камин больше не есть нужно.

Середовича окончательно обнадежил немецкий говор монархини. Так, бывало, и Минна ломала русский язык, когда он в Лейпциге ее обучал. И, расположась нелицемерно к матушке, Середович, нимало не смущаясь, сказал:

— Родимая ты моя, и как уж тебя кругом одуряют-то! Просто нет мочи смотреть. Ведь деревеньки-то, что на холмах, они не всамделишные! Они на тряпье намалеваны, вот с места не встать! Отбудешь ты —

их свернут, ровно рогожу, и вскачь знай нахлестывают, и на других уж холмах, как простынки, развесят...

Екатерина испуганно встала, попятилась, схватила в руку звонок.

Середович двинул злющую собачонку так, что, смолкнув, она уползла снова под юбки хозяйки, и со всею душевностью напирал на царицу:

— Прошенья тебе, матушка, подавать не дозволено... а что горюшка у людей! Что слез сиротских!..

Середович в подробностях хотел рассказать про великий голод в стране, о котором шептались в людской, но Екатерина изо всех сил позвонила, и тотчас в каюту влетел перепуганный фаворит.

Екатерина гневно сказала ему по-французски:

— Убрать этого сумасшедшего... Хорош недосмотр!

Растерявшийся Мамонов для чего-то спросил Середовича:

— Кто таков будешь?

Середович, по-военному вытянувшись, приложил руку для рапорта и сказал:

— Я буду министр... Министр самого Емельяна Иваныча Пугачева.

Проезд Екатерины мимо польских границ был для короля Станислава важным событием. Он и его партия надеялись на большие для себя преимущества в случае разрыва России с Турцией. Король выехал из Варшавы заблаговременно и в Каневе поджидал Екатерину.

Король вел себя бестактно: Безбородку он спросил напрямик, скоро ли начнется война с турками. Безбородко поежился, пришепетывая, мягко ответил надвое:

— А кто ж его знает — може, скоро, а може, и ни.

Екатерине совершенно не хотелось свидания с королем польским, а тем менее держать с ним старинный галантный тон, как с бывшим возлюбленным, амурам с которым вышла уж давность чуть ли не в четверть века. Но Станислав, не считаясь с ее настроением, послал Екатерине кокетливую записку, озаглавленную «Пожелания короля».

Неизвестно, что было в ответном письме, но только польский король, при всей своей склонности к хва-

стовству, запиской императрицы щегольнуть воздержался.

В Киев Екатерина решила Станислава не допускать вовсе и вообще отделаться от него возможно скорей. Она опасалась, что он приехал с целью хлопотать об упрочении престола за своим племянником, чего она крайне не желала. И главное — теперешнее свидание с королем польским могло иметь вид заключения союза, что было уж совершенно невыгодно по отношению к Турции.

С такой прохладою и расчетом распоряжалась Екатерина человеком, с которым в дни юности было столь много пережито: и пылкая любовь, и угроза гибели, и нежное материнство...

О безумии тех лет было немало записано в ее дневнике:

«Лев Нарышкин заболел горячкой и стал писать мне записки, но я хорошо знала, что они не все от него. Записки были очень весело и галантно написаны. Нарышкин уверял, что это его секретарь. Но я узнала, что это — граф Понятовский...»

С этого началось, а там пошли свиданья: Лев Нарышкин мяукал особым образом, и его впускали вместо кота. Екатерина после родов Павла спала одна, калмык-парикмахер приносил ей мужское одеянье, и она, пока великий князь Петр Федорович пьянствовал у себя на половине, садилась в карету с Нарышкиным и отправлялась к его сестре на свиданье с Понятовским.

Как на другой день бывало весело на придворном балу! Боялись глянуть друг на друга, чтобы не помереть со смеху при одном воспоминании о вчерашнем маскараде.

Так начался пятьдесят пятый год.

И Станислав вспоминал, как он ездил в Польшу, откуда вернулся обратно в Петербург уже министром польского короля.

Тогда и произошел этот и сейчас лестный для его самолюбия анекдот, озаглавленный остряком Нарышкиным «Болонка-обличительница». Понятовский посетил Екатерину в Ораниенбауме со шведским графом Горном. Когда пришли они к ней в кабинет, маленькая злющая болонка зашлась от ярости при виде Горна, но, узнав Понятовского, перешла к бурному собачьему восторгу.

Понятовский самодовольно улыбался при мысли, как Горн, чуть согнув высокий стан, лукаво вымолвил:

— Ничего нет опаснее этой породы. Женщине, чью верность мне надо было проверить, я всегда дарил болонку и при ее посредстве безошибочно узнавал своего соперника. Несомненно, что здешняя злая собачка, при встрече с вами обезумевшая от радости, обнаруживает крайне близкое с вами знакомство.

Дальше в памяти Понятовского шли воспоминания тревожные, угрожавшие не только карьере — быть может, свободе, самой жизни...

Русские победили пруссаков при Гроссегерсдорфе. Внезапное отступление Апраксина вызвало подозрения Елизаветы. Дело же было в том, что от дочери и Петра Шувалова Апраксин получил известия о предсмертном состоянии здоровья Елизаветы и о расположении Петра Третьего прервать немедля войну с пруссаками.

Апраксин отозван, канцлер Бестужев арестован.

А Екатерина беременна.

Петр, злой, что ему из-за болезни жены приходится одному появляться на скучных для него куртагах, кричал во всеуслышание:

— Бог знает, откуда моя жена беременеет; я не уверен, что должен признать этого ребенка своим.

О, как блестяще она вышла из этого положения! Она послала Льва Нарышкина с требованием взять от цесаревича клятву, что он с нею не спал, и заявить ему, что после подобного сообщения она сама отправится к начальнику тайной полиции Александру Шувалову.

Понятовский поморщился, так ясно возник в ушах крик Петра:

— Убирайтесь к черту!.. Я больше не буду говорить об этом.

То есть это не Петр кричал перед ним — это, изумительно его имитируя, изображал Левушка Нарышкин.

Еще он вспомнил, как Екатерина показала ему одну решающую надпись в своем дневнике:

«Я увидала, что́ мне остается в будущем: разделить его судьбу, находиться от него в зависимости, ждать молча, когда он погубит меня, или... или...»

Он похолодел тогда от волнения и, сжимая ее маленькие ручки, повторил вопрошающе:

— Или?

Она тряхнула гордой головой с великолепными двумя косами, положенными короной, которую он шутя называл пророческой, и сказала:

— Или спасать самое себя, государство, своих детей.

В октябре король послал ему отзывные грамоты, но он не мог уехать, пока она не родила ему его ребенка. Он сказался больным. Он любовался из окна великолепным фейерверком, а она еще не вставала, больная в самом деле после рождения маленькой Анны, его дочери.

Все-таки это ведь не был сон. Дочь у него с ней была. Какой бы тон она сейчас ни приняла с ним, она вспомнит не короля, не графа, а отца своей дочери.

На каждом шагу из-за нее был риск, была опасность...

Однажды выскользнул от нее поздно в русском парике и шинели. Часовой сдуру чуть не схватил его. Окликнул: «Кто идет?» Нашелся сразу ответить: «Музыкант от великого князя...» А ну бы стал проверять?

И все это было не по расчету, по одной страстной любви. А много ль было таких, как он, среди ее, длинного теперь, списка фаворитов? Ведь она была ему не великая княгиня, а первая женщина, которую он познал. Сколько раз она, смеясь, ему твердила, что уж одно это делает память о нем для нее неизгладимой, потому что, она уверена, среди придворных русского двора не найдется и шестнадцатилетнего, не искушенного страстью.

Вспомнил и то роковое воскресенье, когда трепетной рукой ей писал: «...вчера вечером Бестужев лишен всех должностей и взят под стражу. С ним вместе взят ваш бриллиантщик Бернарди, взяты Елагин, Ададуров». Каждый из перечисленных в записке имел основание ее замешать в «дело измены» Бестужева, у которого к тому же хранился заготовленный на случай смерти Елизаветы манифест, где, минуя Петра Третьего, до совершеннолетия Павла правление империей предоставлялось ей.

Этот проект Бестужев поспел сжечь. Но в его бумагах нашли записку, бросавшую тень на него, Понятовского. Тогда русское министерство формально потребовало, чтобы король польский его отозвал.

Сколько воды с тех пор утекло... Нет голштинца Петра, он загадочно погиб в Ропше. Об этом сейчас,

да и всегда, думать нехорошо... официально же было объявлено, что Петр умер от «геморроидальных колик».

Умерла и дочь их, маленькая Анна. И на любовь их легло столько новых сердечных утех и у него и у нее.

Когда русская флотилия остановилась против Канева, где сидел нежеланный гость, императрица послала все-таки Безбородку пригласить его на свиданье. Король подъехал в великолепной шлюпке. Едва вступив на галеру Екатерины, он, как оперный певец, повел плавно рукой и любезнейше сказал:

— Король Польши поручил мне рекомендовать вашим милостям графа Понятовского!

Этим появлением, этим именем, которое носил он при первой их встрече, Станислав думал воскресить в Екатерине то, что было между ними двадцать три года тому назад: безумие их юности, пылкую их любовь, когда он, не король польский, а юный парижский щеголь, покровителем своим, английским послом Вильямсом, представлен был ко двору Елизаветы; когда он был тот рыцарь, который утешил обиженную пьяницей-мужем великую княгиню, молодую прекрасную Екатерину. О, если б повернуть время назад!..

Мимоходом, по лесенке подымаясь на галеру, он глянул в зеркало. Увидал свое еще моложавое, круглое, сытое лицо. Сейчас, не оживленное остроумием ловко сказанного каламбура, на что он был особенный мастер, не возбужденное тщеславным азартом достичь своего, это было лицо самого заурядного польского шляхтича, даже без тонкости аристократа.

Понятовский увидал Екатерину. Она была в парадной робе, постаревшая более, нежели он ее себе представлял по портретам, тяжелая, в меру надменная. Она чуть поднялась ему навстречу, легко приложилась к его надушенной голове, пока он припадал не без волнения к ее маленькой, тоже надушенной, не изменившей своей формы руке.

С достоинством, несколько холодно и для него неприятно подчеркивая, что в лице его она принимает не бывшего близкого человека, а только короля Польши, Екатерина проговорила с ним о незначительных вещах с полчаса.

Да, он решительно приехал не во-время. Для сердца ее, только что получившего жестокую рану от утраты возлюбленного Саши Ланского, сейчас приятней всех был обходительный фаворит Дмитриев-Мамонов. А в смысле политическом, уж конечно, не король польский был ей желанен, а лишь император австрийский Иосиф Второй.

Племянника Станислава, как король было мечтал, Екатерина не согласилась признать наследником польского престола. И остался бедный король при вечно обидном своем чувстве, что получил свой высокий титул только в награду за бывшую когда-то амурную близость с царицей. Прочих своих фаворитов она одаряла из имуществ государственных крепостными, вотчинами, просто деньгами, его — короной.

Война с Турцией еще не начиналась, и нельзя же было говорить о договоре с Польшей. И не говорили.

Пили за обедом торжественно за здоровье короля. Потом Потемкин повел его делать визиты генералам. Он настаивал на представлении его всем именем графа Понятовского. Это все-таки его молодило, но зато, даже несмотря на явную холодность Екатерины, выбивало из тона, который ему всячески подсказывали. Чтобы поменьше говорить с королем, Екатерина придумала позвать его в кумовья. Крестили вместе ребенка у графа Тарновского. Король от обиды и досады все больше терял под ногами почву. Он так настойчиво норовил задержаться на галере императрицы, что она при всех дала ему прямо понять, что ему уже время уйти. Он потерял шляпу, стал ее искать. Ему по знаку императрицы шляпу подали. Он с горечью, влагая в слова свои особый смысл, сказал:

— Однажды из рук вашего величества я получил шляпу получше этой. — Станислав намекал на польскую корону и на ожидание новых милостей как ответа на предъявленные им «Пожелания короля».

Екатерина молча вышла. И напрямик сказал королю Потемкин, что оставаться ему больше в Каневе незачем.

На другой день, когда немного отъехали по Днепру, Екатерина сказала Храповицкому, а тот записал в своих дневниках:

— Рада, что избавилась от беспокойства. Почти осердил, прося остаться...

Прошлое имело над Екатериной очень мало силы.

Выбрав минутку наилучшего расположения духа Потемкина, когда он, осыпанный наградами Екатерины, торжествовал над своими врагами, потому что, сумев показать матушке южные новые земли, разрушил все взводимые на него поклепы, — старик повар, который рекомендовал на галеру к императрице Середовича в истопники, попросил милостивого разрешения изложить «суть одного дела».

— Излагай, старина, — разрешил светлейший.

— Я до вашей светлости не для себя... а на предмет того арестанта, коего везем в трюме в железах. Слабоумный он старичок и нимало не бунтовщик, как аттестован графом Мамоновым.

— С чего это он ляпнул государыне, будто в министрах ходил при самом Пугаче? — нахмурился Потемкин. — Смотри мне, сам не влипни, заступник!

— Кто такого дурака в министры возьмет, он и курицу резать боится! Просто, ваша светлость, бахвальный он старичок, невесть чем ему надо хвалиться, да вышло чтоб почудней. А нам по соседству с ним теснота, и воздух от него тяжелый. Когда же в том его укоряем, «не способен, говорит, сейчас я к аккуратности, потому я в железах». Разрешите, ваша светлость, те железы старику снять! Убежать ему некуды, и воздух с него тогда можно будет стребовать.

— Приведи сюда старика. Проветри его там как-нибудь и веди.

Середович скоро вошел, гремя железами, с видом понурым, но отнюдь не изможденным. Старый повар его усердно подкармливал и обучал, как он выражался, прямому придворному обхождению.

Прежде всего он запугал Середовича Сибирью и пыткой, ежели тот упрется на том, что он действительно был кем-то при Пугачеве.

Повар рекомендовал Середовичу время от времени кричать петухом и всячески чудесить, дабы при допросе свидетели показали, что он вовсе дурной, а никак не бунтовщик.

Середович с перепугу, когда прошел первый азарт, во всем подчинился повару и не только кричал петухом, а клохтал курицей, мяукал и до того досадил прислуге и матросам, что те собирались просить светлейшего, дабы он ссадил его поскорее на берег. Тогда повар, пробравшись в клетушку к Середовичу, наложил на него обет безмолвия, и Середович умолк.

Перед тем как повару идти к Потемкину, у него был с узником обстоятельный разговор. Уже зная досконально все похождения Середовича, старик ему посоветовал держаться так, будто заграничная жизнь ему повредила мозги, и все валить, не сумлеваясь, на Минну. Виноват, дескать, в том, что малость для храбрости перехватил, а как увидал само ее императорское величество, то, конечно, хмельному перед ней погордиться захотелось. Сбрехнул невесть что...

Потемкин сидел в роскошном татарском халате, веселый и победительный. Так он был Екатериной расхвален за дворцы, фонтаны и примерные войска, что не в ударе был гневаться и карать. Весело спросил введенного поваром Середовича:

— А ну, козлиная борода, как это ты ходил в министрах у самозванца? Докладывай.

Середович, гремя кандалами, повалился на колени:

— И в министрах, ваша светлость, я не бывал и того окаянного в глаза вовсе не видел. В голове слабость имею, сбрехнул я пред царицей.

— И брешут люди неспроста. Почему именно самозванца ты помянул?

— А потому, ваша светлость, — с отчаянной искренностью завопил Середович, — что я точно был высоким лицом, только опять-таки не у нас, а за границей, у немцев, в городе Лейпциге. И как перед богом, ваша светлость, не самим, значит, был я лицом, а токмо евонной тенью...

Потемкин, хохоча, выкрикнул:

— Все брешешь, собачий сын! Где ты там по заграницам таскался? Подбери свои железа, садись на скамью.

Середович сел на скамью и, как разумный, рассказал Потемкину про жизнь в Лейпциге с Мишенькой и Радищевым. Рассказал, что быть тенью бюргермейстера

Романуса заставляли парикмахер Мориска да колдун немецкий Шрёпфер. И все это на тот предмет, чтобы барчуков оболванить, особливо Алексиса Кутузова. А Радищев, Александр Николаевич, поддельную бороду с тени сорвал и плутню обличил.

Показания Середовича сходились с тем, что знал сам Потемкин о посылке в Лейпциг двенадцати пажей. Обстоятельства лейпцигской учебной жизни студентов с грубым дядькой Бокумом, все совпадало с тем, что молол сейчас Середович, то и дело вставляя немецкие слова в подтверждение своего пребывания в Лейпциге и знакомства близкого с Минной.

— По милости сей неверной девки, ваша светлость, я головой и ослаб. Уж больно она за меня замуж хотела, да я ей не дался... вот и напущено на меня, — концы и начала путаю. Хочу одно сказать, а язык сам воротит другое. Должно, Минна мне в язык беса пустила, оный бес мной и заведует. Посудите сами, ваша светлость, выходит, себе же на пагубу я царице-матушке набрехал?! А верней всего, это, ваша светлость, Морискины штуки... ведь он сейчас у нас, в Петербурге, обретается, а я убегши от него.

Потемкин перестал смеяться, строго глядя на Середовича, сказал:

— Если наврешь — попадешь куда Макар телят не гонял, расскажешь всю правду — домой отпущу. Под чьим именем, в каком званье тот парикмахер Морис в Петербурге обретается?

— А я и брехать не умею, — сказал невинно Середович. — А званье тому Мориске считается маркиз чи граф, имя же вроде как русское, похоже Мухин, да только не Мухин. Ну, мне не выговорить. Нет, ваша светлость, мне нечего врать, насолил мне этот дьявол. Батюшки! Никак и он сам!

Середович вскрикнул, вне себя от ужаса, указывая в окно на подходившего к подъезду Потемкина де Муши.

Уже без всякой игры и вранья побелевший как мел Середович повалился в ноги Потемкину и, цепляясь за пряжки его башмаков, плакал испуганными старческими слезами:

— Христа ради, батюшка, не выдавай ему! Колдун он, сам видишь — из антихристов. Вольный я ныне...

А как глянет он на меня, то опять за собой потянет... колдун он!

Потемкин успокоил Середовича и тихонько, как добрый поп на исповеди, сказал:

— Ничего при мне не бойся. Припомни, в каком обличье этого человека ты еще видал, кроме как парикмахером и графом?

Середович оглянулся на окно, подошел близко к Потемкину, зашептал:

— А еще, ваша светлость, парикмахером он хаживал к барину Елагину, да вскорости, должно, с дворней поругался, приказал мне выкинуть все свое куаферское снаряжение. И остался опять он в одной своей должности, чи графом, говорю, чи маркизом, и к вашей персоне ездил на белых конях! А никто его не признает, что он куафером был, потому он для этого дела парик надевал и, запершись, сам себе морду красил. Выйдет, бывало, я сам не узнаю. А зачем ему было у Елагина барина в парикмахерах быть, хоть убейте, ваше сиятельство, мне неведомо...

— Ведомо будет мне, — ухмыльнулся Потемкин. Он позвонил, вошел опять старик, что проводил Середовича. Потемкин ему приказал:

— Железа с «министра» снять, держи у себя в покое, пока я не прикажу его привести. Да приодень его, умой. — И, милостиво отпустив, стал, нахмуря брови, слушать доклад вошедшего камердинера:

— Маркиз де Муши просит у вашей светлости аудиенции.

— Передай, что принять маркиза сейчас не могу, чего-то вдруг занедужил. Ныне вечером в маскараде обязательно буду и в круглой гостиной в девять часов предлагаю маркизу со мной повидаться.

В круглой гостиной кременчугского, наскоро выстроенного к ее приезду дворца на большом угловом диване сидела императрица. Только что окончился балет, нарочито для сегодняшнего случая сочиненный, и должен был при первых звуках полонеза открыться роскошный маскарад, к которому сербы, молдаване, греки и прочие

разнообразные обитатели губернии готовились ещё с прошлого года.

Перед императрицей склонился де Муши.

Он был в драгоценном наряде вельможи времен Генриха Четвертого, который очень выгодно оттенял его изящество среди русских, большей частью неуклюжих, придворных, состоявших из свежеиспеченной екатерининской знати, у которой, как уверял нарядный «павлин» князь Куракин, приверженец Павла, от угодливости сами сползают лосины.

Сегодняшний фаворит Дмитриев-Мамонов, который нравился Екатерине своей образованностью и манерами, сейчас, перед маркизом де Муши, казался сущим провинциалом. Он это понял сам и с обиженной гримасой удалился, ожидая, что матушка сейчас же за ним пошлет и покажет кичливому де Муши свое место.

Но матушка возвращать фаворита не торопилась. Она, повидимому, восхищенно слушала тонкие комплименты маркиза, его парижские сплетни и весьма для нее интересные подробности о вторичном призыве к власти знаменитого Неккера.

Де Муши был хорошо осведомлен и о масонских делах за границей. За последнее время масоны заставили насторожиться Екатерину. Возникновение в ордене новой ветви — «иллюминатов», в которых подозревались страшные организованные враги всего существующего монархического строя и церкви, не могло не обеспокоить и ее. Философ Циммерман намекал в своих письмах, что имеется всемирный заговор против королей, который не может миновать ни одной страны, и надо думать, что и в Россию проникло зловредное сие умонастроение.

Сохраняя всю женственную доверчивость и ту особую, как бы отдающуюся откровенность, на которую ловился не один дипломат с репутацией хитрейшего в мире, Екатерина спросила де Муши:

— Не знаете ли вы случайно, маркиз, чем окончился тот скандал у Елагина, когда внезапно перед собранием в ложе Муз некий куафер-француз, служивший у него по найму, появился пред братьями и потребовал, чтобы его допустили в присутствие? Говорят, что он предъявил свои грамоты, правильные и достаточные, из коих следовало, что он рыцарь высокой степени.

Де Муши, не моргнув, презрительно ответил:

— Сей мастер париков и локонов был, несомненно, первой ласточкой иллюминатства, коего вы справедливо изволите опасаться, ваше величество. И справедливо обрезал его разумным репримандом почтенный мастер ложи Елагин.

— Что же сказал Елагин, любопытствую? — Екатерина не спускала глаз с де Муши.

Маркиз с готовностью отрапортовал:

— «Насаждать в нашем ордене равенство в том смысле, как это понимают ансиклопедисты, тем паче Руссо, — наша благонамеренная ложа, желающая быть опорой престола монархини, нимало не согласна».

— Итак, сей масонствующий куафер, как у нас говорят, сел на бо́бы, — сказала, картавя, Екатерина по-русски и протянула де Муши свою бриллиантовую табакерку.

Де Муши почтительно взял понюшку и на секунду прикрыл нос кружевным платком.

— Было бы полезней, — тонко улыбнулся он, — если бы сей куафер сел в крепкое место к преданному вашему величеству мосье Шешковскому. А сейчас, если разрешите, ваше величество, на страже охраны вашего спокойствия от иллюминатов станет покровительствуемый вами наш орден иезуитов.

— Даю вам на то все полномочия. — Екатерина встала, протягивая де Муши руку и тем показывая, что аудиенция окончена.

— Сейчас я надену маску, ваше величество, и пребуду для вас одних ведомо вашим верным рыцарем...

Он несколько дольше, чем позволял этикет, задержался губами на вторично ему протянутой маленькой руке Екатерины и легкой, подлетывающей поступью вышел из гостиной.

Из-за тяжелой драпировки появился скрывавшийся за ней Потемкин.

— Ну что же, матушка, — ухмыльнулся он, — уверилась ты сама, что сей де Муши есть ловитель в мутной воде, на манер выбывшего из нашей столицы Калиостро?

— Спросила его, как ты научил, Гришенька, но кто тебя утвердил в мнении, что куафером у Елагина был точно он?

— Де Муши опознан двумя из сопутствующей вам свиты. Очную ставку можно будет сделать на допросе у Степана Ивановича, к нему не без остроумия сей загадочный куафер-маркиз себя самого только что отправил. Для вас я приберег более забавную встречу, если только соизволите укрыться в тот самый тайник, из коего я исхожу. Слышно изрядно, и чихать нет охоты, ибо к приезду вашему, матушка, все драпировки были нещадно от пыли колочены.

Екатерина засмеялась.

— Что же, к маскараду, тобой затеянному, весьма подходящи сии разоблачения на старинный манер! Но ужели иллюминатство столь коварно угнездилось у нас? И чему верить? Ведь этот самый де Муши, настаивая на изъятии книги Новикова об истории ордена иезуитов, прозрачно давал мне понять, что сей давний мой состязатель и пересмешник является со всеми присными тоже не чем иным, как клевретом иллюминатским! Самим тут концов не сыскать, придется прибавить работы Степану Ивановичу.

— Чем более прибавите, матушка, тем он будет счастливее, ибо он любитель великий кнутобойничать.

Потемкин удобно усадил Екатерину на козетке, скрытой тяжелой малиновой драпировкой, столь искусно повешенной, что она оказывалась необходимой для оттенения огромного, во весь рост, ее же портрета в виде Минервы, раздающей награды музам.

Потемкин хлопнул слегка в ладоши. Из-под земли вырос его казачок Филиппка.

— Стремглав беги к старшему повару, и чтоб тот привел сюда — кого, знает сам.

Филиппка исчез, а Потемкин, зайдя за драпировку, сказал, вынимая из кармана крохотные пасьянсные карты:

— Погадай пока, матушка, будет ли мне поворот сердечной фортуны. Прогнала меня снова Варвара...

— Ах, Гришенька, — усмехнулась Екатерина, — уж в пятом десятке, чай, ходишь... Когда на тебя угомон будет?

— Как на тебя, и на меня до смертного часу угомона не будет! — обнимая Екатерину, сказал Потемкин. — Мы два сапога — пара... То-то мы друг друга, на

зависть самого Гименея, так хорошо разумеем, что взаимно глядеть по сторонам не возбраняем, по сколько душеньке угодно, потому что одного мы с тобой корня, два равных дубка. При такой уверенности возможно ль нам друг друга к мечтанию минутному ревновать?

— Положим, мой друг, ты от ревности не свободен. Чуть кто новый к моим альковным дверям...

Потемкин, нахмурясь, перебил:

— Капризы альковных дверей есть легкомыслие нашего века, коего мы оба с вами родимые дети, и капризы сии мной уважены. Но коль скоро подъемлет кто руку к вашей короне, матушка, и тщится хотя крупицу вашего самодержавия умалить, тому я действительно даю по рукам!

— Гришенька!..

Они еще раз обнялись. Потемкин провел Екатерину за драпировку, и она погрузилась в пасьянс.

Слегка постучав и получив разрешение войти, появился старший повар с Середовичем. Одет Середович был в запасную поварскую пару, но как был станом поуже и ростом пониже, то, кроме обвисающих складок, казалось, и тела на нем нет никакого.

Екатерина, глянув в узкий просвет, поразилась, узнав в отмытом и выбритом Середовиче недавно испугавшего ее сумасшедшего истопника. Она смешала выходивший было пасьянс и, опершись обеими руками на карты, чуть приподнялась, готовая скрыться в маленькую потайную дверцу в стене. Она успокоилась, когда Потемкин превесело обратился к повару:

— Нечего сказать, принарядил камергера! Штаны с него падают...

— Не танцевать ему в них, — объяснил старший повар.

— Ступай к себе, — махнул рукой Потемкин, — он один тут останется.

— Ваша светлость, — запинаясь после очевидной выпивки, сказал Середович, — покажите мне его, окаянного, пока я в себе смелость имею...

— Налился? Чего же ты смотрел? — крикнул Потемкин уходящему старику повару.

— Больно хвалился он, ваша светлость, что во хмелю — ровно сокол. А не то, говорит, я его оробею.

— Ну ладно, проваливай...

Часы пробили девять. Постучали. Потемкин сам открыл дверь де Муши.

Не снимая маски, он сделал несколько шагов и остановился, недоумевая. Потемкин, взяв за плечи Середовича, держал его перед собою, как щит. Он сказал по-французски с крайней любезностью:

— Прошу вас, любезный маркиз, снимите вашу маску. Мне удобней вести с вами разговор, видя выражение вашего изящного лица. Вы сами к тому же меня обучили, что игра лица, походка, жесты и прочие невольные выражения тайных мыслей были главным базисом для психологических заключений учителей древней пифагорейской школы.

Де Муши снял маску, присел на предложенное кресло и, смеясь, сказал:

— Надеюсь, что и в дальнейшем ваша светлость захотите быть последователем мудрейшего из учений, которое двух умных людей всегда делает союзниками.

Потемкин отпустил Середовича и молча его подтолкнул.

Середович выступил столь же важно, как некогда в Лейпциге, когда, наряженный в доспехи бюргермейстера Романуса, он должен был поразить воображение русских студентов.

— Знаешь ты этого человека? — указывая на маркиза, сказал Потемкин. — Где и когда ты его видал?

— Я видал их в немецком городе Лейпциге, — испуганно пробормотал Середович, — они были парикмахером и букли налаживали русским барчатам — Мишеньке Ушакову, Радищеву и прочим, что сданы были немцам в ученье.

Чувствуя себя под защитой светлейшего, Середович вдруг озлился, шагнул к де Муши и, выдыхая на него сивушные пары, выпалил:

— А ну-ка, припомни Базилия, Морис!

— Это сумасшедший, ваша светлость... И почему вы мне с ним делаете очную ставку? — обиженно вымолвил де Муши и залился краской гнева. — Прикажите его убрать.

Потемкин, не моргнув, продолжал допрос Середовича:

— Еще под каким именем и званием помнишь ты этого человека?

— А еще парикмахером хаживали они к барину Елагину. А меня, ровно пса, держал он на привязи и кликал, как суку, Базилью. И доносить мне ему было приказано, куда ни посылал с пакетами. Вина пить давал мне паскудного, а чтоб водки... ни-ни. В светлое воскресенье не дал! — с проснувшейся обидой закончил Середович.

— Я не знаю этого сумасшедшего, — сказал холодно де Муши. — Прошу вашу светлость избавить меня от него.

— Я не только смею себе позволить, я за священный долг почитаю, — поднял голос Потемкин, — рассеивать в глазах моей повелительницы и царицы всякий дурман, который темные людишки пытаются напустить. Вы, сударь, как недавний гишпанский якобы полковник Калиостро, являетесь для самодержавной власти подозрительны. А посему разговор будете вы иметь с вами же самими в подобных сумнительных случаях рекомендуемым кнутобойцей Шешковским.

— Вы не имеете права! — воскликнул де Муши. — Вы ответите перед Францией! Наконец, я требую аудиенции у императрицы!

— Едва ли с тем, чтобы убедить ее в чистоте ваших намерений, не правда ли? — сказала, выходя из-за портьеры, Екатерина. — Вы только что сделали мне инсинуацию на некоего куафера-масона из ложи Елагина. Выходит, тот куафер — вы сами. Зная про это, я только сделала вам проверку.

Середович повалился на колени, накрыв голову руками, и остался так лежать, как пораженный молнией. А де Муши, вполне владея собой, вымолвил:

— Если бы ваше величество когда-либо заинтересовались моими полномочиями по делам нашего ордена, я бы давно имел честь вам сделать подробный доклад о том, что именно заставляло меня, как калифа Гарун-аль-Рашида, подчас изменять мой внешний вид. Во всяком случае будьте уверены, ваше величество, мое поведение не содержит чего-либо враждебного государству вашему, которое нас, повсюду изгнанных, благосклонно приютило, а ваше величество осыпали милостями.

Екатерина сказала резко, не смягчаясь лестью маркиза:

— Как объясните вы только что бывший у нас с вами разговор, где вы самого себя определили иллюминатом и нашли полезным отправить для допроса к Шешковскому?

— Постараюсь, ваше величество, — улыбнулся де Муши и, с плавным жестом повернувшись в сторону Потемкина, иронически продолжал: — Его светлость с вами дольше знакомы и стоит к вам ближе, чем я. Быть может, он лучше меня объяснит эту нашу непостижимую жажду сохранить свою мужскую независимость, порою даже утайкою истины. На днях, если припомните, ваше величество, на ваш вопрос, хотел бы его светлость быть герцогом курляндским или новым господарем нового государства Дакийского, его светлость ответил, что он слишком для власти ленив. Между тем, смею вас уверить, всю ночь перед тем его светлость вместе со мной обсуждал, покуривая отличный турецкий кальян, как было бы ему к лицу стать ханом крымским! — Де Муши весело и дерзко глянул в гневное и смущенное лицо Потемкина. — Ваша светлость, неужели вы станете отрицать, что во всех подробностях прикидывали своеобразные взаимоотношения, которые должны будут у вас возникнуть с ее величеством и с империей, от которой вам в конце концов придется отложиться?

Екатерина молча смотрела на Потемкина. Ей слишком давно и усердно его враги нашептывали о том, что он метит забрать под себя южные земли и Крым, и она поняла, что маркиз сказал правду.

Потемкин с надменной улыбкой выдавил сквозь зубы:

— Был спьяну и такой разговор. Предлагаю вашему величеству делать выводы.

Екатерина коварно помедлила, карая светлейшего за нескромную болтовню, однако, решительно уничтожая предвкушаемый триумф де Муши, сказала с гордым достоинством:

— Выводы мной давно сделаны: светлейший князь Потемкин — бесспорный и лучший защитник империи. Он вне подозрений, он может позволить себе шутить, как ему будет угодно.

Повернувшись в сторону де Муши, Екатерина сказала:

— Король польский, с которым вы имели честь приехать, уже отбыл. К вашим услугам могут быть тоже предоставлены все способы передвижения.

Де Муши откланялся и вышел.

Середович во все время разговора продолжал стоять на коленях. Потемкин вдруг его заметил и крикнул:

— Не спать тебе тут!

— Как уснуть, ваша светлость, коли само солнце взошло! — сказал лукавый Середович, подымаясь с колен и вновь земно кланяясь Екатерине. — Прости меня, дурака, ваше величество!

— Простите его, матушка, — попросил и Потемкин, — да прикажите вернуться восвояси. Он в дядьках состоит при мальчиках дворянина Радищева. На побывку к себе на родину было съездил, да вот и наглупил.

— Как ты попал ко мне на галеру? И зачем? — спросила Екатерина.

— Вот те крест, матушка, только затем, чтобы светлые очи твои поглядеть, — кланялся Середович. — А как зашиб маленько, впал, значит, в кураж. Отличиться пред тобой захотелось, такое особливое вымолвить, чтобы ты запомнила.

— Молчи лучше! — прикрикнул Потемкин. — Дурак он совсем, ваше величество, уж отпустите его.

— Иди, иди! — слегка взмахнула табакеркой Екатерина, и Середович, все кланяясь, попятился к двери. А там, давай бог ноги, к старшему повару. Схватил свой узелок — и прямехонько на почтовый двор, чтобы при каком ни на есть седоке скорей вон отсюда.

— Я думаю, — сказала Потемкину Екатерина, — все эти маркизовы маскарады — его персональные иезуитские дела. Опасности для империи от него я не вижу. А вам, Гришенька, мой совет: шутить шутки можно, только выбирать надлежит, с кем.

И Потемкин понял, что самолюбие матушки было весьма задето предательством де Муши и когда-нибудь эту его неуместную болтовню она ему припомнит.

Екатерина так торопилась на свидание с Иосифом, что, не дождавшись его приезда, сама отправилась ему навстречу.

В степи никакого на парадный случай приготовленного жилища не было, даже Потемкин всех капризов императрицы предвидеть не смог. Очень сердитый, он придумал устроить остановку в обыкновенной казацкой хате, какая попалась ему на пути. Если не удалась торжественность, надо было сыграть на деревенской идиллии. Он затеял игру: принц Нассау-Зиген, граф Браницкий и сам он, светлейший, превратились добровольно в поваров и, приспособив себе фартуки, засучив рукава, изготовили из дорожных припасов обед на самих себя и двух августейших особ. Екатерина решила, что это должно почитаться весьма оригинальной и веселой забавой. Ей подыгрывали все придворные...

Однако злословный Иосиф написал домой, что только остроумие принца де Линя и любезность Сегюра сглаживают ему весь ужас и все неудобства путешествия, которое поистине есть адово мученье. Когда императора привезли к галерам на Днепре, поднялась суматоха. По громоздкости галерам было трудно приставать к берегу. Нужно было массу народа и багажа отправить сухим путем. Кареты и повозки ломались, багаж лежал в степи, погода же, как нарочно, стояла холодная. В Кайданах, записали очевидцы, где ради шествия императрицы выстроен был новый роскошный дворец, провели вечер в зимней одежде перед затопленным камином.

Екатерина привезла, наконец, императора к тому месту, где была назначена закладка нового города, в ее честь окрещенного — Екатеринослав. На берегу Днепра соорудили походную церковь, отслужили молебен, приступили к закладке собора, насчет которого Потемкин отдал бахвальный приказ архитектору:

— Пусти-ка, братец, на аршинчик длиннее, чем собор Петра в Риме!

А император Иосиф, иронически ухмыльнувшись, шепнул своим приближенным:

— Я полагаю, что императрица положила первый камень сего грандиозного здания, а я камень второй и... последний.

Иосиф оказался пророком: хотя фундамент собора обошелся государству около миллиона, но постройка дальше этого первого великолепия закладки, по случаю вспыхнувшей войны с турками, не пошла.

Шествие Екатерины по наместничеству Потемкина протекало чем далее, тем блистательней.

В Херсоне, куда она въехала уже вместе с императором австрийским, народ отпряг коней ее экипажа и на себе повез ее в город, где на банкете Потемкин торжественно заверил, что сей юный Херсон, возмужав, превратится во второй Амстердам. Чтобы завязать торговые сношения с империей, приехал посланник неаполитанский, из Константинополя — интернунций императора и русский уполномоченный Турции Булгаков.

Все было торжественно, все великолепно. Безбородко в своем имении вблизи города дал грандиозный бал.

Тем дерзновеннее показалось внезапное, как гром в безоблачном небе, появление в устье Днепра турецкой эскадры. Она возникла как грозное предупреждение, безмолвная, упорная, преграждая дальнейший триумфальный путь. К великому конфузу Екатерины, пришлось отказаться от уже объявленного иностранным гостям путешествия в Кинбурн.

По дороге в Бахчисарай изобретательность Потемкина несколько рассеяла неприятность от нарушенного праздника шествия.

Тысяча вооруженных всадников на богато убранных конях стремительно окружила императорский кортеж. Это была подобранная Потемкиным парадная стража из татар. Они были столь дико воинственны, что принц де Линь не преминул сострить:

— Сей татарский почет весьма страшен! Что сказала бы Европа, если бы вдруг эти вчерашние свободные, сейчас верноподданные, насильно отвели в гавань императора и царицу и, увезя их в Константинополь, не моргнув, подарили бы султану?!

— И главное — таковой поступок даже нельзя было бы назвать преступлением, — подхватил другой, не менее ядовитый француз, — он был бы только отплатой за вероломство этих двух государей, которые похитили их страну.

Екатерина торжествовала, что Потемкин столь смело и наглядно устроил перед иностранцами сей маскарад, который выказывал расположение Крыма к его захватившей империи.

Но татарский парад проведен был с предварительным и строгим отбором. Посему самых именитых татар Екатерина пригласила обедать и одарила их вновь напечатанным изданием Алькорана. В кругу придворных она острила, смеясь:

— Сей Алькоран не для распространения магометанства, но токмо для приманки моих свежеприобретенных магометан на уду.

Храповицкий в своих записках очень осторожно отметил, что император австрийский, посланники Англии и Франции и сам фаворит Мамонов «сих упований на верность татарскую не разделяют».

Сменялись еще и еще города, щеголяли одно перед другими пиршества среди великолепия природы юга...

Наконец роскошно обедали на балконе, задрапированном громадной театральной завесой. Во время обеда завесу раздвинули, и севастопольская гавань предстала в своем великолепии, с военными кораблями, с множеством мелких судов. Палили из пушек. Екатерина подымала бокал за здоровье Иосифа. Австрийский император давал клятву, что севастопольский порт — наипрекраснейший в целом мире.

И не рассерди Потемкин иронического Иосифа, быть может он еще бы надолго утаил свои истинные впечатления от всего им увиденного.

Но светлейшему, как это с ним часто бывало, вдруг сумасбродно захотелось показать императору своих, как утверждал он, «нигде не виданных, сказочных коз». Потемкин для этого каприза соорудил чрезвычайную поездку высоко в горы по мерзейшим дорогам, и все только для того, чтобы вывести напоказ своим августейшим гостям грязных длинношерстых, давно всем известных ангорок.

Этот нелепый по дерзости, невыгодный для него поступок был Потемкину как глоток свежего воздуха в духоте. Его речь засверкала таким остроумием и любезностью, что Екатерина еще раз простила сего капризного баловня и в отличном расположении духа уже поздней ночью водворилась на ночевку в Бахчисарай.

Но император Иосиф был чрезвычайно зол на Потемкина. Его растрясло до расстройства желудка, на него напала бессонница. Проклиная день и час, когда

его понесло в эту варварскую страну с непроходимыми дорогами и сумасбродством фаворитов, он стал писать письма, не предназначенные для перлюстрации, своему министру Кауницу и фельдмаршалу Ласи.

Он писал о крупных промахах, сделанных Потемкиным в управлении краем:

«Он умеет лучше начинать, чем кончать. Во всем сделанном больше эффекта, чем внутренней цены. Впрочем, так как здесь никаким образом не щадят ни денег, ни людей, все может казаться нетрудным. Владелец рабов приказывает — рабы исполняют. За работу им вовсе не платят или платят мало. Их кормят плохо. Они не жалуются. И я знаю, что в продолжение этих трех лет в этих вновь приобретенных губерниях вследствие утомления и вредного климата болотистых мест умерло пятьдесят тысяч человек.

В Екатеринославе мы видели город, который никогда не будет обитаем. Место выбрано для него безводное. Херсон окружен опасною болотистою атмосферою. Крым лишился двух третей своего населения... После отъезда императрицы все чудеса исчезнут. Настоящая администрация, требующая постоянства, не согласуется с характером Потемкина».

В конце концов Иосиф аттестовал все путешествие в южный край таким словом: «галлюцинация».

## *Глава семнадцатая*

Сколько ни старались газеты разъяснить «путешествие ее величества в полуденные страны» как обычную материнскую рачительность о стране, никто дома, ни тем более за границей, невинности сего длительного пикника не поверил.

Для всех было ясно, что Екатерина ездила для ревизии приготовлений светлейшего к войне. То-то целью путешествия был Херсон, который почитался важным военным портом, а также Севастополь, где строился флот.

И всем непонятна была дипломатия Потемкина: отлично понимая, что для окончательного укрепления новых гаваней и намеченного пополнения флота нужно по крайней мере года два мирной жизни, он, вместо того

чтобы тонкостью обхождения усыпить обострившуюся подозрительность турок, сам их толкал на разрыв. Ни с чем не считаясь, Потемкин настаивал, что цель России — господство на Черном море, а турки с негодованием кричали: пока Крым в руках русских, Турцию можно сравнить с домом без дверей, в который каждую минуту войти могут воры!

Тщетно русские сановники с князем Щербатовым во главе настаивали на скромности русской политики, подчеркивая неподготовленность к войне. Булгаков, русский посол, вернувшись в Константинополь, обратился к Порте, по наущению Потемкина, с самыми резкими требованиями. В ответ на заносчивость русского посла вышедшие из терпения турки без всякой проволочки тут же на заседании Дивана объявили войну России, а самого Булгакова, осыпав упреками и руганью, засадили в Семибашенный замок. Турция потребовала возвращения Крыма.

Принц де Линь записал в своем дневнике, что императрица, утверждая свою уверенность в успехе русских войск и победе, на самом деле была сильно обеспокоена. В день подписания манифеста двенадцатого сентября Храповицкий в свою очередь записал выразительно и кратко:

«Плакали».

Потемкин внезапно упал духом. Неоднократно выражая словесно и в письмах императрице, что «весьма нужно протянуть два года, ибо война прервет построение флота», он сам эту войну вызвал. Растерянность и отчаяние повергли его в жестокую гипохондрию. Екатерина из Петербурга сама начала руководить кампанией, побуждая возможно скорей переходить к действиям наступательным.

Гарновский, доверенный человек Потемкина, писал ему, что все его враги подняли голову и, так как они почитают одного светлейшего виновником нежеланной войны, то, замыслив против него «маленькое шиканство», уже чинят препятствия к новому набору рекрутов.

Императрица приказала наладить отменно скорее сообщение между столицей и ставкой Потемкина. Для курьеров на каждой станции стояло по двенадцати лошадей. Но светлейший с донесениями медлил и в пол-

ном расстройстве чувств умолял разрешить ему оставить пост главнокомандующего, приехать в Петербург, «удалиться в частную жизнь, скрыться...»

Екатерина вспыхнула, написала резкое письмо, которое начиналось словами:

«Я полагаю, что в военное время фельдмаршалу надлежит при армии находиться».

От посылки подобного письма удержал Екатерину Мамонов, фаворит, всем обязанный Потемкину. Он продолжал верить в его таланты и удачу, упадок духа считал временным, убеждал в том же и матушку.

Наконец Потемкин, решась на встречу с турками в море, приказал контр-адмиралу Войновичу собрать флот и «произвести дело». Он потребовал в своем ордере атаковать флот турецкий, где бы его ни завидели, и во что бы то ни стало, хотя бы всем пропасть, но «должно показать свою неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля».

Но фортуна решительно Потемкину изменила. Корабли застигнуты были страшной бурей, неистовствовавшей несколько дней, и детище его — флот севастопольский был разметан и поврежден.

Потемкин писал Екатерине:

«Матушка... корабли и большие фрегаты пропали, бог бьет, а не турки. Ей, я почти мертв, я все милости и имение, которое получил от щедрот ваших, повергаю к стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, не продолжится».

Екатерина отвечала в перепуге:

«Ради бога, не пущайся на сии мысли: когда кто сидит на коне, тот да не сойдет с оного, чтобы держаться за хвост».

В Петербурге шла борьба между сторонниками Потемкина и Румянцева. В совете говорили о том, что светлейший погорячился, дав флоту повеление выступать в море по такому времени, когда суда к выходу не способны. Слухи подхватывал город. Шептались всё громче, что звезда «князя тьмы» закатилась, что императрица его вызывает из армии и все командование вручено будет Румянцеву, под которым сейчас числится одна украинская армия.

Слухи были неправильны. Екатерина, верная своему самолюбию, с упрямой гордостью говорила:

— Честь моя и собственная княжья требует, чтобы он не удалялся в нынешнем году от армии, не сделав какого-нибудь славного дела... Хотя бы Очаков взяли! Ведь должно мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея к князю неограниченную во всех делах доверенность, в выборе моем не ошиблась.

Но Потемкин собственной карьерой уже не дорожил. Он написал Румянцеву после разбития флота столь отчаянное письмо, что враги его, во главе с Завадовским, немало издевались, торжествуя его унижение. Опять Мамонов довел до сведения Попова, секретаря Потемкина, все злые интриги, умоляя князя чувствительность обличающие, откровенные письма никому не писать, ибо здесь придворные таковы, что «великости духа» его цены не знают и только злодействуют его светлости. Любя князя как отца, остерегал его Мамонов от переписки, служащей токмо забавой врагам его.

Потемкину особливым препятствием собрать в твердости свои силы было присутствие в войске Суворова. Еще в самом начале войны с турками светлейшим было сделано распоряжение всему генералитету, кому в какой армии быть и какими частями командовать. Суворова он никуда не поместил. Все думали, что произошло сие потому, что Потемкин почитал Суворова, по причине его постоянного на людях юродства, кукуреканья и ужимок, хитроватым, но незначительным полководцем.

На самом же деле Потемкин знал раньше других, что этот небольшого роста, худой, болезненный и необыкновенный человек есть гений военный.

Екатерина была недовольна обходом Суворова. Потемкин в его лице пренебрег генералом, который первый въехал в Берлин при Фридрихе и уже прославлен был в прошлой турецкой кампании. По сему случаю светлейший получил реприманд.

Но, предупрежденный своими искателями, Потемкин умело ответил Екатерине: он лишь потому Суворова пропустил, что, зная ему высокую оценку свыше, полагал предоставить ее величеству дать назначение сему храброму генерал-аншефу из собственных рук.

Составлены были по объявлении войны две армии: украинская, под командою фельдмаршала Румянцева, вторая — екатеринославская, под командою Потемкина. Ему надлежало с наступающей кампанией атаковать Очаков. Генерал же аншеф Суворов стал командовать в Кинбурне.

В Суворове все было противоположность Потемкину, все ему кололо глаза, все было живой упрек. Суворов уничтожал его.

Насколько Потемкин был грузен, тяжел, полон диких страстей и капризов, столь, обратно ему, был ничуть не наполнен самим собой Суворов.

Потемкин ходил тяжко, как монумент. Суворов подлетывал, легкий и маленький. Солдату был он вправду отец, готовый с ним разделить и ужин от котла и пасть рядом в бою.

Потемкин гордился тем, что облегчил войскам амуницию и заботился об их нуждах, но солдат перед ним пугливо тянулся, робел и, рискуя свернуть шею, «ел глазами».

Суворова солдаты любили как ближайшего, а он верил всем сердцем в великие доблести каждого рядового, знал его лично и в походе был с армией неразделен.

Потемкин заботился о солдате, как умный барин о крепостном, чтобы тот на него же лучше работал. Суворов, едва появился, вселил в армию весь свой побеждающий, веселый, уверенный дух. Он не снизошел к солдату — он чудесным образом в нем растворился. Суворов был русский человек, не боявшийся смерти, не разъедаемый супротивными мыслями, сейчас знающий только одно: ему со своими солдатами надлежит победить турок, и он их победит.

Первой удачей этой войны, вызванной Потемкиным и сейчас его удручавшей до потери всех стратегических способностей, явилась победа Суворова под Кинбурном.

Положение русских войск было весьма опасно потому, что турки получали подкрепления от своего флота, и все же Суворов, верный собственной тактике, нежданно и стремительно на них напал. В сумерках он был ранен в плечо, потерял много крови, ослабел. Приказал казачьему старшине Кутейникову дотащить себя до моря, там промыть рану морской водой и перевязать

шейным платком. Потом опять сел на коня, возвратился командовать и прогнал турок из-под Кинбурна.

Эта первая победа была важна не только потому, что подняла дух войска, обессиленного примером нескрываемой гипохондрии Потемкина и его бездельной нерешимостью. Победа под Кинбурном разбила все планы турецкого командования. Если бы туркам посчастливилось взять Кинбурн, им легко было бы напасть на Херсон и Крым и истребить русскую флотилию.

Армия ободрилась. Солдаты, утомленные бездействием, рвались в бой. Екатерина потребовала от Потемкина осады Очакова; он хмуро ей отвечал:

«Если б следовало мне только жертвовать собой, то будьте уверены, что я не замешкаюсь и минуты, но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает идти верным шагом...»

Потемкин зло намекал на рискованную тактику Суворова, забывая о том, что она была неизменно победной. Эта тактика отнесена могла быть не к сумасбродству сего генерал-аншефа, а лишь к его гениальности.

Потемкин поехал в Херсон осматривать галерный флот и, будучи в лимане, намеренно, как бы в подтверждение своих слов о презрении опасности личной, помальчишески подошел близко к Очаковской крепости, так что шлюпка его оказалась под турецкими пулями.

Преувеличенными слухами, злыми сплетнями долетали мельчайшие события в Петербург, вызывая против светлейшего негодование лучших людей за его бездеятельность военачальника и капризы персональные.

Цесаревич Павел был зол на Потемкина, приписывая ему запрещение матери ехать в армию, Вяземский жаловался, что Потемкин перебрал уже уйму денег, а не видно, куда...

Александр Романович Воронцов открыто заявил, что на месте государыни он не только армию, самого Потемкина вручил бы распоряжению Румянцева, коль скоро светлейший собственную умную волю утратил: «С какой стати такому повиноваться, что, люди — чучелы, что ли?!»

Потемкин отправил для разведывания о неприятельском флоте капитана Сакена. В своей дубль-шлюпке сей капитан замечен был четырьмя турецкими галерами

и был ими преследуем. Видя, что дело плохо и что ему несдобровать, Сакен зашел в устье Буга, высадил свой экипаж на берег, а сам спустился в крюйт-камеру.

Едва турки, почитая шлюпку пустой, вошли на палубу, как Сакен произвел посредством зажженного фитиля взрыв.

Дубль-шлюпка взлетела на воздух и вместе с ней четыре турецких галеры со всем экипажем.

Русский флот заставил флот турецкий оставить Очаков. Теперь бы и двинуть осаду Очакова, но Потемкин попрежнему все оттягивал и бездействовал. Он горько и злобно завидовал великолепной и быстрой кончине славного Сакена, завидовал еще более победительной воле Суворова.

Однажды, при вылазке, Суворов на свой страх завязал большое дело. Батальон за батальоном он отправлял взять сады, прилежащие к крепости, так что весь левый фланг вступил вскоре в бой.

Еще весной Суворов предлагал Потемкину штурмовать Очаков и сам брался исполнить это дело. Потемкин отклонил, говоря, что сия попытка может только повредить.

Сейчас удачным движением Суворов решил либо насильно вовлечь Потемкина за собою на штурм, либо одному со своим корпусом прорваться в крепость.

Но Потемкин из тщеславия не желал следовать примеру Суворова уже потому только, что если б взяли Очаков сейчас, это бы только послужило к возвышению Суворова за его счет.

— Он один себе хочет все заграбить! — гневно вырвалось у Потемкина, и немедленно он повернул дело так, что Суворов достоин кары за то, что вышел из субординации.

Суворов, раненный в руку, сидел на камне, санитар ему делал, из чего пришлось, первую перевязку. На коне подлетел дежурный генерал прямо от Потемкина и, еще полный отражением его начальнического гнева, задал грозный вопрос Суворову о том, как мог он без приказа свыше завязать с турками дело.

— Завязал дело? — ухмыльнулся Суворов. — Да, чай, крепость не погляденьем берут!

Генерал протянул Суворову записку Потемкина, полную упреков:

«...странно, что мои подчиненные распоряжаются движением войска, даже не уведомляя меня о том».

Суворов прочел с трудом записку светлейшего, от крайнего волнения написанную неразборчивым, судорожным почерком. Он глянул через плечо на дежурного генерала необыкновенно ясными, веселыми глазами и пропел тоненько свой ответ:

— Я на камушке сижу... да на Очаков все гляжу.

Суворов присвистнул столь выразительно, что улыбнулся сочувственно против воли дежурный генерал и вовсе прыснул делавший перевязку санитар, поняв намек на бездействие Потемкина.

Подобно Суворову, все командиры и рядовые отлично понимали, что оттяжка атаки Очакова поведет только к большому кровопролитию и потерям от болезней. Надвигалась зима.

Принц Нассау писал Сегюру из Варшавы, подтверждая как очевидец, что действительно Очаков легко можно было взять, как того и хотел Суворов, когда гарнизон в крепости не превышал четырех тысяч солдат. Между тем осадные работы начались только осенью. Турки возросли в количестве и столь многому обучились, что сам Потемкин про них говорил:

— Не тѐ турки, не те... и черт их научил!

Непостижимая апатия связала его способности военачальника.

Он непристойно сибаритствовал и либо занимался делами столь посторонними военным, как, например, перевод с французского истории церкви аббата Флери, либо, чтобы забыть свою тоску, предавался роскошным пирам, что давало повод принцу де Линю острить:

— Светлейшего от наступления задерживает превкусная здешняя рыба, до коей он великий охотник!

Адъютант Потемкина, высокого роста, пригожий собой, аккуратный, ограниченный человек, записывал за ним в своем дневнике:

«В один день спросил светлейший кофею; из бывших тут один вышел приказать. Вскоре спросил опять кофею, и еще один поспешил выйти приказать. Почти все по одному вышли по его нетерпеливому желанию.

Но как скоро принесли кофей, то князь сказал: «Не надобно! Вот хотел я чего-нибудь ожидать, но и тут лишили меня сего удовольствия».

Еще была крайне недоумевающая запись в дневнике адъютанта об одном происшествии под осажденным Очаковом, в самом виду неприятеля:

«Вдруг светлейший вспомнил, что некто ему рассказал, будто капитан, живущий в Москве, в отставке, по фамилии Спечинский, знает наизусть все святцы. Тотчас он послал за ним. Тот, получивши от светлейшего князя приглашение, подумал, что как без Ахиллеса не могла быть взята Троя, так и без него не может быть взят Очаков. С восторгом принял он тот зов и при отъезде из Москвы обещал многим свою протекцию и разные милости. Когда он явился к его светлости, то князь спросил его: 13 января какого святого? Тот ему отвечал. Князь справился со святцами. А 10 февраля? Потом спросил по одному числу в каждом месяце.

— Какая счастливая у вас память! Благодарю, что вы потрудились приехать, можете отправляться в Москву, когда вам будет угодно!»

Льстецы наперебой старались потакать всем причудам светлейшего, полагая усердием разогнать его гипохондрию, которую почитали, как у капризной бабы, без глубоких причин. Обо всем том записывал ровными строчками неугомонный адъютант:

«В один день князь сел за ужин, был весел, любезен, говорил и шутил беспрестанно, но к концу ужина стал задумываться, начал грызть ногти, что всегда было знаком неудовольствия, и, наконец, сказал:

— Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнялись как будто каким очарованием...

Вдруг светлейший ударил фарфоровой тарелкой об пол, разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся».

Окружающим его поведение казалось лишенным причины и смысла сумасбродством. Но если смысла действительно было не много, причины его настроения были глубоки: грызущее недовольство собой и досада на фортуну, его избаловавшую до такой самоуверенности, что он ослеп, раздразнил не во-время турка и вот сейчас по его

милости надо зря резать войско. И нет у него права и силы Суворова вести людей в бой...

Иностранцы все разъехались, возмущенные медлительностью Потемкина и ужасными условиями холодной зимы. Армия теряла боевую силу, солдаты погибали от болезней, которые были смертоносны, ибо люди голодали. Год оказался неурожайным, и провианту вдоволь не добыли. Лазутчики доносили смехотворные вести: сам-де очаковский трехбунчужный паша дивуется, что его крепость не берут, когда гарнизон его, попавший в те же гибельные условия этой зимы, уже трижды бунтовал...

Потемкин делал вздорные операции, почему-то ждал, что очаковские турки нападут на армию из-за Буга, и только пятого декабря, когда дежурный генерал объявил, что топлива больше нет, когда обер-провиантмейстер представил реляцию, что хлеба для армии хватит только на сегодняшний день, Потемкин нехотя отдал приказ на штурм крепости. Он обещал солдатам все, что найдут в Очакове, даже пушки и казну.

Шестого декабря начался ужасный кровопролитный бой, продолжавшийся три дня. Потемкина видели сидящим на батарее, охватив голову руками. Он твердил в полном расстройстве чувств одно: «Господи помилуй... помилуй».

Наконец с огромными потерями русские взяли крепость и предались разрешенному свыше грабежу. Добыча была велика, на долю Потемкина достался изумруд величиною с яйцо, который он предназначил для Екатерины.

После взятия Очакова Потемкин несколько воспрянул духом, особливо после того, как получил письмо Булгакова, выпущенного из заключения в Семибашенном замке. В письме были строки:

«Взятие Очакова привело здесь не только турок вообще, но и известных наших врагов и завистников в крайнюю робость. Султан, совет, большие бороды — плачут: все желают мира».

Потемкин поехал в Херсон для распоряжений по части кораблестроения и затем двинулся в Петербург.

Екатерина, почитая честь светлейшего со своею сопряженной нераздельно, готовила ему, победителю Очакова, торжественную встречу. Приказано было в Царском Селе иллюминировать мраморные ворота и, украся военными

и морскими атрибутами, написать на транспарантах стихи, кои выбрать сама изволила из оды «На Очаков» Петрова. Наверху было начертано в окружении лаврового венка: «Ты в плесках внидешь в храм Софии», и затем собственные императрицы якобы пророчествующие слова: «Он (то есть Потемкин) будет в нынешнем году в Царьграде: о том только не вдруг мне скажите».

Подметили придворные, что враг светлейшего, Завадовский, при цитации оных надписей в его присутствии «плечами ужимал, сумнительно главой покивавше».

Потемкин ехал в столицу злой и расстроенный. Он останавливался в Харькове и в Могилеве весьма недолго. Современники закрепили его портрет в мемуарах.

В Харькове ожидали князя в собор на торжественную службу, он пришел под шапочный разбор, в самом конце: «остановился не на приготовленном для него седалище под балдахином, а с правой стороны амвона, посреди церкви, взглянул вверх, во все четыре конца.

— Церковь недурна, — сказал он вслух губернатору, вслед за тем одною рукою взял из кармана и нюхнул табаку, другою вынул что-то из другого кармана, бросил в рот и жевал; царские врата отворились, он вернулся в экипаж и уехал. Был он с ног до головы в таком виде: в бархатных широких сапогах, в венгерке, крытой малиновым бархатом, с собольей опушкой, в большой, сверх того, шубе из черного меха, крытой шелковой материей, с белой шалью около шеи, с лицом, повидимому неумытым, белым и полным, но более бледным, чем свежим, с растрепанными волосами на голове; показался мне Голиафом».

Другой современник рассказывает о пребывании Потемкина в Могилеве:

«В день его приезда все власти собрались в дом губернатора и ожидали тут прибытия князя. Целый день звонили в колокола, и жители города вышли на шкловскую дорогу, по которой он должен был приехать, предшествуемый городскими знаменами... Около семи часов перед губернаторским домом остановились его сани. Из них вышел высокого роста и чрезвычайно красивый человек с одним глазом. Он был в халате, и его длинные нерасчесанные волосы, висевшие в беспорядке по лицу и плечам, доказывали, что человек этот меньше

всего заботится о своем туалете. Маленький беспорядок, происшедший в его одежде при выходе из саней, доказал всем присутствующим, что он забыл облачить ту часть одежды, которую считают необходимой принадлежностью костюма: он обходился без нее во время пребывания в Могилеве и даже при приеме дам.

Будучи ростом в пять фут и десять дюймов, этот красавец брюнет имел лет около пятидесяти. Лицо его само по себе довольно кроткое, но когда, сидя за столом, он смотрит рассеянно на окружающих и, занятый в то же время какою-нибудь неприятною мыслью, склонит голову на руку, подперев ею нижнюю челюсть, и в этой позе не перестает смотреть своим единственным глазом на все окружающее, тогда сжатая нижняя часть его лица придает ему отвратительное, зверское выражение.

Во время трехдневного пребывания в Могилеве он не покидал своего халата даже на данном в его честь балу.

Длинные и короткие приветствия, речи, стихи, в честь его написанные, он принимал одним и тем же маловыразительным кивком головы.

И в губернаторской зале не открывал рта для беседы, сидел, опустив голову на руку, подымая ее только для того, чтобы проглотить большой стакан особо приготовленного, им любимого кваса — кислые щи, которого выпивал он до пятнадцати бутылок в день».

В таком же странном настроении был Потемкин и в столице, куда прибыл четвертого февраля.

Весь город был у него на поздравлении с победой, а ему это казалось оскорблением. Он страдал бессонницей. Едва закрывал глаза, ему мерещился маленький Суворов, раненный под Кинбурном, которому казак Кутейников промывает рану у моря морской водой, перевязывает чем ни попало, и снова Суворов на коне, снова ранен, но уже за узду сам держит лошадь, вот вскочит, вот умчится брать Очаков. А ему, Потемкину, подмигнув, кричит «ку-ка-ре-ку!» Или мерещился капитан Сакен, о коем он столь много думал, столь завидовал его великолепной, удачной кончине. Все здешние похвалы, лесть, иллюминацию он просто презирал...

Потемкин получил от Екатерины щедрые награды: медаль в честь взятия Очакова, похвальную грамоту и сто тысяч деньгами на достройку дома.

Екатерина была очень счастлива очаковской победой, главное тем, что исключительное положение при ней Потемкина получило опять свое оправдание в его превосходных качествах государственного человека и военачальника. Так она упрямо хотела думать, так сейчас на каждом шагу подчеркивала.

— Ко мне снова вернулся былой курцгалоп... — любила она повторять в эти дни недолгого пребывания светлейшего в столице. Хотела хоть временно забыть все неудачи на юге и внезапную войну с Швецией, которая тоже оказалась не столь-то легкой, как она было думала. Хотелось отдыха и отрады и в долгих беседах со светлейшим намечала, как привести в исполнение заветную мечту свою — греческий проект.

Надуман он был давно, еще когда у Павла родился второй сын, не без особого значения нареченный Константином, к нему нанята кормилица гречанка Елена, и на празднестве в честь него сам Потемкин читал греческие стихи, а медаль была выбита с изображением храма св. Софии и Черного моря, осененным звездой.

Славяне от новой войны с турками зашевелились на Балканах и вместе с греками стали помышлять о свободе от турок. Только сейчас, наедине с Потемкиным, разрешила себе Екатерина пережить все угрожающее положение империи, которое могло бы произойти, не вывези ее и на этот раз тот изумительный «счастливый случай», который, по мнению Вольтера, один и был разгадкой всех ее удач. Ведь она намеревалась послать, едва началась война с турками, все корабли с севера в Средиземное море. Большой запас оружия уже дан был славянам, огромные суммы ассигнованы грекам, бывшим на турецкой службе, для подкупа турок. По счастию, Англия задержала осуществление этой победы. К Англии же обратились потому, что не хватило судов транспорта.

Пока шли переговоры с англичанами, шведы открыли военные действия. По своим политическим соображениям они вдруг почли выгодным вспомнить, что когда-то у них с Турцией против России было сделано соглашение.

В который раз спасла Екатерину ее счастливая звезда; ведь если бы она успела флот услать в Среди-

земное море, шведы голыми руками взяли бы Петербург. Но готовые к отплытию корабли вместо рейса на юг пошли к северу против шведов.

Густав Третий с начала турецкой войны сблизился с турками и благодаря французским субсидиям привел свое войско в отличное состояние. Он учел верно, что западные державы, которым не на руку победы России, его косвенно сейчас поддержат и дадут ему возможность победой укрепить свое сомнительное положение в Швеции. Власть его была не слишком тверда, ибо он восстановил против себя весь государственный совет.

Согласно шведской конституции, Густав не имел права самовольно начинать войну, и для Екатерины было немалым потрясением узнать, что он вышел в море и предполагает атаковать Карльскрону.

Она старалась перед лицом истории отнестись презрительно к «эскападе шведа», произнеся перед теми, кому надлежало услышать и услышанное распространить: «Я шведа не атакую, он же выйдет смешон...»

Но Храповицкий досмотрел истину и неукоснительно записал:

«Не веселы».

До чего положение было опасное с неудачами на юге, с внезапной атакой шведа, могли во всей силе Екатерина и Потемкин позволить себе понять только сейчас. Любуясь огромным изумрудом, поднесенным ей светлейшим из очаковской сокровищницы, Екатерина, понизив голос, хотя была наедине со своим скифом, как в давние месяцы их любви, говорила ему о планах Густава, узнанных при помощи перлюстрации его писем в Варшаве.

Густав имел намерение захватить Эстляндию, Лифляндию и Курляндию и стремительно двинуться на Петербург, чтобы продиктовать ей, императрице, свои условия мира.

И она с гордостью раскрыла Потемкину, как она еще раз удержала на высоте свою коронованную судьбу при помощи все того же испытанного оружия — дипломатии.

— По моему слабому соображению, — кокетливо говорила Екатерина, вдруг помолодевшая, почти попрежнему прекрасная, в новом расшитом шелками халате, привезенном ей Потемкиным в дар из добычи турецкого гарема, — я приказала послу нашему в Швеции Разумов-

скому написать тотчас по объявлении войны во многих газетах заверение от имени России, что она со Швецией ничего не желает иметь, кроме мира. Таким образом весь ответ за нежелательную для народа войну, притом же начатую незаконно, без одобрения и разрешения государственных чинов, я переложила на одного короля Густава. Этот шут потерял последний смысл, — презрительно сморщилась императрица, — он завопил, что им «Рубикон перейден», что его имя станет известным в Азии и Африке, ибо он отомстит за турок. Я написала на него пьесу «Горе-богатырь». И завтра, мой скиф, ты над ней посмеешься. Отложила нарочно спектакль.

Потемкин пожелал прочесть комедию и, возвращая оную, веско заметил, что отнюдь не советует давать ее в публичном театре, ни тем менее печатать.

— И вообще, матушка, шведа раньше времени дразнить вам негоже, ибо война с ним еще не окончена.

— Правду сказать, — радостно и покорно улыбаясь, чувствуя великий временный отдых, сказала Екатерина: — Петр Великий несколько близко сделал столицу!

— Он ее основал прежде взятия Выборга, следовательно, надеялся на себя.

— Это единственное, что надлежит делать и нам с тобой, никогда не теряя присутствия духа!

И за прекрасный ответ Екатерина крепко обняла светлейшего. А подсматривавшая в щелку мелкая придворная челядь побежала сказать ее пославшей на досмотр челяди старшей, что светлейший у матушки не остуда, а как бы не вышел возвратный фавор.

Когда Потемкин в начале мая уехал обратно в свою ставку на юг, он был опять более чем когда-либо первым лицом империи. Румянцев же подал прошение об отставке за болезнью и преклонностью лет. Он удалился в небольшое местечко неподалеку от Ясс.

Потемкин получил объединенное командование обеими армиями, екатеринославской своей и бывшей под Румянцевым украинской.

И столь велика подлость людская, как записал современник, что немедленно после того, как славный Румянцев сложил с себя власть, к нему, покрытому доблестью и бессмертными заслугами перед отечеством, никто и глаз

не казал. Только один Суворов продолжал попрежнему посылать старому Румянцеву рапорты обо всех происшедших и имеющих быть операциях.

В этом же восемьдесят девятом году, летом, Радищев получил типографский станок с литерами от Шнора на выплату. Он и денег еще всех заплатить не успел, как уже напечатал свою первую работу: «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», которое начал писать в тот памятный день, когда вместе с Воронихиным смотрел в мастерской Фальконета памятник Петру.

Ранней весной Радищев отправил детей со свояченицей Елизаветой Васильевной к себе на дачу на Петровский остров, а сам остался в одиночестве допечатывать свою книгу.

На этом острове он купил несколько лет тому назад небольшое поместье на имя свояченицы, куда летом вся его семья переселялась. Это было просторное место на берегу Малой Невки, против Крестовского острова.

Здесь выстроил Радищев для семьи небольшой двухэтажный дом с маленькими комнатами, галерейкой по плану, о котором они мечтали, бывало, с Аннет, непременно желая что-нибудь построить на том острове, где столь памятны были им прогулки вдвоем.

Через лесочки и перекидные легкие мостики бегали теперь трое их ребят. В конце березовой аллеи возвышался неизменный, как в дни их юности, так и сейчас, дворец летнего пребывания цесаревича Павла. Невдалеке расположен был лагерь греческого корпуса. Из этих молодых греков набирались товарищи для великого князя Константина, знавшего греческий наравне с русским с малолетства.

После смерти Аннет Радищев стал особенным домоседом. Светского общества он никогда не любил, а сейчас бывал только у больного старика Даля и у высшего своего начальника, с которым сдружился совсем особо, — у Александра Романовича Воронцова.

Граф полюбил его после одной истории, где Радищев, молодой служащий, заявил свое особое мнение, утверждая невинность людей, за обвинение которых подали свой

голос все прочие его сослуживцы, старшие чином и служебным опытом.

Воронцов пришел сразу в сильный гнев на отдельное мнение Радищева, предполагая, что молодой человек подкуплен. Он вызвал его на объяснение, но Радищев столь убедительно и смело защитил невинно осужденных, что дело о них было прекращено, а большое уважение к новому подчиненному по службе в таможне навсегда Радищевым завоевано. В скором времени общность умственных и общественных интересов так сблизила обоих, начальника и подчиненного, что между ними возникла глубокая, истинная дружба.

Сегодня, мимоходом встретясь на службе, Воронцов шепнул Радищеву, что для него имеется письмо из Парижа, никак от Воронихина, полученное «тайным каналом», и звал зайти за ним попозднее.

Вечером нежданно явилась к Воронцову его взволнованная сестра, Екатерина Романовна Дашкова, бывшая некогда другом императрицы. Она давно впала в немилость из-за своего болтливого хвастовства и претензии считаться главным лицом, взведшим на трон Екатерину. Дашкова была мала ростом, очень некрасива. Необыкновенно быстра в движениях, лишенных грации, с приплюснутым носом, плохими зубами, громадным самомнением и несносным характером.

Несмотря на крупную ее одаренность и образование, ее сановные братья втайне предпочитали этой ученой сестре распустеху Романовну, возлюбленную Петра Третьего.

— Сестрица, — сказал сановитый спокойный Воронцов по-французски, — успокойтесь, сядьте поудобнее и расскажите мне, что вас так взволновало?

Дашкова присела на край дивана, как сердитая птица, готовая, чуть что, вспорхнуть, и ей присущей скороговоркой сказала:

— Императрица встретила меня, как давно не встречала. Она обняла меня и повела попросту в свой будуар, опять как свою закадычную подругу...

— И вы, конечно, не удержались и тут же ее начали попрекать, — понимающе сказал Воронцов.

Дашкова вспыхнула:

— Я не виновата, что имею чувствительное сердце, — я заплакала.

— Напрасно, — невозмутимо проронил брат, — императрица хотела, может быть, начать с вами совсем новую цепь отношений. В таких случаях менее всего дипломатично вызывать в памяти старые неудовольствия, ибо это означает, что вы ничего забыть не желаете, а потому...

Дашкова запальчиво прервала:

— Если императрице чего-нибудь надо, ее никакими слезами не спугнешь. Она внезапно и весьма настойчиво меня стала допытывать, знаю ли я про то, что во время пребывания наследника в Вене знаменитый актер отказался играть Гамлета, и почему именно отказался, и правда ли, что за это получена была награда, так что общественное мнение было, повидимому, на стороне актера. Императрица так пристально в меня впилась глазами, что я немедленно решила не признаваться, что не только я, весь город про эту историю знает.

— Что же вы ответили императрице? — заинтересовался Воронцов.

— «Я все больше проживаю у себя в имении, ваше величество, — сказала я не моргнув, — занимаюсь воспитанием моих детей или делами академии и не имею досуга прислушиваться к слухам». — «Допустим, что это так, — не без дерзости улыбнулась императрица и тотчас переменила разговор: — Ну, а по линии вашей ученой части как обстоит дело? Ужели вы не сталкиваетесь, например, с отечественными вольнодумными философами?» Я молчала. Императрица нетерпеливо добавила: «Я имею в виду издателя книг Новикова и служащего под началом вашего брата Александра Радищева». Относительно Новикова я тотчас легко отделалась своим беглым личным впечатлением. На счастье, он сейчас переехал на жительство в Москву, так что к нему меня не приставит...

— Что вы сказали о Новикове, милая сестра?

— О, я только сказала, что он весьма схож с протестантским пастором, в своем длинном сюртуке с вечно постным лицом. Что же касается Радищева...

Воронцов двинулся, он, видимо, взволновался.

— Прошу вас, милая Катенька, совершенно точно передать мне ваши слова относительно Радищева, не

позволяя свойственному вам талантливому воображению что-либо дополнить.

Смягчая смысл сказанного, Воронцов галантно, как у посторонней, ему любезной дамы, поцеловал маленькую руку сестры.

Дашкова нервно затеребила носовой платочек. Она отлично помнила, что если словами и не сказала прямо ничего предосудительного про Радищева, то мимикой, тоном, невольным давним на него раздражением она подвела Радищева под категорию тех людей в мнении императрицы, которые сейчас ей были менее всего приятны.

— Прошу вас сказать дословно, что было говорено об Александре Николаевиче, — настойчиво и мягко просил Воронцов.

— По-моему, я говорила похвально, — неуверенно сказала Дашкова. «Радищев, — сказала я, — имеет вид человека, поглощенного своей какой-то идеей до такой степени, что не видит, куда его несут ноги». — «Какие же могут быть идеи, поглотившие Радищева?» — вкрадчиво спросила Екатерина. Я отговорилась тоже неведением, присовокупив: «Во всяком случае это не могут быть идеи какой-либо корысти или мелкого тщеславия». Намедни я встретила Радищева в академии, спрашиваю: «Не выхлопотать ли тебе пособие? Слыхать, ты с семьею порой нуждаешься?» А он гордо вскинул голову, сверкнул своими глазами и ответствовал мне весьма нелюбезно: «Я ни в чем и ни у кого не нуждаюсь!»

— То-то и задел вас этот нелюбезный ответ, сестрица. — Воронцов невольно улыбнулся, столь похоже маленькая вертлявая Дашкова изобразила весь тон Радищева.

— Напрасно вы смеетесь, милый брат, как бы вам не пришлось из-за дружбы с сим карбонарием поплакать! Его отрывок «Деревня Разоренная», что был напечатан еще в «Живописце» Новиковым, разве мало вызвал толков о вредном его вольнодумстве? А ныне он за худшее принялся. Вот приносили мне оттиск его «Письма к другу». По видимости будто воды не замутит — одно сплошное восхищение памятником Фальконета Петр Великий. А на самом-то деле...

— И на это вы обратили внимание императрицы?

— Я в канцелярии Шешковского не служу, — капризно отрезала Дашкова. — Сама императрица мне саркастическим голосом сказала: «А заключительный абзац, машер? Или вы эту вещь не дочли, или признаться в ее зловредности не желаете? В нем не что иное, как дыханье французской заразы». Предупредите вашего Радищева, милый брат, что ему несдобровать, ежели он думает продолжать в подобном задирательном духе.

Дашкова вскочила, несколько раз пробежалась по кабинету, остановилась перед Воронцовым, безмолвным в раздумье, и гневно сказала:

— Пусть помнит ваш Радищев: сейчас у нас на престоле не прежняя Минерва-просветительница, не философ, не диво Европы, а «князь тьмы» со своей послушной рабыней. О, могла ли я думать, когда ее возводила на царство...

«O, la vaniteuse mouche!» [1] — пронеслось в уме Воронцова, хотя он был более взволнован рассказом сестры, чем хотел это ей показать.

— Напрасно вы думаете, милый Александр, что вас не касается то, что я нашла своим долгом вам сейчас рассказать. Если Радищев что-либо выкинет, поверьте, не только одна его безумная голова пострадает. На нас, Воронцовых, при дворе давно точат зубы.

Александр Романович медленно покраснел и со странной печалью сказал:

— Я уверен, ежели Радищев точно решился на какой-либо благородный, но безумный по смелости шаг, то никого он за собой не увлечет. Перед ним мы все — хладные мечтатели, Вольтеровой насмешкой выеденные сердца. Радищев единственный среди нас обладатель великого вдохновения Руссо, наследник пламени его гения, его сердца.

— Ну, знаете, милый брат, вместо пламени я предпочитаю постепенную рассудительность. Не один ваш Радищев на свете, надеюсь, и мы не лыком шиты! Однако не будем слепы: продолжать дело Жан-Жака — это значит подать руку последним французским безобразиям. Кстати сказать, не имеете ли вы каких новых подробностей через тайные масонские каналы?

---

[1] Хвастливая муха (*франц.*).

Воронцов поморщился от назойливости Дашковой. Выражение растроганных чувств, с каким он только что говорил про Радищева, сменилось привычной маской вельможной надменности, и он резковато сказал сестре:

— Если бы таковые известия я даже имел, то, как сами изволили отметить, не иначе как через каналы тайные... следовательно, огласки не имеющие.

— О, вы сегодня в кислом настроении. В таком случае до свидания, — обиженно поджала губы Дашкова. Вежливо, но без любезности провожаемая братом, она исчезла.

Слова Дашковой о тайном канале пришлись прямо в точку. Только вчера вечером занесен был Воронцову особым послом из Москвы тайный пакет с условным знаком, что о содержании оного пакета, кроме адресата, никто знать не должен.

Когда Воронцов вскрыл пакет, выпало из него письмо второе, адресованное Радищеву из Парижа, о чем Воронцов сегодня утром ему и сказал, а теперь с минуты на минуту ожидал его прихода. По этой причине намеренно и рассердил свою сестру, опасаясь, что она заговорится и долго не уйдет. Лично Воронцову письмо было от Николая Ивановича Новикова, очень краткое, заключающее только предупреждение о необходимости укрыть в надежное место имеющуюся у кого бы то ни было из братий или знакомых масонскую книгу «Владыкам и владычицам мира». В сей книге изложены были формы правильного феократического правления, и ее, оказывается, князь Прозоровский почитал сейчас весьма опасною для правительства, каковое мнение внушил также императрице. Книга зачислена в разряд «возмутительных».

Воронцов подошел к своей великолепной библиотеке, вынул из тесно набитого ряда вторую часть «Начертания новой теологии», где печаталась указанная работа еще до выхода ее отдельным изданием. Он нажал неприметную пружинку в стене и ловко вдвинул книгу в объемистый тайник, на подобный случай устроенный домашним столяром-искусником Сергеичем.

Письмо к Радищеву он вынул и положил в заготовленное для него, недавно выпущенное типографией

Горного училища «Путешествие ее величества в полуденные страны».

Пойдя навстречу Радищеву, о котором доложил лакей, Воронцов ему подал книжку и письмо, адресованное из Парижа.

— Весьма вам признателен, граф. Сия книжка уже подсказала мне некое пародийное согласование в моей работе. В подробности вам будут понятны мои слова, когда я буду иметь честь вручить вам экземпляр. Теперь уже скоро...

Радищев с иронией перелистал тонкую книжицу.

— Императрица проехала здесь указанный маршрут по дорогам, обставленным деревеньками оперных декораций, ну, а мне пришло в голову проделать тот же путь в компании с одной только правдивой действительностью. Ее величество указывала иностранным послам на русских крестьян как на благоденствующих пребольше всех в мире, а я их покажу, каковы они есть.

— Известный вы зритель без очков! — обнял Радищева граф и, озабоченно вглядываясь в его смуглое лицо с потемневшими от бессонницы веками, от чего большие черные глаза стали еще глубже, сказал: — Боюсь, дорогой друг, не затеяли вы чего тиснуть на собственной типографии? Смотрите, не посоветовавшись со мной, не выдавайте в свет, времена ныне не те, когда вам была милостиво спущена «Деревня Разоренная». Сейчас никакие инициалы вас не спасут. Шешковский автора дознается, и вам несдобровать. И что хуже всего, дорогой друг, ведь пламя ваше возгорится в ужасающей пустыне. Кого думаете пробудить? Одни ползущие духом вас окружают. Обличать в лицо ныне, повторяю, весьма опасно, а тешиться невинными иносказаниями, как это делают наши братья масоны, — конечно, детская игра. Вот я и молчу... — с печалью кончил Воронцов.

— А я заговорю, и во весь голос, — сказал Радищев. Лицо его вдруг стало много моложе, и глаза смотрели твердо, спокойно, с той силой, которую рождают решения бесповоротные. — Я своими именами назову и произвол и насилие. И пусть я буду один, — ведь и Жан-Жак Руссо был одинок, как всякий, кто в рабские времена дерзал выступить супротив тирании...

— И потому, что за ним не было поддержки многих, этот смельчак-одиночка ничего не добивался, кроме костра, плахи или ссылки, — докончил Воронцов и дружески взял Радищева под руку.

Они молча несколько раз прошлись по кабинету.

Отказываясь от дружеского приглашения остаться на весь вечер, Радищев заторопился домой.

В передней, куда Воронцов вышел сам проводить друга, Радищев крепко пожал его руку.

— Истинно правду сказали, Александр Романович, если многие не поддержат одиночку, поднявшего голос, ему только впору сложить свою голову. Ну и что же, сам погибнет, дело жизни своей двинет вперед. А важно ведь только это.

— Что вы задумали? — с тревогой вымолвил Воронцов, задерживая руку Радищева в своей. — Опомнитесь, пока не поздно, у вас дети...

Радищев внезапно обнял Воронцова и прошептал ему:

— Если бы что случилось, о моих детях позаботитесь вы.

Придя домой и прочтя письмо Кутузова, Радищев долго не мог успокоиться. Алексис писал, что, страшно нуждаясь в Берлине, по приглашению архитектора Воронихина он с Середовичем поехал в Париж на лето. Здесь Кутузов погрузился в дополнительные исследования по орденской алхимии, а старик попал во власть молодого Павла Строганова, побочной родни Воронихина, который заодно с революционером-воспитателем Жильбертом Роммом с головой ушел в дело воспитания французского народа. Он разъяснил Середовичу, что, идя сейчас вместе с восставшими парижанами, можно почитать себя борющимся против крепостного права на своей родине.

Роковым днем оказался для Середовича день взятия парижской тюрьмы Бастилии четырнадцатого июля. Он, в армяке, с орденами и лентой, стоял перед Воронихиным, который, как обещал еще при первой встрече в мастерской Фальконета, писал его портрет пугачевским министром во всех регалиях.

Между тем в городе было особое скопление королевских войск. Эти войска заставили вооружиться и население, взволнованное горячими речами и призывами к восстанию Камилла Демулена. В большое окно мастерской Воронихина было видно, как громадная толпа народа двинулась к ненавистной Бастилии.

Вбежал в мастерскую взволнованный юноша Павел Строганов. Он пламенно звал с собою Воронихина примкнуть к восставшим Парижа. Напрасно знаменитый зодчий пытался воззвать к благоразумию Павла...

Все было тщетно. Пылкий Строганов с возгласом: «Да здравствует свобода!» ринулся в море восставших, увлекая за собой Середовича.

Старик, как был в армяке с орденами, готовый защищать русского юношу или погибнуть с ним вместе, прихватил топор и отправился брать Бастилию.

Комендант Лонэ отказался сдать крепость, и народ ринулся, разрушая чем попало цепи разводного моста, во второй двор.

По свидетельству очевидцев, некто русский, в армяке, с голубой лентой через плечо и многочисленными орденами на груди, в большой бороде и усах, волосатый как медведь, размахивая топором, первый подал совет поджечь огромные возы с соломой в целях защиты восставших от выстрелов королевского гарнизона. Этот русский был Середович.

«Вот где вспомнил тактику Пугачева», — невольно улыбнулся Радищев, продолжая читать письмо.

...Комендант Лонэ, уже не надеясь на помощь из Версаля, решил взорвать пороховой погреб Бастилии. Но в ту минуту, как он зажигал фитиль, его взяли. Собран был тут же военный совет, порешили Бастилию сдать. По опущенному подъемному мосту парижане хлынули в вековую проклятую твердыню. Тут подобран был труп русского участника осады, бородатого старого человека с орденами и странной лентой через плечо.

Середович...

Как живого, увидал Радищев своего бородатого старика. В русском синем армяке, с лентой и орденами всех степеней, им подобранными в лагере Пугачева, Середович на чужом деле погиб, как на своем. Что мог кричать

этот бородатый русский мужик, когда шагал он в рядах восставших французов, певших с плясом и гиком неистовую карманьолу. Уж конечно, он извергал во всю глотку что-нибудь свое, непостижимо русское!..

Ведь разносил Середович не только Бастилию, вековую тюрьму народа французского, он хватил топором по позорным цепям рабов своей родины.

Слезы умиления набежали на глаза Радищева. С глубоким, вознесшим весь дух его чувством он взял листы последней корректуры своей книги, где и он, в свою очередь, отдал на защиту всех кровных Середовича силы своего ума, все чувства своего сердца.

В мечте Радищева воскрес и Алексис Кутузов, каким был он в годы юношеские — в пажеском корпусе и в Лейпциге. Несуразный юноша, верзила-мечтатель с детски чистой душой, с голубыми глазами, не затемненными и малейшей ложью, весь охваченный одним пылом служения миру...

Про себя лично писал сейчас Кутузов, что он погружен в изучение алхимического состава Урим, благодаря коему малейшие движения сердец людских стать могут известными, а посему облегчена будет борьба со врагами всеобщего благоденствия, и придвинется к человечеству столь им чаемый «златой век».

«Как видишь, ближайший друг мой, — заканчивал письмо Кутузов, — хоть отличными от твоего путями, но и я приближаюсь к целям твоим».

Бедный Алексис!.. Скорбь охватила Радищева, когда он представил себе Кутузова, со смертью Середовича окончательно беспомощного, заброшенного на чужбине. Видать, и «братья», его пославшие на изучение «орденской химии», начинают понемногу о нем забывать.

Образ чудесного безумца, рыцаря Ламанчского, встал перед ним. Пусть для здравого ума бессмысленны увлечения Алексиса химией, панацеей от всех болезней и вот этим Уримом, как бессмысленны битвы дон Кихота с ветряными мельницами в защиту невинных, но, ежели справедливо судить человека за его намерения, найдутся ли чистейшие в мире?!

И на титульном листе своей книги Радищев начертал ее посвящение Алексею Кутузову:

«Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьется моему согласно, и ты — мой друг».

Книга его в последней своей корректуре лежала перед ним. Осталось просмотреть корректуру в последний раз и отослать ее для подписания в цензуру. Полицеймейстер подпишет, книга будет пущена в свет. Быть может, оставить ее в сохранном месте до времени, пока не явятся на свет читатели — сочувственники его мыслям и чувствам? Недаром сам написал в оде «Вольность»:

Приидет вожделенно время...

Радищев хорошо знал, что слова Воронцова истинны: пламенный призыв к справедливости, возмущение рабством прозвучат в пустоте. Общественное сознание забито, а у кого своя мысль работает, тот тихонько стреляется у себя в кабинете, как дворянин Опочинин в своем ярославском имении, оставляя по себе записку горького содержания о невозможности более жить в стране, удушаемой самовластьем.

И все-таки Радищев решил сказать в своей книге все до конца, и сказать не только для грядущего — для своего сегодняшнего дня. Надо было завершить дело своей жизни, никого и ничего не страшась, не думая не только о судьбе своей — о судьбе возлюбленных детей... Немало есть чувствующих, как Воронцов, но не верящих в силу слова; он же верит, а посему и говорить надлежит ему во всю силу и для всех людей.

Радищев, оторвавшись на миг от листов корректуры, остановил взоры на бюстах великих мыслителей, им особенно любимых, уставленных вдоль полок его книжных шкафов. Задержался глазами на молодом задумчивом облике Джордано Бруно, на скорбном профиле Галилея, на самом близком ему пронзительном лице Жан-Жака Руссо. Все они его одобряли, все они были с ним. Угасла боль одиночества — родная семья его ждет в веках.

Радищев отдал себе последний отчет, пробежав еще раз наизусть знакомые строки своей книги, что листы ее, еще пахнувшие свежей типографской краской, точно заключали в себе осудительный пересмотр всего строя

империи. На совестный суд вызваны не только лица — самый дух жестоких нравов, обычаев, вопиющего неравенства положений, освященного веками.

Радищев в своей книге как бы прошелся по всем просторам и закоулкам отечества, пронзительно глянул сквозь Растреллиевы окна дворцов и закопченные оконца черной избы. Он, словно вооруженный тем мифическим Уримом, о коем писал Кутузов, получил дар проникать в души и мысли, в направление порочной воли распутных от самовластья вельмож.

Он увидел море слез, пролитых от обид и насилья. Он, горящий любовью, предстал за рабов своей родины, засеченных помещиком, забитых солдатчиной, засуженных бесправным судом.

В своем обличении он был непримирим. Он не допускал отсрочки в прекращении насилия и рабства, он не терпел постепенности, исправления нравов чрез любезное всем благонамеренным просвещение.

До просвещения ли? Ведь ежечасно запарывают на конюшнях, насилуют, издеваются, теряют сами и заставляют терять другого свой облик человеческий! Тут одно только дело: бить в набат, кричать караул.

И своей книгой «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев крикнул на всю Россию. Он кричал как человек, который знает только одно, и такое, от чего померкли, отодвинулись во времена все прочие знания. Многообразные страницы его книги сводились всё к одному: такой же человек, как ты, читатель, лишен всяких прав, первейших, без которых ему ни жить, ни дышать... лишен права свободного труда на самого себя и семью, лишен права на брак, права на самую жизнь. И даже ее, опостылевшую жизнь, не слишком ответив перед законом, любой помещик может отнять у любого крепостного. И все это потому, что крепостной этот, как и миллионы других крепостных, бесправный раб помещика.

Одна мысль в этой книге, ставшая пламенем, одна была воля — рабов сделать свободными!

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала!..»

Так начал он свою книгу, для судьбы его пагубную. Чувствительность его, на многие годы разбитая бесси-

лием сострадания бездеятельного, еще недавно повергала его только в страшное уныние. Конец несчастного Опочинина мелькал в душе как единственный выход. Он тогда все твердил стихи:

Quand on a tout perdu,
Quand il n'y a plus d'espoir,
La vie est un opprobre
Et la mort un devoir.

«Если все потеряно, если даже не брезжит надежда, — жизнь влачить бесславно, и долг твой — умереть».

Но умирать было рано, дело его жизни еще не было сделано.

Разбитый отчаянием, безмолвный, сколько часов провел он там, в лабиринте, где возвышался в конце березовой аллеи монумент, поставленный в память жены и друга Аннет. И там же, как бы посланное нежной ее любовью, пришло ему разрешение. Его охватила внезапным вдохновением одна новая, поглощающая мысль.

Кому ведом трепет мгновенного и острого постижения неразрешимой дотоле задачи, тот знает, как в исчезнувшем на мгновение ощущении времени, всех гнетущих забот и вопросов, подобно яркому солнцу, слепительно и точно вдруг предстают сознанию ответ и выход из состояния, дотоле неразрешимого.

Открытие Радищева, окрылившее его для написания необыкновенной его книги, заключалось в двух простых мыслях.

Все бедствия человека происходят от человека же, а следовательно, подлежат изменению.

И еще узнал он, знанием не простым, а непременно толкающим к действию, что «возможно всякому соучастником быть в благоденствии себе подобных».

По началу, если книгу взять в руки, вспоминалась та невинная книжка, которую подарил ему Воронцов, недавно отпечатанная в Горном училище под заглавием «Путешествие ее императорского величества в полуденные страны России».

Да, он ехал по тем же местам, с той только разницей, что императрица видела то, что ей хотели показать, а он, «зритель без очков», смотрел сам и видел все. Екатерине представлены вместо голых деревень нарядные оперные

декорации. От нее скрыли тот страшный голод, который свирепствовал в дни ее путешествия по стране, и потому она без краски в лице могла указывать иностранным гостям одним жестом руки в драгоценных перстнях на завидное житье русского крестьянина. Шутя, с гордостью, добавляла, что сей крестьянин еще подумает, есть ли ему ту пресловутую курицу, о коей столь хлопотал французский король Генрих Четвертый, ибо курица ему зело приелась.

Мужиков обыкновенных, с подведенными от голода брюхами, убрали подальше, на одночасье подставили ей разукрашенных и сытых пейзан.

Радищев по тем же самым «местам благоденственным» поехал повторно и за собой властно заставил ехать и читателя...

Без фиговых листков, без нечистых человечьих расчетов представил он взору зрелище одной вопиющей правды. Он нарисовал голод, нищету, разорение русской земли. Он нарисовал настолько полный и потрясающий душу произвол одних людей над другими, что конец своим страданьям угнетенные истинно могли увидеть в одной только смерти.

Так он и писал: «конец их — единственное уготованное им блаженство».

Зверский обычай порабощать себе подобного человека есть обычай, диким народам приличный, однако он простерся на лице земли быстротечно, далеко и широко... А между тем первый в обществе властитель должен быть только один — закон! Порабощение же есть преступление. Но кто между нами носит оковы, кто ощущает тяготу неволи? И Радищев с ужасом отвечает на этот вопрос — землепашец! Насытитель нашего голода, тот, кто дает нам здоровье, не имеет права сам распоряжаться тем, что он обрабатывает и что производит. Европейцы, опустошив Америку, сменили убийства на новую корысть; истребив индейцев, они прехладнокровно занялись покупкою порабощенных негров, чтобы превратить их в своих невольников. Сейчас руками негров возделаны поля, которые дают американцам обильную жатву.

Несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала, переселенные из родных мест в неведомые им страны, под тяжкой плетью американцев возделывают

их нивы. Неужто назовем счастливой и вызывающей уважение страну за то, что поля ее не поросли терниями, а нивы изобилуют произращениями? Ужели позавидуем стране, где сотня граждан утопает в роскоши, а тысячи не имеют пропитания и крова! Пусть лучше вновь опустеют эти земли и зарастут дикой травой...

Против сладкогласного утверждения монархини относительно счастья русских крестьян преимущественно перед всеми прочими странами сей новый Виргилий, водящий читателя по истинно адским кругам окружавшей его действительности, восклицал, пылая гневом:

«Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, назваться блаженным?»

И сам делал дерзкий вывод:

«Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии».

С великим гневом, с болью и яростью против причины изображаемых страданий Радищев подкрепил неотразимыми примерами на протяжении всех страниц свои мысли.

Вот помещик отнял у крестьян всю их землю, за гроши купил скотину, целую неделю заставляет работать сплошь на себя... сечет кошками, батогами. Сыновья помещика насилуют невест, жен, сестер этих умученных работой людей. Вот некий дворянчик при помощи своих двух братьев пытался изнасиловать невесту крестьянина, за что во-время подоспевший жених хватил его колом в спину. Несчастный вытерпел, когда старый помещик велел его немилосердно сечь кошками. Вытерпел, когда секли отца его, но когда схватили тащить в хоромы невесту, он выхватил заборину и, как зверь, ринулся на них. За ним поднялась вся деревня, крестьяне окружили своих господ и жестоко их прикончили.

«Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после признались».

Радищеву мало было дать просто картину жестокой жизни. Силой своего слова он хотел заставить читателя быть заодно с крестьянами в их правом суде. Если у него не было права и власти карать извергов, то хотя бы расправу с ними он хотел узаконить. Он крикнул всем

насильникам как предупреждение, как угрозу, как средство последней защиты из терпения выведенных рабов:

«Невинность сих убийц — математическая ясность».

Рассматривая это вопиющее дело, Радищев признается во всеуслышание, что он «не находил достаточно убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но убийство сие не было ли вынуждено? Смерть этого помещика хоть насильственная, но правая».

Радищев до самого утра правил последнюю корректуру своей книги.

В главе «Тверь» измышленный герой путешествия встречается с самим автором «Вольности». Читается сама ода, и великое сочувствие к бедствиям народа переходит уже в потребность действовать ему в защиту.

А народ из страницы в страницу вырастает в великую силу, которая одна и способна переродить, воскресить Россию.

Путь к возрождению — одна революция, разбивающая узы рабства. И, конечно, не забитые смиренники, а совсем иного склада крестьяне, подобные встреченным автором в конце пути, являются грозными мстителями за свое поруганное достоинство человека:

«Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение!»

Впервые героиней русской прозы в главе «Едрово» появляется крепостная крестьянка Анюта. В ее лице Радищев показывает, какой высокий характер может вырастить крестьянская дружная семья, облагороженная трудом. Не менее Анюты поражает мужественной простотой своего характера и рекрут Ванюша из «Городни». Такие крестьяне вызывают уже не жалость, а восхищенное уважение. В них залог всяческой победы русских людей. Все эти высокие качества соединяются воедино в лице великого русского гения Ломоносова.

Заключительные страницы «Путешествия» и посвящены краткому «Слову о Ломоносове». Для Радищева он является совершенным завершением русского человека. Ломоносов — великий муж, исторгнутый из среды народной, русский по рождению, по духу, по делам своим. «И сколь велик своей заслугой перед обществом!» Образ Ломоносова наводит на мысль о скрытых

творческих силах русского человека, до поры дремлющих в каждом, во всей полноте вспыхнувших мощно в этом гении русском, многостороннем ученом и поэте.

Когда народ придет к зрелости, когда в его сознание внедрится необходимость возрождения страны революцией, он, вдохновясь благородным образом Ломоносова, можно надеяться, создаст своими руками и новый государственный строй.

Кончив править корректуру и не выпуская последних печатных листков из рук, Радищев стал ходить по комнате. Глянул в окно, распахнул его.

Пахнуло свежим духом только что опушенных листвой свежих майских берез. Заблаговестили в церкви к ранней обедне.

Радищев провел рукой по черным своим волосам. Что-то как бы упущенное вызвал в памяти и для проверки стал листать свою корректуру. Взором ярким и точным, несмотря на бессонную ночь, он быстро нашел в книге желанное место. Как бы не веря своим глазам, что напечатано и оно, прочел его раз и два. Сначала вполголоса, потом громче:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои...»

Радищев на минуту закрыл глаза и ясно представил себе, как это место читает Екатерина, как читает его Потемкин, как читают многие прочие, как прочтет его известный кнутобойца, заплечных дел мастер Степан Иванович Шешковский, который одним ударом под нижнюю челюсть сбивает с ног допрашиваемого. Так вот на допросе собьет и его...

Радищев долго стоял перед открытым окном; он встречал бледную петербургскую весну, для него, может быть, последнюю.

Лицо его побледнело, но рука не дрогнула, когда, взяв колокольчик, он позвонил и, протянув вошедшему слуге последнюю корректуру своего «Путешествия из Петербурга в Москву», спокойно приказал, дабы старший наборщик сегодня же свез экземпляр в канцелярию полицеймейстера для разрешения пустить книгу в продажу.

## *Глава восемнадцатая*

Екатерина очень долго не допускала, что события, происходящие во Франции, могут иметь какое-то всеобщее значение. Народные волнения, казалось ей, происходят единственно от слабохарактерности короля, от его неспособности во-время топнуть ногой. Вступивший на престол после презираемого ею Луи Пятнадцатого Луи Шестнадцатый был по началу весьма ею обласкан. Ей даже нравилось, что жена его, Мария-Антуанетт, дочь неприятной ханжи и всегда ей враждебной Марии-Терезы, по своему чрезмерному легкомыслию оказалась полной противоположностью своей матери.

С течением времени, когда финансы страны стремительно падали, а слабость короля и ветреность королевы помешали даже такому умеренному и одаренному человеку, каким был министр Тюрго, кое-как спасти страну от окончательного разорения, Екатерина стала к французскому двору неприязненна. Не было секретом, что Тюрго, выведенный из терпения слабодушием короля, который не в силах был защитить даже то, что сам в высшей мере одобрил, то есть его реформы, уходя в отставку, в последних строках своего письма к Людовику пророчески ему вымолвил:

«Никогда не забывайте, государь, что слабость привела Карла Первого английского на эшафот».

Это предупреждение уже касалось всех королей, его сейчас надлежало вспомнить по-новому в виду урагана, охватившего Францию. После краткой попытки реформы восторжествовала партия реакции, вознесшая Неккера, противника Тюрго. Однако и он был отставлен, едва, по мнению двора, совершил дерзкий поступок обнародования государственного бюджета, бывшего до сей поры тайным. Несметные суммы, поглощаемые французским двором, возбудили не только всеобщий народный ропот. Екатерина, сама грешившая раздачей фаворитам миллионов государственных денег, была возмущена.

Однако грозного смысла событий, надвигавшихся на Францию, она настолько еще не понимала, что за год до взятия Бастилии писала Гримму:

«Не разделяю мнения тех, которые думают, что мы будем свидетелями великой революции...»

Узнав во время своей поездки по Крыму о вторичном созыве нотаблей, она увидала в этом лишь только подражание созванной ею законодательной комиссии времен «Наказа». Когда же заговорили о Лафайете, Екатерина, жадная ко всякой знаменитости, не замедлила его пригласить приехать в Киев для знакомства с ней.

Как о забавной шутке над литературным скудоумием Луи Шестнадцатого, императрица рассказывала, что он не нашел ничего важней записать в своем дневнике в тот день, когда народная толпа нахлынула к нему в Версальский дворец, что «события помешали ему продолжить охоту».

Только день взятия Бастилии раскрыл Екатерине глаза и так испугал ее, что выразился резкой переменою поведения.

И когда Гримм, привыкший к легковесной оценке русской императрицей французских событий, попросил у Екатерины портрет ее для передачи мэру города Парижа Бальи, она, без обычной любезности, весьма ядовито ему написала, что мэру «демонархизатору», врагу самодержавной власти, не приличествует иметь портрет самой монархической в мире персоны, какой является она.

Главным образом ее выводила из себя на глазах растущая роль участия в политике самого французского народа. Она в ярости восклицает, а Храповицкий невозмутимо записывает:

«Как это сапожники могут вмешиваться в политику! Сапожники только и знают, что свои сапоги».

Наконец она додумалась, что одна из важных причин развития революции — это повсеместное гонение на иезуитов и закрытие их школ.

«Что ни говорите, — записал за императрицей Храповицкий, — а эти плуты внимательно следили за воспитанием, нравами, вкусами молодежи, и все, что во Франции было лучшего, вышло из их школ».

Екатерина оказалась самой возмущенной из монархов, когда Франция стала воплощать в жизнь как раз те самые революционные идеи, которыми она прикидывалась восхищенной в творениях просветителей в те далекие дни, когда она поразила Европу своим «Наказом», и еще она любила повторять: «Душа моя — республи-

канка». Казалось бы, какая пережита ею трагедия: ненавистница деспотизма, волею судеб она сама попала в положение деспота.

Но трагедии не вышло: Екатерину спасло ее великое неуважение к людям, возникшее с детских лет вследствие зрелища бесконечных интриг, несправедливости и произвола русского двора. После перемены в ее судьбе лесть одних, притворство других и продажность всех укрепили ее окончательно в оправдании своего произвола, а Потемкин успокоил совесть: он доказал ей, что после пугачевщины новая полицейская система государства — единственное средство удержать чернь от бунта.

Еще более тонкую поддержку, настоящий выход из сложного положения, когда убеждение расходится с действием, оказал ей ее старый учитель — Вольтер.

Ненавистник «системы», он учил ее, что всякий догматизм принижает разум, и отсутствие ответа за слова и дела стало его легким обычаем.

В конце концов она и сама не заметила, как все чаще мелькало в ее утомленном годами мозгу наместо затверженных прекраснейших истин из энциклопедии просветителей нечто весьма с ними не схожее:

«В конце концов все войско в руках Потемкина!»

Когда придворные, ею воспитанные по старой моде, еще, вольнодумные, как люди, донашивающие прекрасно сшитую некогда одежду, с которой им все еще жаль расставаться, восхищались при ней ответом графа Мирабо, с гордостью отказавшегося выйти из залы «jeu de paume»[1] со словами, вошедшими в историю: «Только сила штыков нас может заставить выйти отсюда», Екатерина усмехнулась с иронией и сказала:

— Больше доблести — и пред штыком не моргнуть. Как видно, до конца в своих мыслях и бунтовщики не доходят.

Она достаточно доказала, что была слишком умна, чтобы не понимать передовых идей своего времени. Но если обстоятельства ее правления были таковы, что чем далее, тем становилось необходимее, просто ради того, чтобы уцелеть, удерживать свое самодержавие, то долой колебания и долой все, что может мешать ее власти.

---

[1] Для игры в мяч *(франц.)*.

Потемкин разленился. Его теперь все чаще захлестывает тоска, черная, ничем не оборимая. Это что-то до того совершенно чуждое ее немецкой натуре, размеренной, склонной к порядку. Непонятна, утомительна, вызывает брезгливость, как и безобразные его кутежи, эта ипохондрия светлейшего. Какая он с нею противоположность! Ведь даже в самые жаркие дни их сердечной страсти ничто не могло остановить ее от раз заведенного ею порядка сидеть в шесть часов утра у рабочего стола и с ясной, как всегда, головой выслушивать доклады.

А он? Коли захлестнет его, как давеча, при осаде Очакова, он, на срам всей надзирающей Европы, показать себя может, как только что показал, сущей расслабленной бабой. Как будто и светлейший уж не тот, на силу его ей попрежнему не опереться.

Все чаще теперь мысли Екатерины останавливались на иезуитах. Конечно, из всех тайных обществ, против которых столь предупреждал ее в последнее время верный советчик Циммерман, это единственное, с которым власть монархическая должна и может идти рука об руку. И пусть они себе царят над душами, ежели тела подданных умеют делать столь послушными власти царей.

Екатерина с удовольствием вспомнила, что не ошиблась, пустив иезуитов в Белоруссию; в такой спокойный, ее скипетру верный, они, ей в благодарность, превратили весь этот край. Иезуиты, несомненно, враги масонов, особливо того их течения, которое сейчас тщится опрокинуть все троны.

И потому сегодня, когда по особо важному делу Екатерине доложен был маркиз де Муши, она приказала объявить, что для всех прочих приема не будет. Маркизу де Муши Екатерина, по ходатайству ей угодных могилевских ксендзов, разрешила снова приехать в столицу. Время от времени она его совершенно келейно и тайно от Потемкина принимала.

Де Муши в последнее время намекал ей, что масоны желают возвести на престол Павла. Он представил изъятые из продажи книги, полученные московскими ложами, об «учреждении феократического правления», об «истинном царе». Хотя Екатерина и дала свое распоряжение эти книги изъять, но для начала каких-либо серьезных преследований, как на том настаивал де Муши,

ей нужны были не утопические химеры, а доказательства действительной опасности масонских лож для ее власти.

Со вступлением на престол наследника Фридриха Великого розенкрейцерский орден стал во главе прусской политики, и тем ненавистней сделались московские масоны Екатерине. Вся ее южная политика требовала для своей успешности разрыва с Пруссией и союза с Австрией. Между тем у московских масонов связь с Германией крепла: неоспоримым доказательством являлась зависимость хотя бы того же Новикова от какого-то мекленбургского поручика, его орденского начальника, некоего Шредера. Копия обличающего документа «Письма Коловиона к начальнику» была Екатерине представлена, но оказалась не чем иным, как необычайным по искренности покаянием верующего своему исповеднику.

— Столь богатый разумом человек, как Новиков, может так себя разорять — и перед кем? Перед мекленбургским поручиком! — воскликнула в негодовании императрица. — Что же остановит прочих безумцев при подобном монастырском послушании выдать секреты империи, коль скоро иноземный начальник их совести того потребует?

Гнев Екатерины на Новикова из затаенного ею еще с времен издания им «Живописца» и «Трутня» с годами делался явной враждебностью.

Еще несколько лет тому назад, когда она узнала об основанных Новиковым училищах в Петербурге, в судьбе которых даже духовенство принимало участие, она язвительно, подразумевая его, написала Гримму:

«Когда это переведутся между образованными людьми негодяи с ложным направлением и кривыми взглядами?!»

Гнев Екатерины на Новикова и масона Походяшина за то, что они в недавний голод, когда она каталась по Днепру, роздали, как ей показалось — с нарочитой целью ее унизить, целое состояние голодным крестьянам, был чрезмерен. Не есть ли их филантропия замаскированное продолжение «колобродных» мыслей в форме, умы возмущающей и пленяющей сердца малых сих?

Екатерина была отлично осведомлена о том, что в масонских кругах происходило необыкновенное ожив-

ление, центром которого являлась Москва, откуда отправлен был апостолом Шварц к герцогу Брауншвейгскому за поисками самой истинной мудрости. Вот эта «связь брауншвейгская» уже могла быть рассмотрена как государственное преступление, особенно когда обнаружилось, что в сию связь вовлечена была и некая персона, сиречь цесаревич Павел.

Под именем графа и графини Северных Павел ездил с женой за границу. Поездка эта вызвала большие дипломатические разговоры при дворе. Только что произошел в политике Екатерины резкий поворот в пользу Австрии, а с Пруссией разрыв, и потому императрица не хотела, чтобы наследник повидался с Фридрихом-Вильгельмом. Но сам Павел, поддерживаемый масоном Куракиным, этого хотел непременно.

В Вене Павел был посвящен, и по поводу его роли в масонском ордене Шварц обменялся письмами с герцогом Гессен-Кассельским. Когда и об этом событии в самое время донес Екатерине де Муши, она многозначительно сказала:

— Из сего заключить можно, что князь Куракин употреблен инструментом для приведения великого князя в братство.

Последили за перепиской Куракина с сопровождавшим Павла флигель-адъютантом Бибиковым. Оказались дерзостные суждения о том, что отстранен от дел Панин, а «князь тьмы» самовластвует. Бибиков предан суду и сослан в Архангельск, а Куракин по возвращении направлен в свое пензенское имение с запрещением въезда в столицу.

Павел при своей подозрительности все-таки не знал степени наблюдения за ним, потому что Екатерина писала ему легкие, любезные письма. Она слегка посмеивалась над порочностью французского двора, но вместе с тем польщена была вниманием, которое оказала Павлу с супругой Мария-Антуанетт, заказавшая придворной фабрике замечательный по ценной работе сервиз с инициалами великой княгини.

Любезна была ей и особая популярность, коей во Франции стало пользоваться все русское. С легкой руки философов и щедро ею одаряемых, нужных для ее прославления людей весь быт ее двора, ее остроты, обы-

чаи — словом, все, чем она стремилась быть на виду, стало модным. Она изобрела детский костюм для великого князя Александра, который сама нарисовала и послала Гримму, а он, всегда догадливый корреспондент, повез его по всем парижским салонам и заставил всех матерей пожелать сшить своим детям костюм à la russe. Знаменитый парижский портной на этом детском фасоне сделал целое состояние, чем немало потешил тщеславие императрицы.

Сегодня де Муши принес сведения о новых серьезных опасностях.

То, что Екатерина принимала маркиза-иезуита тайком от Потемкина, в то время как он все еще почитал де Муши выехавшим навсегда за границу, всякий раз наполняло ее сердце особым торжеством. С тех пор как де Муши стал ее тайным советником, она почувствовала себя опять на свободе, опять не мужней женой, что природе ее, привыкшей столь рано к одинокому самовластью, уже сделалось нестерпимо.

К Потемкину попрежнему сохранилась привязанность, не сравнимая ни с одним из ее увлечений альковных, но быть руководителем он ей больше не мог. Хотя даже враги признавали у Потемкина проблеск ума гениального и способности превыше обычных, но она знала теперь слишком хорошо, каким капризам характера и прихоти могли подчиняться его действия...

Сейчас, в интимном будуаре, куда дан приказ больше никого не пускать, сидел перед Екатериной значительно постаревший и переменивший до неузнаваемости весь свой облик маркиз де Муши, уже не нарядный кавалер, а весь в черном строгий дипломат или духовное лицо, оскорбленное изгнанием.

Екатерина слушала маркиза с волнением. Она то и дело подносила к носу флакончик английской соли, ей почти делалось дурно от сообщений, которые делал иезуит ровным голосом, чередуя соболезнующие ноты с угрожающей замедленностью тона. Последним был удар, поразивший ее в самое сердце: цесаревич Павел будто бы находится в постоянных переговорах с агентом прусского двора Гютлем.

По примеру Пруссии, где масоном оказался сам король, готовятся и московские ложи поставить над собою

самого русского царя. Отсюда и вся империя будет управляться одним только их орденом. Звание великого мастера оставлено вакантным. Для кого? Для цесаревича Павла.

Де Муши закончил донесение ядовитым выводом:

— Итак, в то время как ваше величество порвали с Пруссией и для блага империи вошли в союз с Австрией, брауншвейгская рыцарская организация дошла до самой столицы. — Де Муши чуть всплеснул узкими розовыми руками. — Скажу точнее: она дошла до двора.

— Доказательства? — сказала, едва владея собой, Екатерина.

Де Муши поклонился.

— Не замедлю представить вашему величеству документ о том, как цесаревич, поведя свою политику, отличную от вашей, убеждал Румянцева, русского посла в Берлине, действовать в пользу Пруссии. Он обещал его наградить при своем вступлении на престол.

Де Муши встал, понимающе и покорно поклонился, собираясь уйти. Екатерина его остановила:

— Мне сказали, будто недавно цесаревич накричал на Баженова, когда тот от Новикова привез ему книги. Это противоречит вашим уверениям, что именно Баженов желанный гость в Гатчине и передатчик по масонскому братству. И книги, как мне известно, привезены им довольно невинные: некое «краткое извлечение», их масонская «избранная библиотека». Все это пренелепо, туманно, но к политике, чаятельно, никакого касательства не имеет.

— Смею заверить, что ваше величество ошибаетесь, — сказал, скрывая насмешку, де Муши. — Читая именно «краткое извлечение», при освещении соответственном, цесаревич отлично может понять, что именно на него возлагаются орденом все надежды. Это ему надлежит изготовить «царство лучшее», нежели «сие мрачное несовершенство». — Де Муши еще поклонился и для смягчения смысла слов в поклоне докончил: — Под последним инфернальным [1] обозначением подразумевается правление вашего величества и светлейшего князя Потемкина. Что же касается недовольства цесаревича

---

[1] Адским.

и грозных его окриков на Баженова, посланного к нему от московских масонов Новиковым, то не объясняется ли это естественным образом: цесаревич боится неловкого усердия этого слишком пылкого мечтателя Баженова. Ведь для цесаревича сейчас все висит на волоске.

— Где тонко, там и рвется... — сумрачно сказала Екатерина и, протягивая маркизу руку в знак оконченного разговора, многозначительно напомнила, подразумевая представление доказательств его речей: — Буду ждать.

Екатерина проводила лето девяностого года в Царском Селе. Она изредка выезжала в Петергоф и в столицу, но чаще не выходила из любимого ею парка, пребывая в тягостном состоянии духа.

Де Муши обещание сдержал, обвинения его на цесаревича подтвердились.

Как-то вечером Екатерине захотелось почитать совершенно отвлекающие от дел и забот какие-нибудь путешествия. Плодились они сейчас во множестве в подражание модному Стерну.

Уже целый месяц прошел, как из его собственной типографии вышла в свет книга Радищева. Она делала в городе большой шум, а Екатерине еще никто про нее не сказал. Де Муши был в отъезде, а из придворных никому не хотелось явиться первому с вестью, которая, знали все, понравиться императрице не может. Еще шли большие толки о том, кто анонимный автор книги, терялись в догадках, но все мнения сходились на одном: «Книга возмутительная и предерзкая».

«Путешествие из Петербурга в Москву» лежало на большом столе в библиотеке Екатерины вместе с другими книгами, недавно присланными из-за границы, Екатерина, перебирая новые заглавия в поисках чтения на сегодня полегче, остановилась на «Путешествии». Прежде всего ее заинтересовало сходство в распределении глав между этой книгой и той, изданной не так давно в училище Горного института, озаглавленной «Путешествие ее величества в полуденный край России, предпринятое к назиданию государственных польз и к усовершенствованию благоденствия ее подданных».

«Может быть, это нечто вроде дополнения к тому изданию», — подумала было она. Однако весьма скоро,

с первых же страниц, взволнованно насторожилась от догадки: уж не пародия ли это новое «Путешествие» на ее недавнее шествие на юг.

Каждой строкой этой книги безжалостно обнажались противоречия между показным благоденствием страны и жестокой действительностью. Оказывается, что уже в заглавии была заключена насмешка, и презлая. В самых простых, казалось бы, словах, обращенных к читателю, были гнев и презрение:

«Зимой ли я ехал или летом, для вас, я думаю, все равно...»

Даже это, показалось насторожившейся императрице, написано в противовес верноподданнической отметке камерфурьерских журналов каждого малейшего ее передвижения, трапезы, приема и поведения.

В этом, совсем ином путешествии по ее следам пишущему все равно, что на небе — дождь или вёдро. Одно ему важно: ежеминутно знать и пояснить, что во все времена года, и в дождь и в вёдро, в стране творятся насилие и позорный торг миллионами людей, которые именуются — крепостные.

Все чувства и мысли этой странной книги — пламенный гнев и жестокая скорбь. И все-таки в первую минуту, не оглядываясь еще, не раздумывая, Екатерина увлеклась чтением.

Она вдруг помолодела от этой книги. Похоже было — она еще принцессой Цербстской или несчастной великой княгиней, которой угрожает то ли монастырь, то ли казнь, мечтая о несбыточном, в глубоком одиночестве переживает гениальные мысли просветителей. Встали и те дни, когда клялась сама себе: если будет царствовать, то сделает свой народ свободным и счастливым.

Да, в самый первый раз Екатерина читала книгу Радищева не как самодержица-императрица, а просто как человек, которому были когда-то близки все лучшие просветительные мысли века, у которого были великодушные благие намерения...

Так велика была сила книги, так стремительна ее безудержная, безрасчетная искренность, что нельзя было хоть на короткий миг ей не подчиниться, не разделить ее вдохновения, говорившего о том, что общее благо превыше блага личного, что должно почитать служение на

общую пользу обязательным всякому, кто именует себя — «человек».

Екатерина сама это знала когда-то, и она не хотела рабов. Но ей хорошо объяснили, что при подобных намерениях потерять можно власть и корону, и она предпочла самодержавие.

Сейчас в этой книге она читала похожее на то, что, бывало, в дни писания «Наказа», по вдохновителю своему Монтескье, она тысячу раз твердила сама:

«Нельзя быть счастливым, когда кругом рабы. Когда те, на коих зиждется государство, терпят голод, холод, нужду, а владеющие ими утопают в роскоши и предаются разнузданным страстям». Эта книга карала крепостников, а стихи оды «Вольность» карали царей. Приговор тем и другим беспощаден...

Вот помещик-насильник убит своими крестьянами, вот Карл Первый сложил голову на плахе, а вот и победа тринадцати небольших штатов, сомкнувшихся дружно супротив силы английской державы. Соединившись, они победили.

Как губка напитавшись ядом аббата Мабли, Рейналя, Руссо, хватив попутно и сегодняшней французской заразы, сочинитель взял в руки перо и открыл свободный ход гневу собственному... Кто же он?

Екатерина прочла книгу не отрываясь, приходила долго в равновесие мыслей и чувств. Гуляла по парку с левретками, принимала очередные доклады. Только вечером, вместо обычной партии в бостон, она сказалась нездоровой и, запершись у себя, взялась читать книгу неизвестного сочинителя вторично. Сейчас читала строго, как надлежало читать только императрице. Уже после тридцати первых страниц Екатерина написала на полях, еле сдерживая подступавший гнев от неслыханной дерзости книги, быстро в ней сменивший невольную первую дань восхищения:

«Знания довольно и многих книг читал... Но яд французский, Руссо, аббэ Рейналя...»

В конце июня Безбородко получил от Екатерины записку:

«По городу слух, будто Радищев и Щелищев писали и печатали в доме типографии ту книгу, лутче исследовав, узнаем».

Вскорости установлено было, что автор книги один — Радищев.

Храповицкий занес в дневник:

«Говорено с императрицей о книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Тут рассевание заразы французской, отвращение от начальства, автор — мартинист».

Донесли Екатерине, что имевшиеся в книге понюсные намеки на нее и светлейшего подхвачены городом, что велик спрос на известную книгу масонскую, издания Новикова, «Жизнеописание Конфуция», что иные читают с многосмысленным подмигом: «Восхвалим государя, который отженет от себя ласкателей и удаляться станет от венерических забав».

Кто сей восхваляемый государь, оплот и надежда мартиниста, императрице ведомо уж самой, без подсказки. Желанный государь — не кто иной, как все еще не допущенный до престола родной сын, цесаревич Павел. И, полагать надлежит, неспроста печатал в своих журналах дерзновенного бунтовщика, «злодея хуже Пугачева», сего Александра Радищева, не кто иной, как первейший мартинист — Николай Новиков.

Де Муши, во-время подоспевший, стал, в свою очередь, нашептывать, что книга-де выдана через частное лицо от всего ордена, связанного, как сейчас очевидно, с злокозненными иллюминатами. «Путешествие из Петербурга в Москву» умышляет опрокинуть свыше данный порядок — власть самодержавную. Не мартинисты ли основывают учебные заведения колобродного направления? Не они ли тратят неведомо как добытые великие суммы для уничтожения законной власти, раздавая во время недорода безвозмездно зерно крестьянам? Сейчас они же пустились печатать возмутительные книги, даром что не хотят признаваться. Все они одна шайка.

Самое страшное доказательство злонамеренности автора «Путешествия» — это его пророчество о наступлении революции, подобной той, которую заговорщикам уже удалось вызвать во Франции. Что же иное, как не обещание новой пугачевщины, сей крамольный предупреждающий голос Радищева:

«Блюдитеся, да опять посечены не будете».

— Вот мы и выполним совет сего сочинителя, — недобро поджав губы, сказала Екатерина Безбородке,

побледневшему от неприятности возложенного на него поручения узнать все дополнительно о Радищеве. — Выполним его совет... — еще злей повторила Екатерина, ужимая тонкие губы, — от него первого и поблюдемся!

В разгаре лета Безбородко написал Александру Романовичу Воронцову:

«Ее императорское величество, сведав о вышедшей недавно книге под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву», оную читать изволила и, нашед ее наполненною разными дерзостными изражениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многие в обществе расстройства, указала исследовать о сочинителе сей книги. Между тем достиг к ее величеству слух, что оная сочинена г. коллежским советником Радищевым; почему, прежде формального о том следствия, повелела мне сообщить вашему сиятельству, чтоб вы призвали пред себя помянутого г. Радищева и, сказав ему о дошедшем к ее величеству слухе насчет его, допросили его: он ли сочинитель или участник в составлении сея книги...»

В тот же день Безбородко еще раз написал Воронцову, добавив на адресе «нужное»:

«Спешу предуведомить ваше сиятельство, что ее величеству угодно, чтоб вы уже господина Радищева ни о чем не спрашивали, для того что дело пошло уже формальным следствием».

Послано было за полицеймейстером Рылеевым. Он сознал свою ошибку, бросился на колени перед императрицей с возгласом: «Виноват, матушка!» Рылеев покаялся, что подписал книгу, даже не читая, ибо попался на невинности заглавия: «Путешествие».

Никита Рылеев, полицеймейстер, был большой любитель балета и преглупый человек. Ему простили, ибо действительно он не мог рассматриваться как пособник столь дерзкому делу и был тут же помилован императрицей.

Екатерина распорядилась, чтоб книга немедля, с курьером, была послана в ставку светлейшему, от которого приказано привезти скорый ответ с отзывом, как он нашел сочинение и сочинителя.

Главная квартира Потемкина летом была в Дубоссарах. Ставка его великолепием походила на визирскую. Сад вокруг нее был насажен в английском вкусе, извест-

ный капельмейстер Сарти с двумя хорами роговой музыки там ежедневно его забавлял. Казалось, светлейший располагает остаться здесь навсегда, столько понаехало к нему на прочное жительство народу.

Люди поражались разницей между главной квартирой светлейшего и бывшего перед ним отличного военной простотой и суровостью Румянцева.

Сейчас здесь без перерыва шли празднества, играли на театре, пели в концертах. Сарти положил на музыку гимн «Тебе бога хвалим». К оной музыке прилажена была батарея из десяти пушек с таким расчетом, чтобы в аккомпанемент славословию происходила из орудий стрельба.

Вместо Потемкина на полях битвы подвизался героически и с неизменной удачей Александр Васильевич Суворов.

В сентябре 1789 года он взял Рымник, откуда и повелено свыше присвоить ему к своей фамилии отныне Суворов-Рымникский. В победе при Фокшанах Потемкин тоже участия не принимал, но уж не мог обойти молчанием столь важные успехи Суворова. Он писал ему: «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность, ты во мне возбуждаешь желание иметь тебя повсеместно».

Наконец город Бендеры взял Потемкин уже лично, но без кровопролития, единственно путем дипломатическим и хитростью подкупа. За покорение Бендер он получил золотой лавровый венок. Екатерина сама ему вышила туфли и обрубила платки. Еще заказала великолепный кавалергардский мундир из синего бархата и, наконец, ассигновала большие суммы для мира с турками.

Потемкин жил в Яссах, потом в Бендерах в неслыханной роскоши. О житье его в Бендерах записал адъютант:

«Его светлость большие угождения делал княгине Долгоруковой. Была сделана землянка противу Бендер за Днестром. Внутренность роскошна, колонны, бархат, все, что можно придумать. Великолепный подземный зал и будуар, куда только избранные могли попадать. Вокруг землянки кареем полки. Близ одного карея батарея из ста пушек. Барабанщики собраны к землянке. Однажды, осчастливленный своей дамой, князь вышел из землянки с кубком вина и приказал ударить тревогу, по которой из батарей полка произведен был батальный огонь».

Екатерина в каждом письме торопила Потемкина с мирными переговорами. Послала бриллиантовый перстень с пожеланием: «Пусть лучи, исходящие из оного, ударяют по зрению врагов наших. Я уверена, что ты не пропустишь случай, полезный к заключению мира!»

Но он пропускал. Желание Екатерины не исполнялось, переговоры тянулись вяло. Он предоставил небольшому корпусу Суворова бороться одному с главными силами Порты, а сам терял опять время в занятии ничтожных, не нужных для дела пунктов. Бесплодно истощал материальные средства.

В неслыханную ярость привело его известие, что фаворит Мамонов женился на княжне Щербатовой. Он навлек на себя гнев императрицы главным образом за то, что долго скрывал свою страсть к этой фрейлине. По настоянию Екатерины Мамонов был обвенчан и с женой водворен в Москву. Мамонов был Потемкину свой, преданный человек, всем ему обязанный, почитавший его как отца. При его близости к императрице никакая злая сплетня не могла Потемкину повредить, Мамонов умел во-время рассеять всякое неблагоприятное впечатление.

Совсем иное дело, когда место Мамонова заступил Платон Зубов. Мелкий, ничтожный, самовлюбленный человек, которому Потемкин был спица в глазу, который все силы направлял, чтобы сдвинуть его, самому стать всецело на первом месте в государстве.

Кроме этого расстройства, которое еще с прошлого лета грызло его, как червь неусыпный, произошла на днях немалая конфузия перед австрийским двором. Получилось известие, что шведский флот в составе двадцати шести кораблей и фрегатов атаковал ревельский, в котором имелось не более десяти кораблей под командою Чичагова. Потерпев поражение, король пошел против Кронштадта, и шведский флот с гребной флотилией загнан был русскими между островов. Две недели так стоял, пока сильный ветер пришел ему на помощь. Пустив против себя брандер, шведы вышли в море, и хотя брандер сжег при этом маневре собственный свой корабль, они спаслись от преследования. Но генерал Кречетников, услыша от кого-то, что шведский флот вовсе русским сдался, не проверяя, прислал с сим радостным известием

к Потемкину курьера. Во всей армии стреляли викторию, и светлейший отправил к императору австрийскому тоже курьера. Через несколько же дней оный Кречетников прислал Потемкину извинение в сообщенном им опрометчиво неверном сведении. Курьер прибыл в ставку во время обеда. Узнав, в чем дело, Потемкин, вне себя, стал страшно ругать Кречетникова. Князь Долгорукий попытался было его защитить. Тогда светлейший, не помня себя, схватил Долгорукого в ярости за георгиевский крест и закричал:

— Как ты смеешь защищать его... ты, которому я из милости дал сей орден, когда ты струсил под очаковским штурмом?

Вскоре, опомнившись, Потемкин подошел к австрийским генералам и сказал им с любезностью:

— Прошу меня извинить, господа, я забылся...

В этот несчастливый день пришло письмо, написанное Безбородкой по приказу Екатерины. Письмо было адресовано не прямо Потемкину, а правой руке его, секретарю Попову. При письме приложена была книга Радищева.

Безбородко писал Попову, чтобы сей последний довел до сведения светлейшего следующее:

«Здесь по Уголовной палате производится ныне примечания достойный суд. Радищев, советник таможенный, несмотря, что у него было дела много, которое он, правду сказать, и правил изрядно и бескорыстно, вздумал лишние часы посвятить на мудрования: заразившись, как видно, Франциею, выдал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненную защитою крестьян, зарезавших помещиков, проповедью равенства и почти бунта против помещиков, неуважения к начальникам, внес много язвительного и, наконец, неистовым образом впутал оду, где озлился на царей и хвалил Кромвеля. Всего смешнее, что шалун Никита Рылеев цензуровал сию книгу, не читав, а удовольствовавшись титулом, написал свое благословение. Книга сия начала входить в моду у многой швали, но, по счастью, скоро ее узнали. Сочинитель взят под стражу, признался, извиняясь, что намерение имел доказать публике, что и он автор. Теперь его судят, и, конечно, выправиться ему нечем. Со свободою типографии да и с глупостью полиции и не усмотришь, как нашалят».

Потемкин сразу отлично понял, какое серьезное значение иметь должна эта книга. И был он ею глубоко уязвлен.

В главе «Спасская Полесть» основной темой «сновидения» автора — как же было не догадаться! — тщеславие его и матушкино. Все кололо не в бровь, а прямо в глаз. Только и всего, что заменен был он, временщик и фаворит, женой, потому что, по авторскому измышлению, сон приснился не царице, а царю.

Светлейший, откинув назад голову, читал книгу Радищева, лежа на турецкой тахте, вздыбив обе ноги на мутаки, в уровень с головой. Волосы его были нечесаны, шлафрок широко распахнут на груди, все ему теснило дыхание, не хватало воздуха. Однако читал он по виду спокойно. Вдруг внезапно, уязвленный укорами сочинителя в растрате государственной казны вельможами, схватил со стола счеты и вслух стал прикидывать, во что приблизительно он обходится государству.

«В семьдесят седьмом году получил сто пятьдесят тысяч, в семьдесят девятом жалованье за десять лет вперед, что дает сумму семьсот пятьдесят тысяч. В году восемьдесят третьем на постройку дворца — сто тысяч. Дворец этот был откуплен императрицей и подарен вновь. А куплен был не больше не меньше, как за миллион. Во время этой турецкой войны отпущено пятьдесят пять миллионов рублей, из них издержано по отчетам сорок один. — А остальные четырнадцать миллионов куда? — спросил сам себя Потемкин и, ухмыльнувшись, ответил себе же: — А неизвестно куда!»

Настоящее его состояние, если оценить целиком, — миллионов пятьдесят набежит. Сии расчеты подлинные, а враги и врали присчитают вдвое. Однако сочинитель, видать, знал, кому бросил свой вызов этим вот «сновидением». Ну что же, вызов можно принять и на него ответить достойно.

Потемкин встал, запер с шумом дверь, повернул ключ. Никого не желал видеть. Стал шагать грузно по комнате. При поворотах длинный шлафрок бил его по голым ногам, турецкие туфли без задников отшлепывали каждый шаг. На лице было странное выражение глубокого удовлетворения. Глаз его, умный и зоркий, искрился насмешливым одобрением.

Он представил себе, с каким чувством читала матушка это вот место... и то и другое, где, как ни крути, прямехонько про нее! Знал, хорошо знал сочинитель, что делал. Ничего не побоялся — вот каков человек! Решился один во весь голос сказать, что бы там за это ни ждало его. А может, надеялся, что сойдет? Потемкин припомнил две-три странички, поморщился, сказал сам себе: «Ну, едва ли надеяться мог». Он метался, как зверь, по комнате, читал и перечитывал дерзновенную книгу, странно взволнованный. Привычной хандры как не бывало.

Призвал секретаря Попова. Долго смотрел на него, словно впервые увидел. Спросил сквозь зубы:

— Из каких источников черпаете суммы по моим письменным требованиям?

Попов несколько удивленно и поспешно ответил:

— Суммы, ваша светлость, имеются у нас экстраординарные и военные. Последние возят вам вслед серебром и золотом в количестве восьми миллионов. Еще третья сумма имеется — двенадцать миллионов в год, отпускаемая из провиантской канцелярии. Но если у вашей светлости счеты не сходятся, осмелюсь доложить, те червонцы, кои вы изволили полными шляпами черпать из сундука на предмет карточных проигрышей, вами возвращены еще не были.

— А ты считал, сколько мною взято? Записывал?

— Не подобает записывать толикие мелочи за тем, чьи славные дела уже записала сама история! — не без семинарского жара поднес Попов.

Потемкин поморщился:

— Скучновато льстишь, братец мой. Поторопи, чтобы мне сейчас снарядили курьера в Петербург.

Пока курьер приготовлялся, Потемкин не уставая ходил по комнате. Останавливался, стоя перечитывал одну страницу, другую. Совсем не ложился боле.

Книга осуждала весь крепостнический строй, все, что сейчас столь ревностно хотел он поддержать новыми государственными учреждениями о губерниях. Тиранию, им введенную, усовершенствованную, и его самого, тирана Потемкина, зачеркивали начисто гневные строки предерзостной книги.

Минутами ему хотелось во что бы то ни стало вызвать сюда к себе этого сочинителя, чтобы стоял он перед ним, как недавний дурень капитан, который наизусть выучил все святцы (нашел, куда мозги ухлопать!). С этим сочинителем, Радищевым, он бы по-настоящему говорил. Он бы разъяснил ему, что именно его двинуло создать и поддерживать эту систему управления, которую сочинитель бичует. Пробовал он сам управлять? Пробовал? И про себя самого рассказал бы, почему стал таков...

Потемкин вдруг почувствовал обиду, доходящую до слабости. Сел на тахту, охватил большими руками свою нечесаную, лохматую голову. Противно заныла печень, и ему себя стало жалко.

Ему хотелось, чтобы Радищев понял его. Не подлец ведь он, Потемкин, по природе. Мало чем дорожит. Несметно богат, может плюнуть на богатство, все может послать к черту, из-за чего люди ползают: чины, положенье, любовниц! Может власяницу надеть, уйти в глухие леса, — разве не хотел много раз? Может жизнь на подвиг положить, взорваться, как капитан Сакен, всех спасти, сам погибнуть... Только вопрос, за что погибать?!

Радищев счастливец — он знает, за что. Он верует в золотой век... А если у него, Потемкина, нет веры уже ничему? Если к человеку стал холоден, потому что человек жулик и скот и вовек не устроит он себе золотой век. Человек человеку был, есть, будет — волк. И перевел по-латыни: homo homini lupus est.

Конечно, если бы таких, как этот Радищев, были тысячи, можно б отважиться руль повернуть. На сих дерзновенных обездоленных опереться, и уже не герцогом курляндским, не властителем дакийским... Новой династии основание положить. Но поскольку сей сочинитель одинок, он только вредоносен. Сочинитель подлежит истреблению.

Опять Потемкин заметался по комнате, не находя себе покоя. Он вызвал в памяти красивое лицо Радищева, с крутым взлетом бровей, и подумал про него: «Таков этот человек, что его ничем не купишь, ну что ж, значит, он в своем дерзком деянии уже получил награду свою. И сколько, матушка царица, его книжку ни изы-

май — останется она». И неожиданно для себя, с торжеством и гордостью за смелого человека, Потемкин еще повторил: «Сия книга останется!»

Когда доложили, что курьер к отправлению в Петербург готов, Потемкин передал ему письмо для Екатерины. В письме по поводу присланной книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» было написано весьма тонко. Потемкин знал, что пишет для поколения, знал, что ответ его будет закреплен в памяти его многочисленных врагов и в истории. Нужна была выдержка, и нужно было только между строк, взбудоражив самолюбие императрицы, натравить ее на решительное действие против автора книги.

«Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением стен очаковских отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп. Верно, и вы не понегодуете. Ваши деяния — вам щит».

Потемкин не сомневался в том, что теперь Екатерина «понегодует» и начнет дело. И действительно: 30 июня в девять часов вечера Радищев был взят и доставлен к петербургскому обер-коменданту и заключен в Петропавловскую крепость.

Екатерина сказала суду, что она презирает нанесенное ей оскорбление злонамеренной книгой, но тут же прибавила, что «Радищев поступил вопреки своей присяге и должности».

Судьи не могли презреть ни оскорбление величества, ни тем более подчеркнутое императрицей «нарушение присяги». Приговор был подсказан, и догадливый уголовный суд приговорил Радищева к смертной казни посредством отсечения головы.

Это было 24 июля 1790 года.

Главнокомандующий в столице был граф Яков Александрович Брюс, муж той самой Прасковьи Александровны, царицыной подруги, которой Радищев когда-то в одном из номеров «Живописца» посвятил восхищенные стихи. Этот Брюс был формалист и служака и прославился жестоким острословием по поводу несчастных каторжников, которым изобрел выжигать на лбу клеймо раскаленным железом. Когда его спросили, как же быть

в случае ошибочного клеймения, он не задумываясь ответил:

— Если, примерно, человек клеймен «вор», а оказался невиновен, то на лбу прибавим ему отрицание «не». Только и всего...

Этот Брюс персонально ненавидел всех мартинистов, давно хлопотал начать против них преследование, и поскольку дело Радищева, по желанию Екатерины, велось как дело предполагаемого мартиниста, он был особо тороплив: решение суда рано утром на другой же день представил в сенат. От себя он решение нашел правильным, о чем и просил графа Безбородко донести императрице.

Палате уголовных дел, препровождая точную копию с высочайшего указа о предании Радищева суду, граф Брюс предписал прилагаемую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» в уголовной палате заседающим господам прочесть, отнюдь не впуская во время чтения в присутствие канцелярских служителей.

Палата, в точности исполнив это предписание, сообщила, что «Заседающие оную книгу читали, не впуская во время чтения канцелярских служителей».

Итак, учреждения, судившие книгу Радищева, были: уголовная палата, сенат, государственный совет. Там приговор заслушан был 19 августа, а сентября 4-го последовал именной указ Екатерины сенату: «Ввиду мира со Швецией заменить казнь Радищеву десятилетней ссылкой в Илимский острог».

9 сентября Радищев взят из-под стражи, у него отобран орден. Для чего-то, по чрезмерному усердию смотрителя, он был, как это делают с уголовными, скован в железы и под крепкой стражей отправлен в Новгород.

Когда Безбородко дал знать Воронцову, что во избежание крайних мер Радищев должен принести чистосердечное покаяние, Воронцов немедленно известил друга об опасности. Прибавил от себя, что следствие будет вести сам Шешковский, тот, которого Потемкин при встрече вопрошает: «Каково, Степан Иванович, кнутобойничаешь?»

Если не принести покаяния добровольно, все равно его Шешковский добьется пытками. Как бы не ослабеть,

не назвать сообщников, единомыслящих! И про детей пора подумать. Дело жизни сделано. Книга есть. Сколько бы ее сейчас ни преследовали, ни уничтожали, кое-какие экземпляры уцелеют. Потомство узнает. Оно будет ценителем. Радищев это чувствовал, знал и предвидел, когда написал: «Потомство отомстит за меня»!

Мысль о приговоре к смертной казни мелькнула у Радищева, как только ему представлена была Шешковским его книга с заметками Екатерины, сделанными на полях. Радищев взял все на себя одного. Он нашел какие-то особо резкие выражения, чтобы себя осудить. Малоубедительные и ничтожные, не соответствующие его характеру для тех, кто его знал, но приятные для тщеславия императрицы. Радищев понял одно — пощады не будет. Надо только никого за собой не потянуть.

Он покаялся. Он обвинил себя в смешном тщеславном желании «прослыть писателем». Это желание, доведенное до безумия, якобы породило дерзость книги.

Свояченица Елизавета Васильевна ежедневно посылала Шешковскому куль с дорогими гостинцами, которые принимались им милостиво, в ответ же приказано было передать всегда одно и то же: чтобы ни о чем не беспокоились, все слава богу.

«Все слава богу» были бессонные ночи с мукой за судьбу детей, с ожиданием сначала смертной казни, потом отправки в Сибирь. Наконец приговор стал известен. Радищев, обросший бородой, изможденный заключением, был выведен из тюрьмы и посажен в кибитку.

Губернское правление, полагая, что Радищев сослан в «работу», то есть на каторгу, повело себя с ним как с каторжным разбойником. Его заковали в кандалы, надели на него нагольную шубу и отправили за тысячи верст.

Радищев ехал в далекое холодное изгнание. На многочисленных остановках на него глазели, как на медведя, интересуясь узнать, почему преступник обличием барин, а между тем он в кандалах и, как оказывалось из расспросов, осужден не за грабеж и убийство. Наперерыв спрашивали: «За что же его?.. За что?»

Радищев слышал бесцеремонно любопытные вопросы, и в уме его, помимо сознания, под мерную качку езды, сложились стихи, обращенные к его неведомому вопросителю:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?
Я тот же, что и был и буду весь свой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
    В острог Илимский еду!

*1939*

# СОДЕРЖАНИЕ

*Ольга Дмитриевна*
*ФОРШ*

*Собр. сочинений, т. 2*

*Редактор Р. Софронова*
*Художник Л. Хижинский*
*Художественный редактор*
*А. Гайденков*
*Технический редактор*
*Л. Чалова*
*Корректор И. Кузнецова*

Сдано в набор 30/I 1956 г.
Подписано к печати 30/V 1956 г.
М-30407. Тираж 75 000 экз. Бумага 84×108 1/32—26 печ. л. — 22,96 усл. печ. л. Учетно-изд. л. 21,39.
Заказ № 830. Цена 11 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.